



ШАНДОР ПЕТЕФИ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ШАНДОР ПЕТЁФИ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ШАНДОР ПЕТЁФИ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРЕХ ТОМАХ

3

ПРОЗА

ПЕРЕВОД С ВЕНГЕРСКОГО



ИЗДАТЕЛЬСТВО КОРВИНА

Перевод с венгерского
АГНЕССЫ КУН

ПУТЕВЫЕ ДНЕВНИКИ

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ

Жил да был на свете помощник редактора, которому чертовски надоела его почтенная должность, и он отправился путешествовать.

Секрета в том не вижу, а потому скажу откровенно, что этим помощником редактора был я.

А пустился я в путь 1 апреля 1845 года на пешт-эперьешских почтовых и рассказываю об этом только для того, чтобы никто не подумал, будто я поехал на своих. Экипажа я не держу

Прощальный вечер, вернее ночь, я провел чудесно, веселясь с приятелями в «Охотничьем роге». По этому случаю я сделал стихотворение, которое обидело и даже рассердило кое-кого из присутствовавших: в нем я назвал их не друзьями, а приятелями. Что ж, милые приятели, я и теперь могу сказать только одно: *temp̄i passati **, когда я был чьим-либо другом... ибо я не верю, что у меня есть друзья. Даже календарь — и тот напроочил, что в дружбе мне счастья не знать... а ведь календарь не врет, это он предсказал и то, что я буду знаменит.

Кроме пештских приятелей, на мои проводы явилось и несколько коллег — провинциальных поэтов. В Пешт они приехали для того, чтобы их портреты заказали некоторые редакторы журналов мод. Ведь что может быть лучше, чем если, например, тебя намалюет Барабаш, а редакторы разошлют твои портреты во все концы обеих венгерских отчизн, и публика будет удивленно восклицать:

* Прошло время (*итал.*).

— Так вот он каков?

Наконец рассвело, дилижанс подъехал, и я попрощался с приятелями так тепло и с такой тяжестью на сердце, как прощался некогда с друзьями. Эх, ребята, благодарите бога, если у вас будут такие друзья, какой я вам приятель!

Дилижанс тронулся, и я погрузился в размышления.

Долго ли, коротко ли ехали, не помню, только вдруг я услышал страшный вопль:

— Стой!

Дилижанс тут же остановился, дверца распахнулась, и я увидел перед собой юношу с яростью во взоре. Приставив пистолет к моей груди, он крикнул:

— Смерть тебе!

— Помилуй! — простонал я в ответ, дрожа и запинаясь. — Пощади мне только жизнь... а кошелек я отдам тебе с радостью... хотя в нем толку мало: он очень тощий, можно сказать — почти пустой; ведь я венгерский поэт... я был помощником редактора в «Пешти Диватлапе»... К тому ж перед отъездом я расплатился с долгами. Задолжал Гашпару Тоту такую сумму, сколько стоят аттила и брюки. Стихи же мои не очень-то расходятся, хотя и хвалят их невообразимо... Сам понимаешь, много ли у меня денег... Но все, что есть, я отдам тебе охотно, только сохрани мне жизнь!

Так лепетал я, напуганный до смерти, пока у меня окончательно нехватило дух, а юноша, напавший на меня, отвечал хладнокровно:

— Не нужен мне твой жалкий кошелек... Мне нужна твоя жизнь. Ты мне нужен, вероломный!.. Знай же, что я один из тех юных гениев, которые посылали свои стихи в «Пешти Диватлап» и которых

ты коварно не допустил в литературу... Ведь до нас дошло, что стихи новых поэтов проходили через твои руки. Я сам послал вам около полтораста стихотворений, и ты все их приговорил к смерти... а потому и ты умрешь!

Пистолет щелкнул, я умер и . . . проснулся. Признаюсь, что этот сон пугал меня всю дорогу: а вдруг он исполнится, думал я в тревоге, — ведь нет злее поэтов-неудачников.

Вскоре я опять задремал (не удивительно, всю ночь я бодрствовал) и проснулся только возле Геделле.

Говорят, что окрестности Геделле очень хороши. Не знаю, верно ли это. Я видел их много раз и первое свое впечатление забыл, а осматривать их снова мне было недосуг.

В Геделле меняют лошадей и завтракают. Когда я захотел расплатиться за завтрак, один из моих спутников воспротивился и предложил мне не утруждать себя, сказав, что заплатит сам; он предоставил к моим услугам свой кошелек до самого Мишкольца (мы должны были ехать с ним вместе до этого города). Такое предложение вряд ли кого рассердило бы. Не рассердился и я.

Мы снова забрались в повозку и ехали, ехали, ехали. Вдруг наш ковчег застыкался, да так безбожно, как стихи некоторых господ поэтов... Мы вынуждены были вылезть, чтобы не подвергнуться такой же участи, как не знаю кто, но во всяком случае тот, чьи кости истолкли на мелкие кусочки. Итак, мы вылезли, и я увидел, что прибыл туда, куда и думал, — в Асод.

Асод!

Ах, милый читатель (да, *милый* читатель, ведь кто же милее пишущему читателя его произведений?).

милый читатель, говорю я, если б ты только знал, как много заключено для меня в этом маленьком словечке:

Асод!

Но об этом ты должен был бы прочитать не на бесстрастной бумаге, а услышать, как низвергается с уст моих томительный вздох:

— Асод! — —!!— —

Только раз услышишь это слово из моих уст, и сразу догадаешься, что я учился, вернее три года посещал здесь школу.

И как богаты были событиями эти три года

1. Здесь начал я делать стихи.
2. Здесь влюбился впервые.
3. Здесь решил впервые стать актером.

Стихотворство пришло, как следствие любви. Что же касается желания стать актером, то знаменательна не столько причина этого, сколько последствие.

Знаменательно и печально

Мой учитель (благослови его господь) счел нужным написать о моих чрезвычайно серьезных замыслах мужу, обладавшему весьма непохвальным свойством чертовски ненавидеть актерское искусство. Этим мужем, обладавшим столь редкостным свойством, был как раз мой отец. И он, как и надлежит добропорядочному отцу, услышав грозную весть, не медля ни секунды, кинулся спасать сына, гибнущего в адском водовороте. И меня на самом деле свели с греховного пути отцовские советы, которые были заметны еще неделю спустя... на спине и других частях брэнной моей оболочки.

Все эти события проползли в моей памяти в то время, как наша телега ползла по грязи асодских

улиц, и грязь эта была столь же глубока, как моя первая любовь, которая зародилась в Асоде.

О моем пути от Асода до Кашши не стоит рассказывать.

В Мишкольце я бывал уже и прежде, а дальше его не ездил, так что Кашша оказалась первым городом, привлечшим мое внимание. На третьи сутки своего путешествия, уже под вечер, я заметил готический собор Кашши. Он стоит посреди города, словно огромный монах в черном капюшоне. Сам город очень красив, — но это красивый мертвец. Жизни в нем никакой.

Пештский дилижанс ходит только до Кашши; отсюда до Эперьеша следует уже другой. В Кашшу мы прибыли перед вечером, а эперьешские почтовые отъезжали только на следующий день, так что мне пришлось заночевать. Попав в омерзительнейшую комнату мерзкого постоялого двора, я не захотел оставаться дома и пошел бродить по городу. Правда, меня влекло на улицу еще и другое: я слышал от многих, что в Кашше немало красивых девушек. А я всегда готов совершить прогулку ради того, чтобы полюбоваться ими. Но ни одной красивой девушки я не увидел, не считая тех, которые то здесь, то там красовались на вывесках лавок. Зато уж эти девицы были столь очаровательны, что сгодились бы даже в Пеште, пусть не на улице Ваци, но уж на проспекте Ваци во всяком случае.

Зашел я и в театр, где блистали своим дилетантством немецкие комедианты. Сам я тоже выступал когда-то в Озоре, Цеце, Силашбалхаше, Шарбогарде и т. д., в труппе, состоявшей из шести человек. Но мы никогда не истязали искусство до такой степени, как эти. О город Кашша Твои окрестности богаты лесами, и деревья их родят сучья, очень пригодные

для дубин; но ты, город Кашша, все-таки не пользуешься ими как оружием, чтобы изгнать из своих стен смертельных врагов искусства. О нет, ты не прибегаешь к этому, напротив — на эти представления твои жители обоих полов собираются стаями и, утопая в море наслаждения, слушают неистовые вопли и лепет. Когда же дело доходит до умиления, — твои кроткие девушки умиляются и умиленные падают в объятия тех боевых юнцов, которые играют в *солдатики* во устрашение XIX века.

На следующий день, едва забрезжил свет, я сел в эперьешский дилижанс. Моя давнишняя мечта исполнилась — я ехал один. По, увы, судьба каждый раз только тогда дает мне в руки ложку, когда у меня нет супа, — и наоборот. Мне не пришлось воспользоваться представившимися удобствами, так как я замерз и вынужден был забиться в угол повозки. Утро было холодное, туманное, хмурое, такое же, как в моем сердце воспоминание о Кашше, где я почти не слышал венгерской речи.

В Эперьеше я остановился у Фридеша Керени и буду гостить у него целый месяц.

Счастливый малый этот Керени. Живет, как вздумается, и если его предадут анафеме какие-нибудь господа, вопя, что он не поэт, он только посвистывает себе, лежа на кушетке.

Томпа тоже был в Эперьеше. Занимался воспитанием юношей за двести форинтов в год. Друг Мишка, к тебе относятся слова твоего великого тезки:

Бурная поступь времени стала тяжелой для тебя!

Но, боевой товарищ, пусть тебя утешает, что ты родился под одной звездой со мной, разница только в том, что ты пасынок судьбы, а я ее родное, но из-

гнанное дитя. Судьба оттолкнула тебя, я же сам отрекся от нее, так как не хотел и не хочу ни от кого зависеть... Быть может, она сердится на меня по праву... Но ничего! Я читал в одном старинном венгерском театральном альманахе, что:

Будет время, хоть не скоро,
А заслужишь лавры все ж,
Ты, венгерец, если песню
По-венгерски запоешь,

Или же применив к нам:

Будет время, даже скоро,
И получишь деньги все ж,
Ты, венгерец, если песню
По-венгерски запоешь *.

Счастливые часы провел я вместе с Керени и Томпой. Остальных, чья дружба навеки оставит во мне сладостное воспоминание об этом путешествии, я не стану даже упоминать; ведь их столько, что если б я каждого назвал по имени, получился бы целый список.

Как-то вечером учащаяся молодежь приветствовала меня музыкой и факельным шествием. Признаюсь, меня это не удивило. Но вовсе не потому, что я самоуверен, боже упаси!

Даже в ту пору, когда я еще не видел своего имени в печати и кропал стихи только для себя, когда я еще служил статистом в Пештском национальном театре и по приказанию актеров бегал в корчму за колбасой с хреном, за пивом, вином и прочим, когда

* Стихотворные отрывки здесь и дальше в переводе Л. Мартынова.

я еще стоял на карауле или варил кукурузные клецки для своих товарищей по солдатчине, мыл жестяные котелки в такую стужу, что тряпка примерзала к моим рукам, когда по окрику капрала: «Ну-ка, давай!» — мчался сгребать снег со двора казармы, — я и в ту пору всегда предчувствовал, что произойдет со мной. Так оно и получилось. На голых нарах караульни, где, как барону Манксу, подстилкой мне служил один мой бок, а укрывался я другим, уж там мне приснилось, что я приобрету себе имя, славное в двух странах, имя, которое не удастся уничтожить даже воющей своре критиков всего мира. И мечта моя потихоньку осуществляется... Нет, даже скорее, быстрее, чем я думал. Куда бы я ни приезжал, меня обнимали, ласкали... И это несмотря на то, что герои критики употребили все средства, чтобы опозорить меня. И только в одном могу я заверить свою нацию, удостоившую меня вниманием, что ее внимание не будет растратчено попусту!

Если б не было критиков, больше всего на свете я ненавидел бы хрен со сметаной, а поскольку первенство остается за критиками, хрен вынужден отступить на задний план. А ведь когда приглашают куда-нибудь на обед, — в Эперьеше, да и вообще на протяжении пути это случалось часто, — меня больше всего страшит именно хрен. Впрочем, обо всем этом я написал только для того, чтоб иметь возможность вернуться к Эперьешу.

Есть дома, в которые стоит лишь войти — и сразу ощущаешь себя дома; а есть и такие, в которых я никак не могу расположиться по-домашнему. Так у меня и с городами. Эперьеш — один из тех городов, где я сразу почувствовал себя как дома. Бог его знает почему, но Эперьеш мне мил

необычайно: опрятный, красивый, шумный, веселый, приветливый город. Совсем как жизнерадостная молодушка.

А как прекрасны его окрестности! Красивей едва ли сыщешь во всей Венгрии. По утрам рано-рано подымался я на гору Табор, возвышающуюся над восточной стороной города. Оттуда в былые времена пушки Караффы рычали обреченному городу: «Страшись!» С горы смотрел я на окрестность, которая выхорашивалась передо мной, словно ребенок, одетый матерью в новое платье. Ведь в эти дни пришла заботливая весна — мать природы, она нарядила своего голенького младенца в новое, пестрое, восхитительное платьице. В ясный день на северо-западе, над плечами высоких гор, алела от первых лучей солнца снежная вершина Татр, словно чело старого пропойцы-короля.

В часе ходьбы от Эперьеша грустят руины Шароша, бывшего гнездовья Ракоци. Я забрался туда. Уж коли мне довелось, разве могу я не полюбоваться развалинами. И как вольно дышалось там славным воздухом рыцарской поры! Ведь по справедливости я должен был бы родиться в те времена. Пером я кое-как владею, но чувствую, что у меня больше призвания к мечу. Увы, для этого я родился слишком поздно.

Нас собралось восемь человек, чтобы посетить руины Шароша. У подножья горы я покинул компанию. Хотел подняться первым, — боялся, что не смогу удержать слез... А я не люблю, когда люди видят, как я плачу. Об этом замке и написано мое стихотворение «Жалобы руины».

Во время спуска, когда мы отдыхали на склоне горы, к нам подошел какой-то бедный парень-поляк. Мы поняли, что ему нужно; и каждый из нас дал

ему, сколько мог... Он упал на колени, хотел поцеловать нам ноги... О человечество, опустившееся человечество, где твой спаситель?

Вообще, чем ближе я подъезжал к Карпатам, тем больше видел рабства. Тогда я расправлял крылья воображения и душа моя спускалась к равнинам моей отчизны, где человеческое достоинство высоко держит свою гордую голову даже в самой низкой хижине.

О горный край! Неужто твои кручи для того и вздымаются так высоко, чтоб еще сильнее бросилась в глаза согбенность твоих обитателей?

В Эперьеше я частенько подымался на гору Табор, но не только ради ее окрестностей, а больше всего потому, что там повстречалась мне прехорошенькая черноволосая девушка. Это на самом деле была очаровательная девушка. И редко случалось, чтобы, проходя мимо ее дома, я не заставал ее у окна. Мы переглядывались, обменивались улыбками, словно старые знакомые, хотя еще и не перекинулись друг с другом ни единым словечком. И так каждый день или даже по нескольку раз на дню, покуда я оставался там. Если же я проходил под ее окнами на рассвете, когда она еще, наверное, видела сладкие сны, у меня возникали самые чудесные мысли; да и каким же надо быть прозаическим человеком, чтобы не преисполниться прекрасных мыслей, проходя на рассвете под окнами красивой девушки.

Из Эперьеша я отправился в Лёче. Керени поехал вместе со мной. До самой границы Сепешского комитета дорога почти непрерывно вьется в гору; и горы вырастают на глазах; у подножья зеленеют густые ельники; чем выше, тем лес все больше реддеет, и вершины достигают всего лишь несколько деревьев... будто солдаты, штурмующие замок.

И мы достигли границы Сепеша — ее называют Браниско — и стали на вершине горы. По одну сторону открывался пологий склон, по другую — крутой обрыв. С вершины видны были волшебное ущелье Сепеша — Варайя и вблизи него голые руины замка, в пурпурных залах которого родился некогда Запоя. А на самом краю горизонта виднелась целиком эта кротовина, именуемая Татрами. Все это предстало перед путником, и ежели он был *поэтом*, то воскликнул, сказал... нет, ничего не сказал. Говорить он был не в силах — только молча дивился. Если же проезжий был *критиком*, то девять десятых его сердца пришли в воодушевление и он пробормотал сквозь зубы: «Недурно!»

Одна из наших лошадей потеряла подкову. Пока лошадь перековывали, я не отводил глаз от Карпат, от этих миллионов набросанных друг на друга пирамид. Но душа моя, словно ребенок, избавившийся от няньки, незаметно ускользнула далеко-далеко, туда, где нет гор, где даже холмов почти не видно, где Дунай катится величественно, как героические поэмы Вёрёшмарти, где равнины протянулись так далеко, будто ищут края света, где небосклон — словно огромный дворец, с купола которого свисает алмазная люстра солнца, а по стенам развешены зеркала миражей и в них радостно глядятся отары и табуны... Туда, туда перелетела с Карпат моя душа, на сладостную родину, на прекрасный Альфельд.

Мы выехали утром и после обеда прибыли в Лёче. В тот же день хотели ехать дальше, но все городские клячи — даже почтмейстер — были заняты на пахоте. Поэтому остаток дня мы вынуждены были провести в старом Лёче, где бьется великое множество юных девичьих сердец. Но не венгерская речь

заставляет биться эти сердца. А потому, как ни красивы девицы, они недостойны того, чтоб я рассказывал о них. Девушка, желающая мне нравиться, должна быть венгеркой и душой и телом, иначе я даже не подыму с земли уроненный ею платочек; а для настоящей венгерской девушки я готов на все, даже самое героическое... *Я готов даже жениться.*

На другое утро мы приехали в Кешмарк, к подножью Карпат. Стоял дождливый день, Карпаты совсем не были видны. И смеют же утверждать, что Тантал — историческая сказка! Сколько раз случается в жизни так: человек уже почти касается рукой яблока, а судьба быстро отнимает его и показывает фигу.

В полдень мы вместе с Керени навестили профессора Павла Хунфалви, любимого всеми его учениками. Я упоминаю об этом только потому, что сие встречается у нас столь же редко, как трезвые и честные критики. Мы осмотрели замок Текели. В нем, пожалуй, лучше всего сохранилась часовня, однако и в ней валяются на земле упавшие святые и ангелы! Бедняжки!

После обеда мы пошли к одному отставному капитану выпить вина и отведать ветчины. Капитан этот был нашим попутчиком до Эперьеша показался весьма порядочным и славным человеком. Именно на счет этой выпивки и должна отнести уважаемая молодежь, что когда она вечером любезно почтила нас музыкой, то и Керени и я произнесли благодарственные речи, столь классические, что Obscurides Simplicius Гаала мог бы сказать и про нас: «Они не изучали Квинтилиана или «De oratore» Цицерона».

Мне было так совестно за всю эту историю, что я посвятил Кешмарку только один день и из-за дождя не успел поглядеть на Карпаты с того места, откуда

они видны лучше всего. Но, на мое счастье, мы пустились в путь рано утром. Татра еще лежала, раскинувшись во всей своей красе, словно прекрасная спящая девушка, которая во сне сбросила с себя одеяло, прикрывавшее ее прелести. С восхищением смотрел я на нее некоторое время... А вскоре — должно быть, от громохания нашей повозки — она очнулась и, будто застыдившись, укуталась в покрывало тумана... Татра... прекрасная девушка.

Я торопился из Кешмарка и Игло — один из шестнадцати городов Сепешского комитата, ибо там живет семья, которой уже давно хочется познакомиться со мной, так же как и мне с ней. Милая патриархальная семья! Я не забуду тебя. Не забуду старика, отца семейства, который являет собой образ двух частей света: Европы и Америки. Его седая голова — постаревшая, мудрая Европа, а сердце — молодая Америка, где зеленеют бескрайные девственные леса, леса жизнерадостности и надежд; не забуду я мать семейства, такую же простую и добрую, как и моя мать... И не забуду детей, как не забываю ветви дерева, под сенью которого я сладко отдыхал. В Игло и многие другие достигли своей цели, если, конечно, их цель заключалась в том, чтоб навеки запечатлеть в моей памяти те три недели, которые я провел у них в веселье.

Я пробыл в Игло три недели. Равно любовался и людьми и окрестностями. Карпаты видны оттуда целиком, но, пока я шил в Игло, они почти все время были окутаны туманом или облаками, и в смене солнца и ненастья казались мне алтарем природы, а туман и облака над ними — курящимся росным ладаном.

Стояло слегка туманное утро, когда я направился из Игло в Рожню. Временами я оглядывался на

Карпаты, они едва виднелись во мгле... И для меня было почти загадкой, воображение это или явь? Вот так мы порою встречаемся с людьми и не знаем, во сне ли мы их видали, или это в самом деле наши старые знакомые. Наконец Карпаты скрылись из виду, я въехал в необозримый высокогорный сосновый лес.

Прекрасны сосны, когда ветер раскачивает их высокие сумрачные вершины, а на ветках весело щебечут птицы; они напоминают грустную, стройную, темноволосую девушку — ее утешают, а она качает головой и отвечает с томной улыбкой:

— Увы, мне нет утешения!

Среди этих грустных темноволосых девушек скачут ручьи — шаловливые, проворные ребяташки, — их детским сердцам непонятно горе тетушки-сосны. Они несутся в неукротимом веселье, падают с горы в долину, кувыряясь так резво, что это оказало бы честь любому клоуну.

А на горах живет мрачный, угрюмый великан — вихрь! Шаловливые ребяташки-ручейки дразнят его своей шутливой болтовней до тех пор, покуда терпение его не иссякает, и тогда он пускается за ними вдогонку и треплет их за белокурые чубы — пену.

Среди этих сосновых лесов раскинулась невыразимой красоты долина, очертаниями напоминающая собой букву L. Называется эта долина Киш-Хнилец или что-то в этом роде. Я решил не отказывать себе и позавтракал в первой попавшейся гостинице, хотя уже пробавлялся этим же в Игло. Еще перед завтраком я заметил корчмаршу, весьма красивую собой, а я питаю особое пристрастие к красивым корчмаршам.

Дальше, по дороге к Рожньо, суровая картина становится все более приветливой, к соснам примешива-

ваются деревья более светлые, более зеленые. Не знаю, что это за деревья. Я безбожно скверный ботаник, — не лучше читательской публики Венгрии, частенько принимающей ивовые или бузиновые дудки за флейты из красного дерева.

Обедал я, вернее остановился, чтобы пообедать в Весвереше — деревушке Гемерского комитата, — но там мне ничего не могли подать. У бедняг не оказалось даже хлеба.

Отсюда Рожньо уже только в часе ходьбы. Какой-то ученик-портной прицепился к задку нашей повозки. Мне вспомнилась пора, когда я шагал пешком из Мохача в Пожонь и даже дальше, и как было приятно, когда меня кто-нибудь подвозил, вернее, как было бы приятно, если б меня кто-нибудь подвез. И я посадил мальчишку к себе.

От него узнал я название самой приличной гостиницы и в ней остановился.

В Рожньо я провел три дня. Второй день я потратил на осмотр Агтелека, до которого из-за скверной дороги пять часов ходу.

Рожньо приютилось в долине среди высоких крутых гор, словно подаяние в шляпе нищего. До Пельшеце дорога в Агтелек пролегает через длинное тесное ущелье; если бы его, точно изложницу, залили каким-нибудь сплавом, вышла бы огромная палица. Впрочем, ехать по ущелью мне было приятно. Оно напоминает одновременно и громадный национальный флаг: красная земля, белые скалы, зеленый лес.

Совсем близко от Рожньо расположился Берзете, где написал столько превосходных песен Янош Эрдеи. Я его очень люблю.

Заметив на склоне горы возле Берзете небольшие развалины, я спросил своего возницу:

— Что это за руины?

— Это, сударь мой, был монастырь, в нем жили красные монахи, — отвечал возница. — И чудное же это место. Вот, к примеру, лошадь, так ни за что не станет там в полночь пастись. В развалинах зарыт клад. Каждый год, в урочный день, он появляется вокруг стен на холстинах. Только вот взять-то его не возьмешь... Боже упаси кому-нибудь приблизиться... Петух сразу выключает глаза.

Так рассказывал мой возница.

Я же воскликнул удивленно:

— Ого!

— Так-то вот, сударь, — прибавил он.

В Пельшце, где состоялись обычно собрания Гермерского комитета, я купил сигары.

— Я заверну их вам в бумагу, — предложил лавочник.

— О, не беспокойтесь...

— Да что вы, позвольте, пожалуйста. Они тогда не высохнут.

Приехав в Агтелек, я нанял провожатого, и мы, запасшись факелами, отправились в пещеру, именуемую Барадла. Пещера расположена возле самой деревни. Как раз в это время кальвинистский учитель торчал около своего дома. Провожатый мой пригласил его, и он присоединился к нам. Мы вошли в пещеру.

О вы, бездушные люди, вечно ищущие и для всего устанавливающие правила, идите сюда и падите на колени перед чудом беспорядка!

А что такое порядок? Не что иное, как костыль для посредственности.

Я долго размышлял о том, как же возникла эта пещера.

И догадался.

Когда восставшие ангелы были изгнаны из рая, они в этом месте стали копать себе новое жилище — преисподнюю. Но, не добившись толку, пошли дальше. Можно себе представить, как устали беднягичерты от этой бесплодной работы. Капли их пота до сих пор стекают со стен и потолка этой недостроенной преисподней.

Как я уже заметил, с нами пошел и деревенский учитель. Я решил, что если начертаю свое имя на задней стенке пещеры, рядом с именами других посетителей, то сделаю этим сюрприз молодому человеку. И я начертал свое имя большими буквами.

— Может быть, неразборчиво, не прочтешь? — спросил я с одной только целью, чтобы он взглянул туда и удивился.

— Нет, почему же? Можно прочесть: «Петёфи»... Но, милостивые небеса! Он проговорил это столь равнодушно, без всякого почтения и удивления, будто там было написано: Ишток Кирибица, Шуянски, Бадачони или еще бог знает что.

В деревне, как и повсюду в таких местностях, есть книга, где посетители записывают свои имена. Рядом с именами пестреют строчки, которыми желают выразить чувства и мысли, возникающие в пещере...

О горе!

В Рожньо я вернулся поздно вечером. В городе всю ночь стоял страшный шум... был канун выборов комитатских властей. Под моими окнами раздавались такие крики, что исходи они не из столь охрипших глоток, небеса — и то бы треснули. На этот раз, правда, глотки охрипли оттого, что люди слишком часто утоляли свою жажду.

Я не политик, и выборы комитатских властей интересуют меня главным образом тем, что к ним при-

общают и поэзию. В ту ночь, я слышал, как пели на базаре в числе прочих и такую песенку:

Свой последний грош отдам
Тому, кто мне понравится;
Пусть веревку купит он
И на ней удавится.

Коротко, но убедительно! Как та дубинка, которую таскали с собой под длинными рукавами рубах вербовщики голосов, называя ее «защитником».

На следующий день я пошел в Римасомбат вместе с рожньоским лютеранским духовником; его я научился уважать за ум и любить за сердце. Мы нагнали с ним отряд вербовщиков, с белыми перьями на шляпах (другая партия носила зеленые ветки).

— Ветер сдует ваши петушьи перья! — кричали в деревнях своим противникам носители зеленых веток.

— А ваши зеленые ветки жуки объедят! — орали те в ответ.

— Кто да здоровствует?

— ...оши!

— А ...афи?

— Что? ...афи собака!

— ...афи патриот!

— Да здоровствует ...оши!

— А мне-то что...

Так они шли с музыкой и гиканьем.

Остановились возле корчмы. Одному из старых вербовщиков, когда он сошел с телеги, вдруг показалось, что он знаком со своим соседом.

— Иди сюда, братишка, — проговорил он. — Дай-ка я тебя раздавлю. — И последовали трогательные объятия. Правда, угроза «раздавлю» была

совсем не страшной: добрый старик вряд ли сумел бы раздавить даже виноградинку, до того он раскис.

Мы переночевали в Гемере. Здесь я обнаружил две достопримечательности: башню и кладбище.

На вершине башни — крест, звезда и полумесяц...

А кладбище было единственным в своем роде. Оно раскинулось на таком крутом склоне, что мертвецов — особенно в грязь — приходилось подтягивать на веревках. Когда зазвучит труба Гавриила, этим несчастным придется проделать страшное сальто-мортале, прежде чем они попадут на предназначенное им место.

На постоялом дворе, где я ночевал, вместо картины стену украшала лѣчская афиша. В ней, между прочим, было написано следующее: «Венгерские актеры, под руководством *** нынче (à la: напечатано в таком-то году) представят пьесу «Выборы». В скобках под этим стояло: «Реставрация». Оригинальная комедия в четырех действиях. Написал ее Игнац Надь на средства «Товарищества ученых».

Ну вот, а я и не знал, что *на средства* «Товарищества ученых» пишутся пьесы!

А теперь немедленно пойдем в Римасомбат, где скоро соберется дворянство. Но перед этим мы можем заскокить... и в Пешт.

10 октября 1844 года в Пеште произошло такое грандиозное событие, которое историки не посмеют обойти молчанием. Я исполнял в Национальном театре роль нотариуса Гемеша в пьесе Сиглигети «Дезертир». Говорят, будто я провалил свою роль, но это неправда, потому что... я не верю этому. Думаю, что привел достаточно веский довод в опровержение вышеупомянутых недоброжелательных пересудов. Правда, не спорю, что вместо «Барышня Юльча выходит замуж», я сказал: «Барышня

Юльча женится». Но даже Лендваи, а ведь он неплохой актер, говорит подчас еще большие глупости. Словом, я не провалился и после представления победоносно отправился ужинать в Комло. Там во время выпивки я завязал дружбу с двумя молодыми гемемерчанами — Лайошем С. (он очень славный малый, а жена его еще красивее) и Янчи Х., которого господь пусть так же всегда осеняет благодатью, как от него всегда разит вином. А обо всей этой истории я рассказываю, господа, только для того, чтобы сообщить, что, прибыв в Римасомбат, я сразу же пошел разыскивать своих друзей. И на самом деле, перед домом ратуши, среди множества незнакомых, мне представилось знакомое лицо.

— Одну минуточку, — окликнул я его и отвел в сторону.

— Сделайте одолжение.

— С кем имею честь?

— Янош Х.

— Так мы ведь знакомы. Я — Петёфи...

— Ах, это ты, дружище? Только сейчас признал тебя...

— Не удивительно, что мы не сразу признали друг друга: познакомились мы в туманный день и т. д.

Мне было бы искренне жаль, если моему любезному читателю все это показалось бы неинтересным. Я рассказал об этой встрече только потому, что она оказалась важным событием для меня. Мой друг Х. предоставил мне в Римасомбате жилье. А это немалое одолжение в дни выборов комитатских властей, когда даже голубятни — и те битком набиты гостями. В доме моего друга Х. я пришел к замечательному открытию: установил, как можно избежать того, чтобы волосы не были в пуху.

Надо просто спать на голом полу!

Однажды, вернувшись поздно домой, я увидел, что все постели заняты, и мне не оставалось ничего иного, как лечь на полу. Вот это и было вознаграждено тем знаменательным открытием, о котором я уже упомянул.

Впрочем, на следующий вечер я постарался прийти домой заблаговременно, чтобы не быть вынужденным придти еще к какому-нибудь новому открытию. Куда нам, венгерцам, делать открытия... Пусть уже другие нации занимаются этим.

Выборы прошли в образцовом порядке. Жаль только, что стоял ненастный день.

Шел дождь. Впрочем, я заметил это, только пробираясь через лужи посреди рынка, где простоял все утро... Из крайнего окна ратуши выглядывали женщины, и я залюбовался глазами одной дамы. В них улыбались такие ясные небеса!

На другой день по милости Гемерского комитета и господ бога меня назначили членом апелляционного суда.

Уже не терпелось ехать в Пешт, который мне, неблагодарному, успел было наскучить. А ведь я могу жить только там и нигде больше в мире, только в милом, прекрасном Пеште. Каждый шаг, уводивший меня дальше и дальше от Пешта, превращался в толстый канат, который влек меня обратно с неудержимой силой.

А что же влечет меня в Пешт?

Что?

Всё! Добрые друзья, веселые, шумные приятели и скорбный, тихий могильный холм.

Итак, из Римасомбата я собирался отправиться прямо в Пешт, но разные приглашения заставили меня завернуть еще в несколько ближних деревень. В Кишфалуд и Варгеде — в прокуренную

комнату к Боди Адорьяну и к огнебородому Руди Кубини.

И я не пожалел об этом.

В Варгеде я жил великолепно. Впредь не буду даже рассказывать, где и как я провел время... потому что, где бы я ни был, повсюду чувствовал себя отлично.

Заслуживает упоминания библиотека Р. Кубини, в которой собраны замечательнейшие шедевры английской, французской, немецкой, итальянской и испанской литератур и чуть ли не все произведения венгерской литературы. О, хоть бы в нашей отчизне было побольше таких порядочных людей, как Р. К.!

Из Варгеде я совершил две прогулки: в Лошонц и к развалинам замка Шалго и Шомошке.

Путь из Варгеде в Лошонц пролегает через Фюлек, где некогда знаменитый замок лежит теперь грудой развалин. Я, конечно, обошел все кругом; но меня обуял невыразимый гнев, когда я увидел, что камни развалин употребляют для того, чтобы мостить ими улицы... чтоб топтать те камни, на которых запеклась священная кровь наших предков.

Фюлек долгое время был в руках турок. Но бьюсь об заклад, если б туркам каждый день пришлось пить вино, которым угощали меня здесь в корчме, Фюлек был бы свободен от турок столетием раньше.

От Фюлека до Лошонца нет ничего достопримечательного, кроме самой дороги. Живого она может затрясти до смерти, а мертвого пробудить к жизни. Я помирал и воскресал на ней раз шесть.

В Лошонце на сей раз я провел только один день. За этот день я осмотрел замок в Гаче и суконную фабрику. При посещении последней путешественник испытал бы, верно, больше наслаждения, если б у него не имелось того органа, который создан

для нюхательного табаку, щелчков и пр. Замок — владение графов Форгач — не очень древний. Он выстроен, вероятно, в XVII веке. Я обошел несколько его зал, больше всего привлекла мое внимание портретная. От одного портрета я никак не мог оторваться. Это было изображение дамы — прекрасной, молодой и безумной.

Как раз прозвонили полдень, когда я вернулся с прогулки в Лошонц, где меня ждал, устроенный в мою честь, грандиозный обед у одного истинного мадьяра.

На другой день вместе с моим другом А. Ш., который и затащил меня сюда, мы поехали обратно в Варгеде, причем той же дорогой, по которой я имел уже счастье путешествовать.

В Фюлеке мы остановились перед кузней, так как надо было подковать одну из наших лошадей. Я и сейчас еще очень люблю кузницы, — в детстве мне хотелось стать кузнецом. И разве это не было бы лучше? Теперь меня били бы не пачкуны-критики, а я сам колотил бы по железу молотом, схватив его испачканными руками.

Переждав несколько дней из-за дождя, мы совершили из Варгеде вторую прогулку. Поехали целой компанией в палотцкую деревушку Вечкеле. По дороге проезжали Хайначке. Их уже и руинами не назовешь, — владелец Хайначке велел окончательно все снести. В четверти часах оттуда ванны и кислые источники — такие же, как парадские, только чуть слабее. Там мы полдничали. Цыганская банда Йошки Чомаи исполняла чудесные песни Лавотты, Чермака и других. Особенно захватила меня Каранчайская песня — я слышал ее впервые. Да и могло ли быть иначе! Слушая ее, даже небо то заволакивалось, то прояснялось. На одной его стороне светило солн-

це, на другой шел дождь... Словом, это было воплощение венгерской песни, венгерского веселья.

В Вечкеле мы заночевали и на другой день спозаранку пошли через Медвеш — один из отрогов Матры — в Шомошке.

Шомошке — был небольшой замок, да и расположился он на невысокой горе. Но я вперился взором в его постройку, сложенную из пяти-шести- и семигранных камней. На склоне горы рассыпаны домишки деревни того же названия, жители которой до сих пор живут чуть ли не идиллической жизнью. Когда мы спустились из замка в деревню, нас зазнала к себе в дом радушная крестьянка и сама, без нашей просьбы, угостила нас молоком и простоквашей. С трудом уговорили ее взять за это деньги. Хорошие люди!

В часе ходьбы отсюда лежит Шалго. В деревне рассказывали, что в те времена, когда в Шалго стояли турки, мадьяры стреляли по ним отсюда из замка Шомошке и выбили ложку из рук одного турка, который как раз в это время ел. Тогда басурманы бросились бежать из Шалго, да так и не возвращались до сих пор. Где еще найдешь поэта с таким смелым воображением, как у народа?

Еще хорошо, что мы наняли провожатого от Шомошке до Шалго, а то вряд ли нашли бы дорогу к замку. Он примостился так необычно, что только безумец мог его там выстроить. Шалго окружен густым буковым и дубовым лесом. Вершина горы — огромная гранитная скала. На ней и стоял замок, от которого сейчас остались одни только развалины. Самая высокая его стена — двухсаженная. В Венгрии, наверно, не было второго замка, расположенного так близко к звездам, как Шалго. Я долго сидел на самой вершине его развалин, и

взгляд мой уходил за далекие мили, а душа в глубь веков.

Насытившиеся дневными впечатлениями и изрядно проголодавшиеся, мы вернулись под вечер в Вечкеле. Правда, по милости повара Руди Кубини лекарство против голода было уже приготовлено. Но это опять имело скверные последствия. Я изрядно наелся и видел дурные сны.

Когда мы ехали обратно в Варгедде, я даже не взглянул на Хайначке. А ведь перед тем, как увидел Шалго, я не в силах был оторвать глаз от крутой, похожей па сахарную головку горы, на вершине которой стоял замок.

Дорога от Фюлека до Лошонца врезалась мне в память гораздо глубже — я не забыл ее до сих пор. А поэтому решил сейчас поехать в Лошонц через Римасомбат. Римасомбат хорошенький городок. В нем две непомерной величины гостиницы. И это производит такое впечатление, будто маленький внучек напялил на нос очки большеголового деда. На окраине города протекает река Рима, в ней я выкупался, да чуть не утонул. Река сама по себе не глубокая, но мы купались возле мельницы. Я поплыл напрямик, и меня затянуло под воду. Если б это было еще, скажем, вино... а то утонуть в воде... *Secatura!* *

Некогда в прекрасном поэтическом мире считалось, вероятно, удовольствием умереть так... в объятиях нимф и сирен... Но теперь мир стал настолько прозаичным, что сладкогласные красавицы-нимфы и сирены превратились в злобных немых рыб и раков... Тьфу! Из этой сказки следует мораль: хорошо тому, кто умеет плавать. А я, увы, могу похвалиться этим умением значительно в мень-

* Скука (*итал.*).

шей мере, чем большинство моих коллег-стихотворцев, — они не тонут даже в море собственных водянистых стихов.

В Лошонце я провел неделю. Это была славная неделя: мы ели и пили... А впрочем, я не могу пожаловаться и на отсутствие духовных удовольствий. В Лошонце у меня много друзей и много знакомых милых девушек. Едва я успел приехать туда, как уже распустили слух, будто я женюсь... что, впрочем, было мне даже очень лестно. Но тем не менее я должен заявить, что толки о моей женитьбе — пустые разговоры. Заявляю для успокоения тех девушек моей отчизны, которые, быть может, втайне томятся по мне и ожидают земного блаженства от моей взаимности.

Лошонц — превеселый городок... в нем часто дерутся студенты. Героические ребята! Они и нынче избили одного сапожного подмастерья. Мир праху его! А вам лавры на головы, юные витязи моей отчизны!

А Лошонц и в остальном превеселый городок. О банях его я умолчу. Зато проживает в нем один такой господин, которому стоит только появиться на улице, как все мальчишки начинают свистеть. Эта кошмарная музыка сопровождает его из одной улицы в другую. А вся история, если только мне правильно рассказали, сводится к следующему.

Вышеупомянутый господин предпочитает вино воде. Как-то раз он, крепко выпив, остановился возле собаки и, посвистывая, стал звать ее за собой. Но собака даже не шелохнулась, ибо она была лишена того, что необходимо для движения: жизни. Кто-то оказался свидетелем происшествия, *hinc illae* * свистки.

* Отсюда эти (*лат.*).

В Лошонце живет еще один старик — устроитель похорон, которому вся молодежь кричит вслед:

— Сыч, сыч!

Бедняга старик приехал в Лошонц из Ваца, откуда его изгнали подобные же крики. И вот он прибыл в Лошонц со светлыми упованиями на будущее, но едва переступил черту города, как его уже приветствовали злополучным:

— Сыч, сыч!

Смирный старец переносит эти крики, пока хватает терпения, потом бежит за детьми и бросает им вслед обломки кирпича... но быстроногие мальчишки удирают во все лопатки и с удвоенной энергией отвечают криками и воплями:

— Сыч, сыч!

По дороге из Лошонца в Валашадьярмат со мной не произошло ничего дурного, разве только вот, когда уже проехали с полчаса, мне пришлось послать кучера обратно за моим плащом, который я забыл в Лошонце. Кучер побежал и принес плащ — только не мой, а чужой. Таким образом, мне пришлось вернуться самому. Наконец мы пустились в путь и ехали уже без всяких злоключений... Пропали только плащ моего попутчика и люшня от телеги. Плащ нашелся, люшня не нашлась, и я приятно проводил время: следил за тем, чтобы не соскочило колесо.

Мы должны были проехать село Лудань, где я видел красивейшие в мире деревенские чепчики. Когда я женюсь, непременно закажу своей жене чепчики в Лудани. Уж ради одного этого стоило бы какой-нибудь девушке попросить, чтоб я женился на ней.

Так как было очень жарко, то мы выехали из Лошонца только перед вечером и прибыли в Дяр-

мат уже в полночь. Стояла чудесная лунная, звездная ночь. Над всем городом, как сказал бы Шуянски, *колыхалось* молчание. И так, над городом колыхалось молчание, только из нескольких трактиров доносились звуки скрипки и контрабаса да гиканье пирующих. На следующий день должна быть ярмарка — одно из моих самых любимых зрелищ. Это случай и место, где я могу повидать как можно больше людей. Я страстный любитель природы. Но что поделаешь! Красивую девушку, какого-нибудь пьяницу и пр. я все-таки созерцаю с большим наслаждением, чем любой пейзаж.

Осмотрев в Дярмате весьма красивый дом комитатской ратуши и громадную строящуюся тюрьму, потоптавшись на ярмарке, я направился в Вац. Возницей моим оказался вацкий мельник — он привозил на ярмарку муку... и всю дорогу забавлял меня своими смешными замечаниями.

Когда мы сели в телегу, я сказал, что у него будет жесткое сидение.

— Что ж, тем лучше растрясет, — ответил он.

Затем мы беседовали с ним о политике и теологии... как жаль, что я забыл наши разговоры. Они несомненно открыли бы новую эпоху и в политике и в теологии.

В Ретшаге я обедал с одним юношей, который приехал туда чуть раньше меня. Лицо этого юноши — одно из таких лиц, которые привлекают с первого взгляда. Мы едва перекинулись несколькими словами, как сразу же почувствовали себя старыми знакомыми. Я спросил, как его зовут. Он представился и продолжал:

— Я даже не стану спрашивать, кто вы, потому что знаю — вы Петёфи! Не правда ли?

— Да, но откуда вы знаете?

— А кто вас не знает!

Он прав: кто меня не знает? — подумал я не без самомнения. Быть может, мои каракули не переживут меня, может быть, не доживут даже до конца дней моих, возможно, что имя мое отзвучит еще при моей жизни, будто и не звучало никогда... Но это меня не страшит. С меня довольно сознания того, что было время, когда я мог сказать: «Кто не знал меня!» Прекрасно завладеть вниманием читателей даже на одно мгновение. И то, что я владел им, даст мне больше счастья в мой последний час, чем если бы я умер, не понятый своими современниками, пусть даже питаю надежду, что вечно буду жить на устах потомства.

Вот уж действительно величайшая неприятность, если человек торопится в Вац, чтобы попасть на пештский поезд, а поезд отходит за пять-шесть минут до того, как он приехал...

Так случилось со мной. Когда я спускался с вацской горы, я увидел, как внизу уходит поезд. Когда же я въехал в город, то поезд уже... ох! Denique *, я должен был переночевать в Ваце...

Это была мучительная ночь.

Меня тревожил какой-то призрак — прекрасная, величественная фигура. Но все его тело было растерзано. Поутру я узнал, кто это был. На том постоялом дворе, где я остановился, стояли подмости. И явившийся ко мне ночью призрак был несомненно духом убитого здесь театрального искусства.

Не желая ждать поезда до вечера, я нанял лошадей на постоялом дворе, и рано утром они помчали меня к столь желанному Пешту. Но они не могли нести меня с такой быстротой, чтобы от этого

* Итак (лат.).

улеглось мое беспокойство. В смятении я вырубил стихотворение «Приветствие Пешту». Тот, кому захочется узнать, с каким чувством въезжал я в Пешт, пусть прочтет его.

ПУТЕВЫЕ ПИСЬМА

К ФРИДЕШУ КЕРЕНИ

I ПИСЬМО

Пешт, 8 мая 1847 года.

Милый друг! Ты получишь, вернее будешь получать, от меня письма, и как раз по той простой причине, что я не обещал тебе писать. Только тот пусть не ждет от меня посланий, кому я обещал писать. Он будет ждать их столь же тщетно, как цинкотский ночной сторож английскую корону. Думаю, что мне найдется о чем написать, ибо я буду путешествовать. Занимательно иль нет опишу я свои странствия — это уж другой вопрос, вернее весь вопрос именно в этом. Во всяком случае буду стараться не вносить своими письмами еще больше скуки в твое и без того тоскливое деревенское одиночество. Я прекрасно знаю, мой друг, что все скучные вещи на свете — скучны, но скучнее всего скучные письма.

На днях я направляюсь в Сатмар, где меня ожидают: одни с распростертыми объятиями, а кое-кто, может быть, и вооружившись палкой со свинцовым набалдашником. Я слышу, что господа гневаются из-за моего стихотворения «В Надкарое». Очень жаль, и вместе с тем я несказанно рад — ведь я стремился именно к тому, чтобы пнуть их хорошенько в бок, как они того заслуживают. Признаюсь, еще больше хотелось бы мне дать им по башке, но пустые бочки страшно гремят, а у меня не было

охоты подымать большой трезвон. Впрочем, их угрожающие свинцовые набалдашники вовсе не так страшны, как иные распростертые объятия. Когда я вспоминаю о них: «О любовь, о блаженство моей души!»

Читал ли ты, что пишет о тебе «Сепиродалми семле»? Если не читал, то и не берись за него: не стоит он того, чтобы ты себе кровь портил. А впрочем, смело прочти! Не думаю, чтоб такая чепуха возмутила тебя даже на миг. Журнал *categorice* * заявляет, что ты не поэт, а сказать о тебе подобное — это либо первобытная глупость, либо *malitia* **; первое я прощаю, а о втором молчу с презрением, но вместе с тем утверждаю, что это нахальство. А нахальничанья я не прощаю никому и не потерплю ни от кого... за исключением «Хондерю», который предается этому занятию столь рьяно, что им остается только любоваться, как чем-то редкостным в своем роде. Этот «Хондерю»... Но чёрт с ним, с этим «Хондерю»! Какое мне до него дело? Возвращаюсь к «Семле». Да, суждение «Семле» о тебе — это наглость, тем более что и редактор и некоторые его сотрудники кропали в прежние времена стихи, и надо сказать, что ни один голосок общественного мнения не поднял их на такую высоту, чтоб они могли обрушить на тебя громы и молнии. Но ничего, пусть они бьют в большой барабан! Чем сильнее будут они ударять в него, тем раньше он лопнет. А ты, мой друг, будь спокоен и пиши как можно больше таких стихов, как: «При чтении завещания Фанни», «Палу Гановскому» и др. И в то время, как чернь будет кричать, что ты не поэт, муза склонится с небес и, поцеловав тебя в лоб, скажет: «Милое мое дитя!»

* Категорически (*лат.*).

** Низость (*лат.*).

II ПИСЬМО

Фюзешабонь, 13 мая 1847 года.

Вчера вечером мой друг, верный слуга Игнац, отнес мои вещи в гостиницу «Фехер Хайо» *. Игнац такой отличный и достойный уважения муж, что, не упомянув о нем, я впал бы в грех оскорбления величества. Особенно следует подчеркнуть, что он никогда не обманет, ежели не представится к тому случая, и всегда трезв, когда у него нет денег. А в остальном он весьма исполнительный и, следовательно, полезный гражданин нашей отчизны.

Эту ночь я провел в гостинице. Нынче спозаранок алая зорька поднялась на небо, а в мою комнату вошел грязный коридорный и напомнил, что я должен собираться в путь. Через час с четвертью я забрался в дилижанс. Мои попутчики уже заняли свои места. Это были: еврей — торговец кожей, купец-саксонец из Эрдея, польский офицер и папистский священник, по происхождению словак, со своей хорошенькой сестрицей — так по крайней мере представил нам девушку его преподобие. Я не удивился: ведь обычно у каждой рясы есть своя юбка — красивая молодая родственница. «Превосходная компания!» — с неудовольствием подумал я, оглядев своих попутчиков, а главное, удостоверившись в том, что из них только один-единственный говорит по-венгерски, да и тот священник.

Когда мы с грохотом мчались по улицам Ури, Хатвани и проспекту Керепеши, в этом гигант-

* «Фехер Хайо» — Белый корабль.

ском улье — Пеште, от дневного жужжания которого даже у неба и то заболевают уши, стояла еще тишина. Улицы были пустынные, безмолвны, — и мне это было неприятно. Конечно, как для кого, но я не знаю ничего неприятнее шума на кладбище или среди руин и тишины в большом городе. Я люблю и шум и тишину, но и то и другое на своем месте. Дома с закрытыми окнами и дверями подобны холодным, человеконенавистническим сердцам, которые либо замкнули в себе все чувства, либо выкинули их, а от таких спаси нас господь! Как я уже сказал, когда мы выезжали, Пешт был пустынен и тих. Город спал и видел сны. Я стал придумывать, кому что снится, особенно писателям, или лучше сказать тем, кто считает себя писателем. Хазухе несомненно приснилось, что некий Зерфи, ученик венгерского сапожника, подарил ему волосок из парика Лессинга, — и Хазуха был счастлив. Лазарю Петричевичу Хорвату приснилось, что он подает тарелки к столу графа Х., — и он был счастлив; Ференцу Часару приснилось, что на сей единственный раз он пожирает вместо сена лавры, — и он был счастлив и т. д. и т. п. Они, правда, не заслужили счастья, но уж бог с ними, пусть будут счастливы!

За полчаса мы доехали до Ракоша, где происходили некогда сословные собрания и *мы выбирали* королей. Мне припомнились старый Михай Силади и юный Матяш Хуняди, гулявшие здесь четыреста лет назад, а также и те четырнадцать пенге-форинтов, что я, шагая пешком, нашел здесь восемь лет назад, когда служил статистом в пештском венгерском театре. О Силади, о Хуняди, о четырнадцать пенге-форинтов!.. Славные воспоминания!

Совсем близко от Ракоша находится Цинкота, где дремлют в бозе знаменитый певчий и кто-то из моих

предков. Ни того, ни другого мне знать не привелось, но тем не менее мир праху их. После Керепеша мы приехали в Геделле, где живет та белокурая девушка, которой я посвятил много, много стихов. Пока сменяли лошадей я, воспользовавшись случаем, соскочил с дилижанса и, овеванный пестрыми воспоминаниями прошлого, пошел... позавтракать на постоялый двор.

Мы уже проехали Дендеш, Каполну, когда я завязал разговор с некоторыми своими спутниками. До тех пор я молчал, как Слуха в сейме. Да и теперь не проронил бы ни словечка, если б его преподобие не начал поносить Хевешскую равнину, когда мы выехали на нее. Я счел своей обязанностью вступить за нее, причем в манере, свойственной Петёфи, то есть в достаточной степени грубо. Я не виноват. Пусть никто при мне не срамит ни моей возлюбленной, ни французов, ни ватрушек с тврогом, ни равнины. После этого мы непрерывно спорили с его преподобием, о котором я очень скоро выяснил, что, primo *, он страшный мадяроненавистник, secundo **, что он страшный аристократ, tertio ***, страшный осел. Иных прекрасных качеств у него не имелось. Поздно вечером мы прибыли сюда, в Абонь, где и заночуем. В гостинице оказались только две комнаты: одну из них заняли я, саксонец и поляк, а другую его преподобие со своей достойной любви сестрицей. Доброй ночи! Доброго веселья!

* Во-первых (лат.).

** Во-вторых (лат.).

*** В-третьих (лат.).

III ПИСЬМО

Дебрецен, 14 мая 1847 года.

Бывал ли ты, мой друг, в Дебрецене? Видел ли ты этот степной город, вернее городскую степь? Ежели хочешь увязнуть в пыли или в грязи, приезжай именно сюда: здесь легче всего достигнешь цели; однако зажми хорошенько нос, не то прежде, чем ты задохнешься, тебя хватит удар от запаха сала. Сколько здесь сала, сколько откормленных свиней! А дух человеческий все же настолько тощ, что у него, как у знаменитых местных кляч, ребра стучат о ребра. Здесь если и покупают книги, то разве лишь на обертку — завертывать сало. Зимой 1843/44 года, голодая и холодая, больной, я провел в этом сытом городке у одной бедной, но доброй старухи, благослови ее господь! Не позаботься она обо мне, пришлось бы писать это письмо с того света. Я был покинутым всеми бродячим актеришкой, до которого не было дела ни богу, ни людям. Правда, через два с половиной года в том же театре, где некогда, никому не ведомый, играл я свою маленькую роль, — через два с половиной года, когда я появился в публике, все взгляды сосредоточились на мне, и восторг прогремел, словно гром небесный: «Да здравствует Шандор Петёфи!..» Может быть, если я через несколько лет в третий раз зайду в этот театр, меня опять не заметят, как не заметили в первый; может быть, никто даже знать не будет, что однажды публика восторженно приветствовала меня здесь. Такова слава: приходит и уходит. Таков мир, — только для того и возносит он человека,

чтоб было потом кого предать забвению. А венгерец особенно забывчив... потому-то и о нем не сохранится память.

Из Фюзешабоня, где я провел прошлую ночь, мы за день добрались до Дебрецена. На восходе были уже в Поросло, особенно любимом Тисой, — она каждый год, не жалея времени, заходит туда. И сейчас дарит она его своей благосклонностью. Направо и налево от гостиницы мы увидели море, в котором, затонув по самую шею, как несчастные жертвы кораблекрушения, плавают деревья. Среди воды, точно шнуровка по венгерским брюкам, протянулась знаменитая насыпь, которую столько лошадей должны благодарить за то, что они попали из земной юдоли в лоно авраамлево. Если судить по длине насыпи, то кажется, всю ее можно проехать за полчаса, но и в хорошую погоду четверка лошадей, запряженная в телегу, — да еще с помощью восьми волов, — проезжает ее за сутки. В сухую погоду она имеет волшебное и приятное свойство обогащать Алфельд чисто карпатскими пейзажами, — такие горы и долины образуются на ней. Принимая все это во внимание, я счел нужным слезть с дилижанса и пройти по насыпи пешком, чтобы оградить себя от удовольствия быть опрокинутым: я хоть и головой добываю себе пропитание, но шею свою люблю не меньше головы. Я пришел к мосту через Тису только на четверть часа раньше дилижанса и залюбовался развернувшейся справа и слева картиной, которая благодаря разливу больше всего напоминала по своей романтичности американские джунгли. Но будь они прокляты, ведь и здесь скоро обуздают реку, пропадет вся романтика, водворятся порядок и проза. Да, не хотелось бы мне быть Тисой по теперешним временам. Бедняжка Тиса!

До сих пор она, словно неукротимая, дикая кобылица, как хотела, носилась по свету, а сейчас ее взнуздали, запрягли, и придется ей плестись по одному и тому же руслу. Так жизнь превращает гения в филистера!

Переправившись через Тису, попадаешь на окраину Фюрета, видишь начатый и недостроенный дворец почившего в бозе или чёрте Дюри Йожки. Дворец стоит хмурый, с неоштукатуренными стенами, с зияющими провалами окон и дверей, — стоит, точно гигантский скелет. По пустым залам, как вор, проносится ветер и, не найдя ничего, с злобным воем покидает их. Сам Фюрет так же гол, печален и холоден... Покривившиеся дома, крыши и дворы поросли бурьяном и травой, люди бледны и молчаливы, улицы пустыньны, безмолвны... Покинем этот живой могильный склеп и пойдем, помчимся к востоку, там ожидают нас чудеса: степь Хортобадь!

Хортобадь, славная равнина, ты чело господне!

Я останавливаюсь среди твоих просторов и озираюсь с восхищением, какого не знает швейцарец в Альпах, какое чувствует только бедуин в аравийской пустыне. Как вольно я дышу, как ширится моя грудь!

Насколько длиннее здесь путь солнца, чем в других краях! Неизмерим горизонт, степь — точно круглый стол, накрытый стеклянным колоколом неба, ни одно облачко не омрачает его. Чудесный весенний день.

По обеим сторонам дороги то здесь, то там жаворонок, будто паук на паутинке, взвивается на собственной песне.

В нескольких шагах от дороги сверкает озерко, по краям его — темнозеленый камыш и светлозеле-

ная осока. Возле озерка прыгают хохлатые чибисы, а посредине его широко шагает на длинных красных ногах меланхоличный аист.

Невдалеке пасется стадо; позади него, опираясь на длинную палку, стоит пастух и, увидев нас, приподнимает шляпу, но не с той покорностью, как немцы и словаки в Верхней Венгрии, а просто человечности, как это достойно венгерца.

Что это там, вдали, похожее на букву Т? Это торчат колодезные журавли, но они так далеко, что их тонких жердей почти не видать.

На горизонте хортобадская корчма, — только не на земле она, а в небе... Вот куда занес ее мираж. Рядом с корчмой табун, он тоже в воздухе — несется, словно клин уставших журавлей. Милый мираж! Как мать ребенка, держит он в своих объятиях окрестность.

Молчаливый, мечтательный, приютился древний покой в этих просторах, как столетний старец в кресле у камелька, — безмятежным своим сердцем вспоминает он мятежные дни молодости.

Как проста степь и как величественна! Но разве может быть величественным то, что не просто?

Больше полудня длился путь через Хортобадь, а я, хоть и много раз бывал здесь, никак не мог любоваться. Лицо мое пылало, грудь волновалась, и я смотрел кругом сверкающим взором, а путники мои любовались тем, как я люблюсь. Сестрица священника сказала, что счастливицей же будет моя жена, если я полюблю ее так же, как степь. Значит, моя Юлишка будет очень счастлива, ведь я люблю ее даже сильнее степи, много, много сильнее!

Под вечер мы прибыли в Дебрецен. Проехали мимо кладбища, где покоится Чоконаи. Пепельной вуалью колыхалась мгла вокруг черного чугуна

ного памятника поэта; я пристально смотрел на него, глубоко задумавшись о том, что когда-нибудь другой путник будет вот так же задумчиво стоять над моей могилой.

IV ПИСЬМО

Надькарой, 15 мая 1847 года.

О друг мой, я не проводил еще столь унылого дня с тех самых пор, как читал «Разочарованную душу». Дорога между Дебреценом и Надькароем невероятно тосклива. Пески и пески. Эти края — не горы, не долины, не кони, не ослы, а сущие мулы, что хуже всего. Одно и то же с утра и до вечера. Часы растянулись взад и вперед, как слоеное тесто, и если мне, наконец, удастся стряхнуть с себя один час, следующий уже стоит передо мной с такой же нравоучительной физиономией, — и каждый скучнее предыдущего.

Наконец, когда я уже начал отчаиваться, прибыл в Надькарой. Унылый, прозаический город, к тому же в прошлом году вербовщики голосов благородной консервативной партии пытались меня тут избить, — и все-таки я ощущаю наслаждение, ибо здесь познакомился я с моей Юлишкой, самой славной девушкой в мире. Быть может, каждый влюбленный такого же мнения о своей милой. Но каждому, кто посмел бы при мне так говорить о своей любимой, я сказал бы в глаза: «Врешь, как Фальстаф!..» Друг мой, я описал бы ее тебе, но, чтобы изобразить эту душу во всем ее блеске и пламени, я должен был бы обмакнуть перо в солнце.

Там, напротив гостиницы, в саду под деревом, увидел я ее впервые в прошлом году, 8 сентября, между шестью и семью часами вечера. С этой минуты считаю я, что живу, что существует мир... а до того не было меня, не было мира, не было ничего. Лишь тогда возникли миллионы миров в бесконечном пространстве, и любовь родилась в моем сердце... все это сотворил один взгляд моей Юлишки. В сладостных грезах смотрю я на деревья этого сада и благословляю не только их, но и того человека, который их посадил. Уж близится полночь, а сон не идет ко мне. Да и как может спать тот, кто завтра увидит девушку, которую любит, которая любит его и которую он не видел полгода. Что это были за полгода! Извели ли моря столько бурь за это время, сколько их извела моя душа?

Хотел бы я, друг мой, еще много и долго говорить тебе о своей любви, но так как эти письма я собираюсь издавать, то умолкаю. Публику занимают обычно любовные истории только на страницах романов, да и не каждый человек достоин узнать повесть моей любви. Бог с тобой!

V ПИСЬМО

Надьбания, 25 мая 1847 года.

Друг мой, откуда получил ты мое последнее письмо? Если не ошибаюсь — из Надькаря. Ах, такая сумятица у меня в голове! Да и не удивительно: события проносятся через меня, словно кони, сверкая подковами; душа моя горит и истекает кровью, будто меня пронзили сотней кинжалов, а

потом швырнули в пасть вулкана. Не на жизнь, на смерть борюсь я за свое будущее счастье, за любимую...

Только сейчас вспомнил, что должен писать о своем путешествии, я не о любви. Прошу прощения! Итак, возвращаюсь к путешествию и обещаю теперь придерживаться сего предмета с математической точностью... если только это окажется возможным.

Из Надькароя я прибыл в Эрдед, где живет моя милая... Но, pardon *, я опять свернул на ту дорожку, по которой ходит не следует. Больше не буду говорить о своей возлюбленной, скажу лишь, что она живет в Эрдеде. Порядка в этой не то деревне, не то городке, именуемом Эрдед, столько же, сколько в моей комнате... Теперь можешь себе представить, какой в нем порядок. Достопримечательностей в нем тоже нет, за исключением моей милой (опять она, — ей-богу, нечаянно), итак, за исключением моей милой и замка, в котором она живет. Это замок (разрушение почти не коснулось его) примерно XV века, с двумя маленькими и двумя большими башнями, откуда на севере видны церкви Сатмарнемети. Он стоит на небольшом холме. Некогда замком владел Ракоци, а нынешний его владелец... нет, не стану произносить его имени!

После нескольких дней, проведенных в кутежах (впрочем, таких кутежей не пожелаю никому), я направился из Эрдеда в Надьбаню. Первый день троицы я провел в Зелештене, в стеклодувне; я их никогда не видел, поэтому мне было интересно. Видал ли ты, как выдувают бутылки? Друг мой, людям это дается так же легко, как мне писать стихи.

* Извини (франц.).

Кто бы подумал! Мне казалось, что при выдувании каждого сосуда должны разрываться легкие, а на самом деле ничего подобного не происходит. Край — чудесный, романтический, — горы, доли! Расположен он по соседству с Эрдеем. Особенно я любовался им вечером, когда кругом было темно и только из стеклодувни светило адское пламя. Вокруг крошечная тьма, и посреди нее огонь! Мир, казалось, стоял передо мной, как разгневанный одноглазый негр-великан.

К Бане от Зелештена дорога идет сначала через долину Самоша, затем через долину Лапоша. Слева, начиная с Синер-Варайи, высокие крутые зеленые хребты; справа — смиренные холмы Эрдея, а за ними синеющие горные отроги. Волшебное зрелище! В долинах рассыпаны крошечные румынские деревушки, — домики с огромными соломенными крышами... крыши больше домов. Все равно как если бы Лазарь Петричевич Хорват надел на голову шлем гренадера.

Наконец добрались до горы Эрхедь, в сущности — просто холма, но когда поднимаешься на его вершину, не хочется спускаться оттуда, такая несравненная красота открывается глазам. С востока край долины окружают полумесяцем высочайшие горы, у подножья их лежит Надьбаня с его зданиями, похожими на букву О, с готической башней, — забытый временем уголок средневековья. Над городом и над всей долиной стелется какая-то особенная прозрачно-синяя дымка, будто небо опустилось на землю. Не верится, что это наяву, кажется — что это только воспоминания, словно ты уже был здесь когда-то, давным-давно, и пережил счастливые часы... С кем и каким образом — не можешь вспомнить, только знаешь, что это были очень счастливые часы!

За полчаса перебрался я из Эрхеда в Надьбаню. О, как люблю я этот город! В четвертый раз я здесь, и все больше он мне нравится. Старинные его дома приветствуют приезжего, как веселые, добрые старики. Я хочу умереть там, где родился, — в степях Алфельда, между Тисой и Дунаем. Пусть унесут мои останки далеко-далеко от шума мирского и похоронят меня посреди степи, где холм могильный, как бы мал он ни был, будет самой большой возвышенностью во всем этом бескрайном просторе. Я хочу упокоиться здесь, где нет ничего, кроме скромных репейников, летних миражей да осенних перелетных птиц. Но если я скончаюсь не в Алфельде, если мне суждено умереть среди гор, то больше всего хотел бы я быть похороненным в романтической долине Надьбани.

Место городских гуляний здесь называется рощей Марии. Она так хороша, что лучше себе и не представишь. Вчера в полдень (второй день троицы) там была большая часть городского населения: господа и не господа — все вместе... Мое демократическое сердце громко забилося от радости, его горячо и крепко обняла надежда, что мои смелые мечты о будущем мира — вовсе не какие-то несбыточные грезы. В летнем театре играла приезжая труппа. Я заглянул к актерам, надеясь встретить кого-нибудь из старых знакомых, — и действительно набрел на старика Ракоши, вместе с которым в Эрмеллеке четыре года назад прельщал публику. Ракоши — сухощавый, высокий, молчаливый, серьезный человек старого склада. Рубашка у него застегивается на спине, а не на груди; и если уж он раскрасил себе лицо, то до спектакля не покажется никому ни за какие деньги; усы же он и по сей день не приклеивает, а ниточкой привязывает к ушам.

Впрочем, он человек хороший, и в нашей труппе я любил его больше всех. Он не узнал меня, когда я предстал перед ним и поздоровался, но едва я назвал себя, как он вспомнил и со всей доступной ему радостью сказал, что слышал и читал обо мне много хорошего. Ракоши относится к тем немногим странствующим актерам, которые читают книги и газеты, когда дорываются до них.

Нынче я с целой компанией побывал в шахте. Страшная глубина! Мы спустились всего лишь на тысячу саженей, а сколько еще до самого низа? Мы вползали в длинный узкий коридор, как фарш в колбасу, некоторое время двигались по прямой, потом вверх, снова вниз, и, наконец, до нас донесся издали тихий стук кирки и замелькали шахтерские лампочки. Они то исчезали, то появлялись вновь, как звезды меж черных туч. Нет, должно быть, тяжелее жизни шахтеров. Роются, роются эти бледные кроты, вдали от солнечного света, вдали от зелени, от природы, и так до самой смерти. А для чего? Чтоб дети и жены их жили впроголодь, прозябали, чтобы роскошествовали чужие жены и дети. Почему не произойдет такое землетрясение, которое расшатает все шахты и низринет их к центру земли?.. Деньги исчезли бы, но пришло бы счастье.

Нынче я отправлюсь обратно в Эрдед, а куда поеду оттуда и когда, не знаю... Может быть, на тот свет. Утрату своей милой я не переживу; это верно, но верно и то, что если мне суждено отправиться в ад, так спутников я себе раздобуду! Храни тебя господь, милый друг, и если письмо это окажется последним, поведай миру, что меня убило отчаянье, безумие любви.

VI ПИСЬМО

Эрдед, 26 мая 1847 года.

Друг мой, вчера, а может быть столетие назад, написал я тебе письмо из Надьбани? За этот день свершилась огромная перемена; я не думал, что такое может произойти даже за целое столетие.

Господи, господи!

«Королевство за коня!» — кричит Ричард III. «Полбудущности за один спокойный час!» — кричу я, иначе не описать мне все события, любовь моей милой, любовь, равной которой еще не было до сих пор.

Я счастлив! Навеки!

Ночь, лунная, звездная, тихая ночь. Ни звука, ни шороха... Только соловей поет... это сердце мое!

Славная, славная девушка! Тебя искал я с самой юности моей. Приближаясь к каждой женщине, я склонялся ниц и боготворил ее, думая, что это ты. И, только стоя уже на коленях, замечал, что это не ты, что вместо истинного божества я боготворил идола... Тогда я подымался, шел дальше. И, наконец, нашел тебя. Ты — сладостная капля, исцелившая мою душу, которую так долго жгла и сушила своим зельем судьба-отравительница. Слава богу, противоядие пришло не слишком поздно.

Славная, славная девушка!

Ей предстояло выбрать между родителями и мной.

Она избрала меня.

Она, кого родители берегли как зеницу ока, с

самого детства предупреждая и исполняя все ее желания, никогда не сказав ей дурного слова... А кто был я? Неведомый пришелец, которого забрызгали грязью предрассудки и стрелами исколола клевета... Я даже не успел сказать ей: «Я не такой, каким кажусь, каким мир хочет меня видеть!» И все-таки она избрала меня! О, в этой девушке живет божество, которое умеет заглянуть в глубь человеческого сердца, которое видит чистые жемчужины под замутненной поверхностью моря. Да будет имя ее благословенно так же, как она благословила меня.

В сентябре женюсь, мой друг, женюсь! Дорого приобретенную независимость свою продаю за еще более дорогую цену. Что может быть дороже для меня, чем Юлишка?

Смотри-ка, опять я о ней написал, все о ней. Ничего не поделаешь, сердце мое так переполнено ею, что я должен излить мои чувства, иначе оно разорвется. Понимаешь ли ты что-нибудь из этого письма или нет? Могу себе представить, какое оно запутанное. Радость мечется у меня в голове, в груди, как пьяница по комнате: натывается на мебель, опрокидывает стол, ломает стулья, разбивает окно и всячески бесчинствует. Безумный, неистовый паренек — этот нечаянный восторг. Даже наставника моего, ум мой, и то радость чуть ли не положила на обе лопатки.

Завтра направляюсь через Надъварад к Пешту, а оттуда — за границу. Последние месяцы холостой жизни проведу в странствиях. Увижу море... мне так хочется его увидеть, — ведь оно сродни сердцу моему: глубокое, бурное! Увижу родину Шекспира, Шелли и Байрона — темную Англию, увижу родину Беранже — лучезарную Францию

и самого Беранже, величайшего апостола, нового спасителя мира — свободы. Орудийный грохот Июльской революции был отзвуком песен Беранже... Пусть каждый с почтением произносит его святое имя. Он первый в мире поэт!

VII ПИСЬМО

Салонта, 7 июня 1847 года.

Первого числа сего месяца я приехал через Сатмар, Надькарой, Эрмеллек и Надьварад в Салонту. Об этой поездке вспомнить почти нечего... Между Сатмаром и Кароем лежит маленькая деревушка Майтень, но окрестности ее знамениты: здесь произошло последнее сражение Ракоци. На былом поле битвы я написал стихотворение; конец его звучит так: «Слезу я уронил и клятву страшную сурово произнес». Так оно и было. Я проклинал и плакал. Эрмеллек приятная, смиренная долина. На склоне горы растет знаменитый виноград, а у подножья ее раскинулись тучные пашни. В Секейхиде мы покормили лошадей, как раз в том самом постоялом дворе, где в 1843 году, будучи актером, выступал я с шестью своими товарищами. Я заглянул в трактирный зал, где некогда стояла наша сцена. Меня окружили бледные, безрадостные, сухопарые, туманные привидения — призраки проведенных мною здесь дней. Я долго беседовал с ними; беседа наша была очень серьезной, вдумчивой, только изредка улыбался я устало и печально. Мы беседовали о грустных, очень грустных временах.

Возле деревни Бихар стоят развалины замка, в котором, согласно легенде, скрывался от Арпада

вместе со своими женами Мен-Марот. Прекрасные женщины, прекрасные женщины! Место, где некогда вы улыбались, теперь пустынно, голо, заброшено. Одна только виселица стоит на вершине заросшего травой крепостного вала. За деревней возвышается холм, прозванный Бихарским перевалом. Прекрасен вид с него на простершиеся кругом равнины, на окрестности, к которым пусть уже уставший, но все-таки иногда приходит с востока в гости мираж. А на юге, у подножья горы, лежит Надьварад — красивый, приятный, большой город, однако я не успел осмотреть его, так как торопился в Салонту.

Знаешь ли ты, почему я торопился сюда и почему обитаю здесь уже почти целую неделю? Потому что в Салонте живет один великий человек, и этот великий человек мой добрый друг, и этот мой добрый друг — Янош Арань, автор «Толди». Ежели ты еще не читал упомянутой книги, то я напрасно стал бы тебе рассказывать о нем; если же ты прочел, то все слова излишни. И поэму сию написал простой деревенский нотариус в маленькой комнатушке, длиной в пять, шириной в два шага. В сущности так и должно быть. Ведь музы вовсе не консервативные барышни — они идут в ногу со временем, а так как лозунг века: «Да здравствует народ!», то и музы спустились с аристократического Геликона и поселились в хижинах. Счастлив я, что тоже родился в хижине!

Неделю, проведенную в семейном кругу моего нового друга, я отношу к прекраснейшим дням своей жизни. С одной стороны, степенно-веселый отец семейства, с другой стороны, по-веселому степенная мать семейства, и перед ними двое лепечущих ребятишек — белокурая девочка и черноволо-

сый мальчуган. Таким венком обвито мое сердце, и я счастлив. Мне больно только одно, что на днях я расстанусь, мне придется расстаться с теми, кого люблю так, будто они мои близнецы. Бог с тобою, милый Фридеш! Твой истинный друг желает тебе найти счастье, подобное моему. Следующее письмо от меня жди из-за границы.

VIII ПИСЬМО

Пешт, 25 июня 1847 года.

Номо proponit, Deus disponit * — что в сущности означает: рассудок предполагает, а сердце располагает, — ведь насколько бог сильнее человека, настолько сердце сильнее рассудка. А все это означает, что я не еду за границу, об этом даже и речи не может быть. Друг мой, просто страшно, что сердце до такой степени властвует надо мной. Оно — настоящий деспот, разум — его покорный слуга или, в лучшем случае, кроткий, добродушный отец, который только советует, а приказать не может или не хочет. И я рад этому. Такой человек может быть очень несчастен, но зато и счастливым по-настоящему может быть только такой человек. Именно поэтому я был некогда очень несчастен и потому же очень, очень счастлив сейчас. Итак, я не еду за границу и на днях поверну с запада на восток... на восток!

13 июня я прибыл из Салонты в Пешт, прибыл в дождь и около полуночи, а это имело два неприятных последствия: *primo*, я промок до нитки, *secundo*,

* Человек предполагает, а бог располагает (*лат.*).

едва нашел гостиницу, которая приютила бы меня. Наконец где-то чертовски далеко, на Керепешском проспекте, «Белый конь» раскрыл мне свои приветливые объятия, то есть скрипучие ворота. Правда, постель моя была так же беспощадно гладка, как булыжная мостовая на улице Уйвилаг, но все же я спал превосходно: за четыре дня поездки по Алфельду меня растрясло так, будто я совершил кругосветное путешествие. Я всегда утверждал, что Алфельд — самая достойная уважения местность на свете, но, при всем моем пристрастии, я не могу хвалить ее дороги, — от этого я с полной торжественностью воздержусь и на сей раз. Ведь иначе я должен был покривить душой и опровергнуть с таким трудом приобретенный опыт. О, это допустить я никак, никак не могу!

Мало того, что я ехал по Алфельду, дело еще и в том, что мое путешествие предварил десятидневный дождь, да к тому же он два дня хлестал меня в дороге. Теперь ты можешь себе представить, как мне было весело; а впрочем, не представишь, — хоть тресни, а не представишь! Телега моя была защищена навесом, но на колеса налипало столько грязи, что буквально каждые сто шагов мы были вынуждены останавливаться и сковыривать железными вилами прилипшее к ободьям черное масло... пусть бы его кое-кто намазал себе на хлеб и подавился им!.. Не бойся, я имею в виду того, кого не жаль, — плохого поэта. О друг мой, есть ли на свете животное, менее достойное жалости и пощады, нежели бесталанный поэт? Нет! Моим бесталанным критикам пусть господь простит, как и я им прощаю, но плохим поэтам ни бог, ни я не простим. Самый низкий, самый закоренелый злодей может со временем исправиться, но плохой поэт останется пло-

хим навеки, — это неисправимо, неисцелимо; он умрет так же, как прожил жизнь: в пресмыкающемся убожестве, на горе и стыд самому себе, к скуке и величайшей досаде других. И многострадальной нашей родине, которую столько раз опустошали турки, татары и саранча, злая судьба нанесла еще один удар — страшнее турок, татар, саранчи: посадила ей на шею плохих поэтов. Но, может быть, это последняя капля горькой чаши? Будем надеяться на лучшие времена. Мне хотелось бы перечислить этих индивидуумов по очереди, начиная от Антала Шуянского, Беневельди и Петера Банго до самого Ференца Часара, но боюсь даже приступить к сему занятию, — их набралось бы столько, что я рискую устать досмерти!

Хватит с них и этого для первого раза, но если они застанут меня в минуту гнева, я загоню их туда, куда ворон костей не заносил. Но с чего это они мне вспомнились? Ах, да! Я говорил о грязи. Не удивительно!..

Когда человек едет по Алфельду, то, кроме грязи, ему еще досаждают корчмари. Поразительные люди венгерские корчмари, мой друг. От них только за плату и можно добиться слова, а какой-нибудь еды так и за плату не добьешься. Нет! Что бы вы у него ни попросили, на все он отвечает: «Нет!» Или скажет, что не станет ради этого разводить огонь. Так было со мной в двух деревнях Бихара, в Окане и Керешладане. Я вроде ел и не ел: давали мне не то, что я просил, а что хотели, и притом — словно из милости. Но я не сердился, напротив — мне было приятно, очень приятно, ведь даже это показывало, что венгерец за стыд почитает прислуживать, что он не рожден для рабства, чёрт побери!..

Мезетур — славный городок Хевешского комитата, стоит на речке Беретьо. Он знаменит своими конскими ярмарками, на которые съезжаются все мало-мальски приличные алфельдские бетяры — либо для того, чтобы украсть, либо для того, чтобы продать украденного коня. Хороший промысел, им можно заняться, не имея даже капитала. Странная штука — мадьяр любит воровать все, но больше всего любит он воровать коней. Остальные виды воровства считает талантом, а этот — гениальностью... Если же это на самом деле гениальность, то кто посмеет утверждать, что в Венгрии недостача в гениях? Клевета, чистейшая клевета! Во время конских ярмарок здесь происходят знаменательные и замечательные бетярские побоища, — больше того, без них и ярмарка не в ярмарку. Я предупреждаю тех, кому доставляет удовольствие любоваться подобными облагораживающими и веселящими сердце представлениями, что лучшего места, чем эти ярмарки, ему не сыскать. Здесь так бьют друг друга дубинками по голове, что в сравнении с этим удары секирой нашего предка Ботонда по вратам Константинополя были просто ерундой и пародией. И удивительно! Получивший такой удар дубинкой *simpliciter* * умирает, только умирает. А ведь трахнули бы так немца или словака по башке, уж он, наверное, превратился бы в дым, словно алмаз в огне. Золы и то не осталось бы.

В Солноке я купил черешен, в Абоне переночевал, в Пилише (где граф Белезнаи завтракал вместе с солдатом) пообедал, в Юлле поужинал, и, наконец, *per varios casus et tot discrimina rerum* **, я приехал

* Просто (*лат.*).

** Изведав всякие происшествия и злоключения. — Из Энеиды Вергилия (*лат.*).

в Пешт более измученный, чем некогда пелешский нотариус. Но все же не столь измученный, чтоб после двенадцатидневного отдыха не написать тебе письмо. По одному этому ты можешь судить, мой друг, что если я даже и теряю силы, то все-таки быстро их восстанавливаю. Что случилось бы с Кароём Кишфалуди (который, написав одно стихотворение, две недели лежал больной), если бы он приехал из Салонты в Пешт в такую погоду да по такой дороге?.. По стихам его видно, что бедняга рожал их в несусветных муках. И напрасно он так терзался, несчастный. Не слишком-то много материнской любви уделила ему муза. Хорошо, что мне вспомнился Кароёй Кишфалуди! Наконец-то нашелся повод — я давно мечтал о нем высказаться, — ибо и меня и многих других трезвых людей коробит то, что проделывают с Кишфалуди некоторые его друзья. Я понимаю пиетет, но когда он переходит известную грань, то становится смешным, как и всякое другое чувство в подобном случае. Возносить Кароёя Кишфалуди до небес да еще в наши дни из одного только дружеского почитания смешно. А кроме того, это мистификация публики, что уже — преступление. Чрезмерно усердные друзья Кароёя Кишфалуди навязали его нации, в буквальном смысле слова навязали. У него есть свои заслуги, он предоставлял своим *современникам* приятное чтение, и современники ценили, читали его. Может ли он претендовать на что-либо большее? Какое дело до него потомству, которому он не дал ничего? Он был второстепенным писателем, не проложившим путей ни в одной области литературы. Его драмы — невыносимая, нудная, немецкая сентиментальщина, его лирика — пустая напыщенность, лишенная чувств и мыслей, рассказы... здесь, пожалуй, он был сильнее

всего, но теперь у нас и в этом жанре есть произведения куда лучше. Так хотел бы я знать, зачем мне есть крыжовник, когда уже поспел виноград? Таков Карой Кишфалуди, и нас все-таки волей-неволей заставляют поклоняться ему. Очень печально, что те, кому надлежало бы выводить публику на истинный путь, сами вводят ее в заблуждение. Подобная бессовестность еще никогда не царила в нашей литературе. Мне очень хотелось бы сдернуть с некоторых людей незаконно присвоенную ими праздничную мантию авторитета и возложить ее на плечи тех, кто вполне заслужил ее, а ходит теперь в будничном одеянии, никем не замеченный. Повторяю, мне хотелось бы это сделать, но я не родился камердинером, чтобы одевать и раздевать кого-либо. Я занят иным. На днях еду обратно в Сатмар к моей милой. Ах!..

IX ПИСЬМО

Бейе, 6 июля 1847 года.

Село Бейе находится в Гемерском комитате между деревней Римасомбатом и Рожньо. Я сообщаю об этом, мой друг, не тебе, ты и сам знаешь, а тем, кто этого не знает, — таковых же очень много. Я обретаюсь в Бейе, причем в гостях у попа — нашего друга и коллеги, его преподобия Михая Томпы. Живем мы весело, но ты ошибаешься, если думаешь, что бранимся меньше, чем некогда у тебя в Эперьеше. Ссоримся мы ежеминутно. Томпа утверждает, что он самый миролюбивый человек на свете, я утверждаю, что я самый миролюбивый человек на

свете, хотя оба убеждены, что мы величайшие спорщики на свете. Впрочем, ему, как попу, надлежало бы быть более умным и уступчивым, — не так ли? Однако он всегда забывает о своей обязанности; вернее, мысль об этом никогда ему даже в голову не приходит. А впрочем, мы разбираем стихи друг друга с должным снисхождением. Он говорит, что и то плохо, и другое плохо, да и третье мое произведение ничего не стоит; я отвечаю, что неправда, все превосходно... Если же я говорю ему, что и то у него плохо, и другое плохо, а третье его произведение просто ерунда, он отвечает, что неправда, это его лучшее создание. Вообще представители молодой литературы, быть может, даже слишком строги друг к другу, и тем не менее жалкая чернь старается уверить публику, будто мы душим друг друга фимиамом.

1 июля я уезжал из Пешта. Послушай только, какое неслыханное, ужаснейшее несчастье произошло со мной. За четверть часа до отъезда я вспомнил, что запер все свои книги и ничего не оставил себе на дорогу. Забегаю к моему книгопродавцу, прошу, чтобы он поскорее дал мне какую-нибудь книжонку, которую можно сунуть в карман. Он ищет, суетится, наконец, дает одну, я прячу и несусь дальше. Сидя в омнибусе, который везет на вокзал, я поинтересовался, что у меня за книжица. О бескрайные небеса! Что я увидел?.. В моем кармане оказался «Фауст» Гете. «Что теперь делать? — вскричал я про себя. — Что же мне делать? Браниться или упасть в обморок?» Ты знаешь, мой друг, — а если не знаешь, то узнай, — что я Гете не люблю, не приемлю, ненавижу! Отвратителен он мне, как хрен со сметаной. У этого человека ум был точно алмаз, а сердце — кремь. Э, даже не то! Кремь ведь

дает искру. Сердце у Гете было из глины, из скверной глины, вот и все: из мягкой, сырой глины, когда он писал своего глупого Вертера, а после этого — из сухой и жесткой глины. А мне такой субъект не нужен. Для меня каждый ценен своим сердцем. Я скорее мог бы подружиться с человеком, который в порыве страсти причинил мне зло, нежели с холодным человеком, сделавшим мне добро. Пламенное сердце, пламенное сердце — или холодная могила! О господи, если мое живое, горячее сердце когда-нибудь остыло бы! Но этого не может случиться, не может. Моего сердца даже смерть не остудит. Похороните меня на севере и посадите возле моей могилы апельсинное деревцо, — увидите, оно и там будет цвести, потому что сердце мое согреет землю, в которой будет покоиться.

Гете — один из самых великих немцев. Гете огромен, но он огромная *статуя*. Современность поклоняется ему, как идолу, будущее свалит его, как всякого идола. Равнодушно взирал он на людей с высоты своей славы, и так же равнодушно люди будут смотреть на его смешавшиеся с прахом останки. Кто не любил других, того и люди любить не могут, — разве что будут дивиться на него. И горе тому великому человеку, на которого можно дивиться, а любить нельзя. Любовь вечна, как бог; удивление преходяще, как мир.

Ad vocem *, удивительно! (Чтоб вернуться к нашему путешествию, вернее, чтоб только приступить к нему.) На поезде передвигаешься с удивительной скоростью. Мне хотелось бы посадить в поезд всю нашу венгерскую отчизну, тогда, быть может, за несколько лет она наверстала бы то, в чем отстала

* К слову заметить (*лат.*).

за несколько столетий. Жаль, что железная дорога у нас еще такая короткая. Не успеешь сесть в поезд, как уже приходится сойти, так как прибыли в Вац. Я испытываю к Вацу такую же неприязнь, какую ощущает к нему любовь наш друг Альберт Палфи. Бедный Берти! Всегда мечтал о Париже и в конце концов поселился в Ваце. И как же я посмеюсь, когда мне придется адресовать письмо таким образом: «Моему другу Альберту Палфи, ученому адвокату и замечательному писателю, почетному жителю города Ваца, почтенному отцу семейства». Ха-ха-ха! «Автор «Carteaux», «Etoile-sombre», «Trois-Rivières» и «Rivuli-Dominarum» и житель Ваца, ха-ха-ха! Но О-Мер говорит: «Пути житейские мне знакомы, а потому случившееся меня не удивляет».

До Ваца меня провожал Даниель Эмёди. Не знаю, прочтет ли публика хоть раз эти строки, или... вовсе ни разу не прочтет, но имя сие я написал для того, чтобы, читая мои письма, публика всегда видела имя одного из моих друзей, самых верных, бескорыстных и чистых душою. Я ему друг, потому что и он мне друг, но я его друг прежде всего потому, что у него есть характер — и сильный характер, какой редко встретишь в наше тщедушное время. А подобный характер может быть только у того, кого вскормила и вынянчила бедность. Господа, уважайте людей, которые едят хлеб, хотя и могли бы есть сдобные булки.

От Ваца до Римасомбата я ехал на скорых, причем на таких скорых, которые на самом деле заслуживают это столько раз не по праву присваиваемое наименование. Путешествие наше было быстрым и приятным. Не могу пожаловаться и на своих спутников, — все они были мадьярами, не так как на-

медни, во время поездки в Дебрецен, когда в одном безбожном ковчеге собрался целый людской зверинец. В Лошонце я навестил маленькую Вильму, которую, будучи два года назад проездом в этих краях, я назвал своей сестрой. Она и сейчас такая же добрая и красивая, какой была тогда, а муж ее такой же дурак, как и прежде. Мне радостно было это видеть, ибо я убедился, что люди не правы, утверждая, будто женитьба губит человека. Все зависит от женщины, так что мне нечего бояться.

Пропутешествовав шестнадцать часов, мы приехали в Римасомбат. Там на другое утро я нанял телегу и помчался сюда, в Бейю. Как раз в тот момент, когда мы хотели было уже тронуться в путь, ко мне подошел человек... вернее сказать немец, и попросил подвезти его, так как ему со мной по пути. Это был высокий, белокурый, прилично одетый мужчина лет сорока пяти; под мышкой он держал узелок. Я сказал ему, что подвезу с удовольствием, но только при условии, что он за всю дорогу не промолвит ни слова, ибо я не люблю разговаривать в пути, а по-немецки так и вовсе не люблю говорить. Он пообещал и сел в телегу. Некоторое время мы ехали молча, наконец, я сам нарушил тишину и могу себе представить, как обрадовался мой несчастный попутчик, который, как выяснилось позднее, был невероятно многоречив, и, таким образом, молчание было ему, должно быть, больше в тягость, чем пешее путешествие. Как только у него развязался язык, он наговорил, как поется в песне, столько, что:

Если бы село студентом было
И вся Тиса превратилась бы в чернила,
Все равно бы всех речей не записали...

Попутчик мой рассказал, что он настройщик роялей и ходит по всей стране с узелком под мышкой; что ему очень хотелось бы выиграть по лотерее пятьдесят, шестьдесят тысяч форинтов, так как он уже стареет и остаток жизни желал бы провести на покое; что любовница его служит гувернанткой в Нитре и последний раз он виделся с ней весной в Надьсомбате и т. д. и т. п. ... Он все говорил и говорил, пока мы вдруг не заметили, что прибыли в Бейю, подъехали к самому поповскому дому. Я соскочил с телеги, постучался. Мне открыли дверь. Открывший дверь оказался самим священником господином Михаем Томпой. Мы помчались друг другу навстречу, словно две кометы, которые хотят изничтожить друг друга... Обнялись — не боролись, а просто обнялись. И с тех пор я наслаждаюсь тишиной и сельским одиночеством, «если выразить свои чувства громкой фразой», как сказал Альберт Палфи, когда произнес первую и, быть может, последнюю громкую фразу в жизни. Что и говорить, напыщенные фразы — скверная штука, и сохрани господь каждого честного человека от того, чтоб даже слушать их.

На днях мы провели замок Мурани — он в каких-нибудь шести часах ходьбы отсюда. Каждый попавший в Гемер тяжко согрешит против себя самого, если не посетит этот замок. Гемер — один из прекраснейших комитатов Венгрии, а Мурань — его прекраснейшее место. Чудесный романтический край. В дивный летний послеполуденный час посетили мы знаменитые руины, которые стоят на головокружительно высокой, со всех сторон отвесной круче и из всех замков нашей отчизны, вероятно, ближе всего к облакам. Кругом, на еще более высокой цепи гор, темнеют ельники, внизу, в глубокой

долине, под синеющим туманом бродят белые отары овец и стада коров. Звенят колокольчики, поют и чирикают птицы, где-то поодаль стучат молотки... Повсюду шум, шум жизни, и только здесь, наверху, на горе, где некогда бряцали сабли и гремели пушки, только здесь стояла тишина, мертвая тишина... не считая, конечно, того, что вовсю храпел Михай Томпа.

Да, он спал и храпел, клянусь честью, спал и храпел... Без клятвы этому не поверит, конечно, даже самый легковверный человек. Покуда я упивался поэтическими грезами о величии окрестностей и прекрасных событиях давних времен, Михай Томпа спал и храпел. Если он станет просить за это прощения, стоя на коленях у моего смертного ложа, я и то ему не прощу; а ежели мы встретимся с ним на том свете и он попросит прощения, я ему и там не прощу. Нет!

Повторяю, приехавший в Гемер пусть не преминет взглянуть на развалины Мураня, пусть не преминет! Но Михая Томпу пусть с собой не берет, так как Михай Томпа будет спать и храпеть, спать и храпеть... И этот храп вы будете слышать даже под землей в гробу, слышать через бессмертие. Хррр, хррр, хррр!

Х ПИСЬМО

Мишкольц, 8 июля 1847 года.

Это был еще один хороший, прекрасный день моей жизни. Я веселился со своей лучшей подругой — с природой, от которой нет у меня никаких тайн. Как чудесно мы понимаем друг друга, — потому,

верно, и дружим так. Мне понятно журчанье ручья, гул потока, шорох ветра и вой бури... Этому научила меня грамматика мистерий мира — поэзия. А лучше всего понимаю я шуршанье листьев. Сажусь под одиноким деревом и часами слушаю, как шелестят ветви, как они шепчут на ухо волшебные сказания, охватывая душу хмельной грезой; захмелевшая душа бьет в колокола воображения и вызывает в мое сердце — эту маленькую часовню — ангелов с небес.

Перед рассветом я выехал из Бейи сюда, в Мишкольц. Ехал через Торнайю и Путнок. Дорога вьется сквозь ущелье Шайо, среди невысоких зеленых и синих гор и меж холмами, которые ласково приветствуют спутника, потом прощаются с ним один за другим. Нет ничего прекраснее, чем непрерывно ехать такими чудесными краями. Радуюсь каждому новому виду и даже не успеваешь печалиться, покидая его — лишь только он останется позади, как сразу же предстает новый вид: все время приходится любоваться.

Со мной ехал один юный влюбленный друг. Он всю дорогу занимал меня повестью своей любви. Если сам слушатель не влюблен, — слушать такие истории скучнее скучного. А если влюблен, тогда совсем другое дело. К нам больше всего подошли бы слова поговорки: «Два сапога — пара». А потому я проводил время превосходно, и даже больше того — обильные речи о любви действовали на меня, словно гомеопатическое средство. Они помогли перенести жару, которая мучила нас, когда мы в полдень подъезжали к Мишкольцу.

За обедом собралась компания, чтобы совершить прогулку в Диошдер и в кузницу. Больше всего это пришлось по душе мне, так как я часто слышал по-

хвалы окрестностям Диошдера, но до сих пор их не видел. Я ожидал многого — нашел еще больше. О, эта очаровательная долина, едва в получасе ходьбы от Мишкольца. У входа в нее приютилась деревня и в ней замок Марии, дочери короля Лайоша Великого. Теперь это уже, конечно, одни руины. Высятся только четыре башни замка — и то наполовину разрушенные. Если можно судить по жилью о душе его владельца, то королева обладала поэтической душой. Поэтому хвала памяти ее, несмотря на то, что она была королевной. В самой деревне, возле кузницы, долина становится все теснее и, наконец, защемляется скалами — отвесными дикими скалами. Дальше дорога вьется по берегу Синьвы, которая образует множество водопадов, а наверху собирается в озеро. Вода в озере темно-зеленая, — это зеркало окружающих его лесистых гор. Человеку может показаться, что он где-то в Гельвеции, в ее прелестнейших краях. И чтоб всего было вдосталь, природа создала в долине пещеру, причем сталактитовую. Правда, по сравнению с агтелекской она не стоит ничего, но так как в ней ходят не с факелами, а только со свечками, то пещера эта гораздо более чистая и блестящая. А это уже кое-что значит!

Мы провели здесь весь вечер, вернулись домой только поздно ночью. Я совсем изнемог от наслаждения. Хочешь верь, мой друг, хочешь нет, но душевные наслаждения меня утомляют больше телесных усилий. Быть может, потому я так вяло и описал этот восхитительный день. Близится полночь, она несет на руках своего младенца — сон, и тот тянется ручонкой, чтоб вынуть из рук моих перо. Доброй ночи! Завтра я поеду в Шарошпатак, а оттуда... сам не знаю еще куда. Доброй ночи!

XI ПИСЬМО

Шарошпатак, 9 июля 1847 года.

Друг мой, края, которые я проезжаю, один лучше другого; нынче я любовался Хедяйей. Виды там лучше всего у Серенча. К югу до самой Тисы тянется бескрайняя равнина; на востоке, словно полководец перед армией, стоит Токайская гора, бывшая когда-то вулканом. Она стоит суровая, величественная в своем синем плаще, гордо закинув голову. У подножья ее город Тарцал. К северу длинными грядками тянутся другие горы Хедяйи, под ними — Тая и Мад. В этих городах, и на этих горах, живут боги радости, отсюда рассылают они в мир своих апостолов — замкнутые в бутылки золотые языки пламени, — дабы те проповедовали народу, что земля вовсе не юдоль печали, как это утверждает религия. Восторженно смотрел я направо, налево, вперед, назад и пришел в такое воодушевление, будто выпил самого красноречивого апостола. Да и погода стояла превосходная — сияющее, безоблачное, ясное летнее утро... Эх, бывал я здесь уже и в дурную погоду. В феврале 1844 года я шел из Дебрецена в Пешт пешком, в потертой одежде, с несколькими грошами в кармане и с тетрадью стихов. В ней и была вся моя надежда. Я думал: продам свои стихи — хорошо, а не продам — тоже хорошо; тогда либо с голоду помру, либо замерзну, — по крайней мере придет конец всем страданиям. Один-одинешенек шагал я здесь у Хедяйи; ни одна живая душа мне не повстречалась. Все люди искали крова — погода стояла страшная. Снегом попеременно с дож-

дем осыпала меня завывающая буря. Она мчалась мне прямо навстречу. Слезы, выжатые холодом метели и нуждой, замерзали у меня на лице.

После мучительного путешествия я через неделю добрался в Пешт. Не знал, к кому обратиться. Никто на меня не обращал внимания, никому дела не было до бедного, оборванного бродячего актера. Я дошел уже до последней грани, и тут меня обуяла отчаянная храбрость: я отправился к одному из величайших людей Венгрии с таким чувством, с каким игрок ставит на карту свои последние деньги: жизнь или смерть. Этот великий муж прочел мои стихи, и «Круг» издал их по его восторженной рекомендации. У меня появились деньги и имя. Этим мужем, которому я обязан жизнью и которого может благодарить родина, если я принес либо принесу ей пользу, был Вёрёшмарти.

Все это я вспоминал, перебирая в памяти свои жизненные невзгоды, пока проезжал через Хедяйю. О, моя жизнь была очень богата невзгодами, и свое теперешнее счастье я заслужил. Шесть лет я был скитальцем, покинутым богом и людьми; шесть лет ходили за мной две мрачные тени: нужда и душевная боль. И когда? В дни юности, в лучшую пору жизни, созданную только для радостей, — с шестнадцати до двадцати двух лет. Но хорошо, что это так случилось: кто беды не знал, не может оценить своего счастья. И хорошо, что я сразу изведаль все страдания, — ведь другие мыкают горе понемногу всю жизнь. Чем больше бурь пронеслось весной, тем больше у меня надежд на ясное лето и осень.

После полудня я приехал в Патак. Священная земля! Этот город был львиным логовом венгерских революций. Здесь жили некогда львы вольности.

Поначалу я осмотрел замок, принадлежавший некогда Ракоци, а теперь... какому-то Пренцхейму. Из замка я прошел в коллегию... к веселым студентам и наполненным стаканам. Сам я тоже взял стакан. В этом была нужда. Мне хотелось забыть, что я венгерец. Здесь познакомился я с профессором Палковичем — ты знаешь его, и тебе известно, какой он порядочный человек. Видишь, друг мой, даже среди профессоров встречаются порядочные люди! Послезавтра начинаются экзамены в коллегии. Меня просят остаться, но я не останусь. Тороплюсь очень в Сатмар, а кроме того, не люблю смотреть, как мучают животных.

ХII ПИСЬМО

Унгвар, 11 июля 1847 года.

Вчера утром я проехал из Шарошпатака в Уйхей к моему другу Габору Казинци; день провел у него и с ним, а как это было чудесно, может представить себе только тот, кто знаком с Казинци. Он настоящее чудо ораторского искусства, новая статуя Мемнона, из которой вечная заря беспрерывно привлекает волшебнейшие голоса. Ораторство экспромтом достигло у него *non plus ultra* *. Таких, канон, вероятно, еще можно встретить, но лучшего уж не найдешь. Нужен только благоприятный случай, чтоб он стал венгерским Мирабо. А когда он пишет, стиль его так же безобразен, как стиль Лайоша Кути. Странно, что люди с таким даром слова, с таким богатством мыслей облачают свои сочинения

* Крайней степени (*лат.*).

в те же убогие одеяния, что и попрошайки мыслей, — в высокопарную, вычурную напыщенность. Это выглядит точно так, как если бы молодая красивая девушка напялила на себя шляпу своей кокетливой бабушки, шляпу, украшенную кружевами, бантиками, букетиками и еще бог знает чем. Я никак не могу взять в толк, почему некоторые даже незаурядные люди не знают, что простота — первое и самое важное правило, что люди, лишённые простоты, лишены всего. И пусть они не утверждают, будто их мысли столь высоки, что не могут быть выражены простыми словами. С той же простотой, с которой умел передавать Шекспир свои глубочайшие мысли, чудеснейшие поэтические образы и высочайшие чувства, можно, вероятно, передать и чувства Лайоша Кути и кого угодно.

На севере в получасе ходьбы от Уйхейя расположен Сепхалом *, бывшее обиталище Ференца Казинци. Оно достойно своего названия — окрестности его на самом деле живописны. Кроме того, это место священо благодаря старику, чей дом и могильный холм стоят там. Каждый мадьяр, обладающий возвышенной душой, обязан хоть раз совершить туда паломничество, как магометанин в Мекку. И все-таки лучше, если вы не пойдёте туда, ибо нужно иметь очень сильную душу, чтоб не поклясться у этого могильного холма — больше никогда ничего не делать для родины... Я был там, я увидел самую душераздирающую картину разрушения и запустения, и я встал на колени перед могилой и поднял было уже свою руку для принесения клятвы... но в это время, на счастье или несчастье, мой добрый или злой ангел взял меня за руку и увел прежде, чем я успел дать клятву.

* Сепхалом — буквальный смысл: «Красивый холм».

Из Сепхалома я завернул в Бодрогкез. Шоссейной дороги здесь нет и в помине, так что мы плутали из одной деревни в другую. А впрочем, я не скучал, — Бодрогкезские края очень красивы и богаты. На западе за Бодрогом, возле Уйхейя, виднеются несравненной красоты горы Шатор, а по эту сторону Бодрога лесистая низменность. То здесь, то там небольшие рощи, меж ними пашни с высокой желтой пшеницей... яркозеленые луга, озерки, по краям которых растет осока, а на поверхности плавают белые кувшинки, и над ними помахивают большими белыми крыльями стонущие чайки. Крохотные, приветливые деревушки! Меж домами стройные тополя, а перед домами веселые крепкие парни и опрятные красивые девушки. Мой взор насытился всем увиденным, зато в желудке было пусто, и я очень проголодался к тому времени, как прибыл в Кирайхелмец в два часа пополудни. Вооруженный аппетитом, я помчался в корчму... и там мог бы с голоду помереть, если б случайно в сумке моего возницы не нашлось хлеба и сала. У корчмаря не было ни крошки. «И век ему ничего не иметь!» — закричал я, разозленный, но, наевшись досыта по милости своего возницы, я все-таки пожелал, чтоб господь дал корчмарю хлеба, сала либо репчатого лука, — ведь он, бедняжка, еврей.

Примерно в часе ходьбы от Кирайхелмеца находится Лелес. Чудное место для откорма свиней. В нем огромный мужской монастырь. Выше Лелеса, между Бодрогкезом и Унгским комитатом, протекает Латорца. Русло ее извилисто, вода светлозеленая, и возле переезда лесистые берега. Когда нас перевозили на пароме, стояла тишина, приятное лесное безмолвие нарушалось только птичьим свистом и однозвучным плеском весел по воде.

Поздно вечером я прибыл в Унгвар. Здесь начинается равнина, которая тянется до самого Дуная. По ней привольно плутают: Латорца, Тиса, Самош, Красна, Кадарч, Хортобадь, Беретьо, Кереш, Марош и другие реки. На этой равнине стоят и города: Сатмар, Надькалло, Надькарой, Дебрецен, Карцаг, Кечкемет, Халаш, Сегед, Сарваш, Дюла, Мако, Темешвар, Кикинда, Бечкерек и др. Эх, хоть на время стать бы мне птицей, чтоб перелететь эту необозримую равнину.

А вообще Унгвар отвратительный город — грязный, неопрятный, словно пьяница, который упал в лужу и, весь вымазанный, бредет, шатаясь, домой.

ХІІІ ПИСЬМО

Берегсас, 12 июля 1847 года.

Моя милая, дорогая Юлишка, обожаемая, прекрас... Видишь, друг Фридеш, собрался написать тебе, а обращаюсь к ней. Не обижайся за рассеянность. Я не виноват, ей-богу не виноват. Мои мысли вечно заняты, и только ею. Признаюсь, что я и не стремлюсь изгнать ее из своих дум. Да и тщетно бы стремился. Я чувствую себя, как человек, взглянувший на солнце. Куда бы он потом ни посмотрел, пусть даже закроет глаза — он повсюду видит солнце. Ах, особенно сейчас, когда я приближаюсь к ней, этот драгоценный, священный образ денно и ночью в сердце моем, и стоит мне только подумать: «Мы скоро увидимся», — как сердце мое начинает колотиться так, что мне самому становится почти страшно. Прости меня, друг мой, что я снова заговорил о

ней. Но я испытываю от этого такое же удовольствие, как бедный студент-словак, нашедший ассигнацию в сто пенге-форинтов. И ведь я уже так давно не упоминал о ней.

То ли сегодня в дороге я не присматривался к окрестностям, то ли на самом деле, за исключением Мункача, не было ничего достойного упоминания. Ранним утром... вернее, поздним утром, выехал я из Унгвара и пополудни добрался в Мункач. Покуда мой возница кормил лошадей, я наскоро пообедал и поспешил навестить замок, превращенный в государственную тюрьму. Он стоит посреди равнины, на высоком холме, в добрых пятнадцати минутах ходьбы от города. На склоне холма растет виноград... Не хотелось бы мне пить вино из этого винограда... Мне все казалось бы, что я пью слезы узников. Я поднялся в замок, обошел все дворы и несколько зал. Темницы мне не показали, быть может потому, что я был один и меня никто не знал, а может быть, в подземелья никого не пускают? Не знаю! На стене одного из зал висят портреты Ференца Ракоци и Илоны Зрини. В другом месте я, наверное, смотрел бы на эти славные образы часами, а здесь только взглянул на них мельком и поспешил выйти наружу. Бог его знает почему, но в этих стенах у меня так сжалось сердце, что я едва дышал. Чувства свои я описал в стихотворении. Это были мучительные ощущения. Все время, покамест я был там, какой-то дух шептал мне на ухо о печальных делах. Слова его мне были непонятны, так тихо-тихо говорил он, — я слышал только шепот его, и этот звук был так скорбен. Не знаю даже, кем был этот шепчущий дух? Воспоминанием или предчувствием? В 1800—1801 годах одним из здешних узников был Ференц Казинци. Бедный Казинци! Бедная родина!

На изрядном расстоянии от Мункача стоит Берегас. Это обычный степной город. В нем есть и готическая церковь, и ратуша, и корчмарь-венгр, что уже большое утешение (не церковь, а венгр-корчмарь), ежели человек три дня подряд останавливался в трактирах, принадлежавших евреям. Говоря без хвастовства, я один из самых великих чело- веколюбцев и люблю, уважаю евреев, но из тракти- ров я выгнал бы их к чёрту. Что неприятно, то не- приятно — и тут уж ничего не поделаешь.

XIV ПИСЬМО

Сатмар, 11 июля 1847 года.

Наконец-то я здесь, на земле обетованной, в Сатмаре! Вот уже пятый день, как я прибыл сюда. Тринадцатого числа сего месяца я выехал из Берегаса на таких скверных клячах, какие еще не попадались мне за всю эту поездку. Когда я увидел этих несчастных кляч, у меня от ужаса волосы встали дыбом, но быть особенно разборчивым не приходилось, — из-за страдной поры нельзя было найти других лошадей. Полный отчаяния, сел я на телегу, и хотя мы будем венчаться только в сентябре, мне казалось, что на этих живых скелетах я даже к тому времени не доберусь сюда. Но, друг мой, отча- янье столь же обманчиво, как и надежда. Скверные клячи домчали меня до Сатмара с такой быстротой, какая сделала бы честь даже аристократическим кон- ням, кормленным овсом и сеном. Говорил же я вам, не судите по внешности, не то случится, что оши- бетесь.

Возле Бадалло, между Берегсасским и Сатмарским комитатами, я переправился через Тису, красавицу Тису. Люблю я эту реку! И люблю, быть может, потому, что она венгерская с головы до ног: рождается на нашей родине и на ней же умирает, а кочует она по Алфельду, по моему милому Алфельду.

Почти против Бадалло, по эту сторону Тисы (в сущности в излучине ее), лежит Чеке, и на Чекейском кладбище Ференц Кёльчеи. Прошлой осенью я жил здесь несколько недель и навещал священную могилу, в которой истлевают одно из самых благородных сердец. На могильном холме ни гранитного памятника, ни даже деревянного креста, на котором стояло бы его имя. Но в этом нет и нужды — путник, приближающийся к могиле, по стуку своего сердца узнает, кто в ней похоронен. Тихо в этих краях, шум мирской, шум городов не доходит сюда. Только ветры сотрясают кусты шиповников вокруг могилы великого человека и дикие пчелы гудят в цветах, а вдали мечтательная Тиса тихо напевает свою песню, чтобы не нарушить гробового сна.

От Чеке до Сатмара дорога ведет через скучные деревни. Я не запомнил даже их названий, хотя и бывал здесь много раз. Помню только два: Зайта и Пелешке. Проезжая через эти деревни, я каждый раз вспоминал пелешского нотариуса Иштвана Надь Зайтаи и его автора, старого доброго Гвадани. Ей-богу, я дорого дал бы, чтоб быть автором «Пелешского нотариуса». Я буду премного доволен, если мои произведения доставят людям столько же славных часов, сколько мне доставил Гвадани. А публика уже не читает его, забыла... так же, как забудет и меня. Эта мысль некогда могла бы довести меня до безумия, а теперь я записываю ее совсем спокойно, будто это «Отче наш» или таблица умно-

жения. У меня есть милая, которая любит меня, у меня есть моя Юлишка — и один ее, даже мимоходом брошенный, взгляд, стоит больше вечно сияющего солнца славы. Ты, слава, напрасно улыбаешься своими лукавыми устами. Я больше не буду твоим поденщиком! Ты прекрасна и соблазнительна только издали. Меня ты обняла, поцеловала, теперь можешь уйти. Сверкают твои глаза, но как холодны твои поцелуи! Ступай с богом, сирена, и привлекай к себе на грудь других неискушенных глупцов. Только лиру мою не уноси с собой, о, я не отдам ее, — она срослась с моей душой. А унесешь ее, вырвешь вместе с ней и мою душу. Я буду петь до гроба, но не для тебя, как до сих пор, а в свое удовольствие, только в свое удовольствие, словно соловей в ветвях и буря между небом и землей. Я выпущу из своей души бабочек и орлов и не стану думать о том, будут ли у меня слушатели, или нет.

Еще не доезжая Пелешке, в часе езды от Сатмар-немета, видны его башни. Сатмар славный городок, — стоит он на берегу Самоша. В нем просторная рыночная площадь, епископский собор с двумя башнями, большой постоялый двор, казино, строящийся театр, два кондитера и два поэта... Эндрэ Пап и Игнац Ришко. Жаль, что их лиры лежат без применения и уже начинают ржаветь. Ну да ничего, я их так начищу, что они не обрадуются. Буду колотить обоих поэтов палками до тех пор, пока снова не начнут бряцать на своих лирах. Поступлю с ними, как поступал некогда пастух из сказки со своим сыном, который не желал плясать на свадьбе. Старик дубасил сына до тех пор, покуда тот, плача, не вскочил в круг и не заплясал, как безумный. Может быть, отсюда и поговорка: «Венгерец, плача, веселится».

Так как речь зашла о плаче, то и вправду послушай, милый друг, о плачевном деле. Оно заставит прослезиться и тебя, хотя ты вовсе не склонен к сентиментальности. Наберись духу, ибо ты услышишь такое, что не мог бы услышать, имея всеслышащие уши. Представь себе: моя невеста живет в часе ходьбы от меня, а мне нельзя навещать ее до самой свадьбы, до восьмого сентября. Только не подумай — это запретила не она. Слышал ли ты что-либо подобное? Скажи откровенно, скажи от души, мой друг. Напиши я что-нибудь подобное в романе, критики закидали бы меня камнями, и вовсе не за то, что я посмел это написать, а за то даже, что посмел выдумать подобный вздор. Говорят, что время чудес прошло... Неверно!.. Время чудес начинается только теперь. И это первое чудо, а вторым будет то, что я не нарушу сей запрет.

Я прозябаю здесь сейчас, слоняюсь, словно осенняя муха, которая уже не жива, но еще и не померла. Правда, я написал несколько прекрасных стихотворений, однако это меня ни в коей мере не утешает. Не прими за шутку, что я называю свои собственные стихи прекрасными, — я серьезно готов утверждать, что их можно отнести к великолепнейшим жемчужинам венгерской поэзии. Но поскольку сие сравнение уже окончательно стало пустой фразой, то я только унизил бы свои стихи, применив к ним подобные слова. Сейчас у редакторов пошла мода называть жемчужинами любые поганки, родившиеся в дурьих башках. Не знаю, по злобе или по глупости они это делают. Господи Иисусе, если уже и Хиадоры создают драгоценнейшие жемчужины, то я назову свои стихи камешками, черешневыми косточками или чем угодно, только не жемчужинами. И этого Хиадора сравни-

вают со мной!.. Ей-богу, я даже рассердился бы, ежели мне не было бы стыдно. Признаюсь, что некоторым вертопрахам от литературы я причинил немало вреда, но ведь не столько же, чтобы они выставляли меня на посмешище, пригвождали к позорному столбу.

Знаю, многим не нравится, многие дурно относятся к тому, что я так искренне высказываюсь о самом себе; но мне это безразлично, я тут неповинен. Когда я родился, судьба постлала мне искренность простынькой в колыбель, и я унесу ее саваном в могилу. Лицемерие — нетрудное ремесло, любой негодяй в нем горазд; но говорить открыто, искренне, от всей души могут и смеют только благородные натуры. Может быть, мое суждение о себе неверно, тогда пусть осмеют меня; но я все-таки заслуживаю уважения за то, что смело, открыто высказал свои чувства. *A la lanterne les jésuites!**

Бог с тобой, милый Фридеш! Следующее письмо я напишу тебе, уже будучи при всех регалиях, в качестве кавалера ордена «Под башмаком у жены». Что ж, раз так должно случиться, так бог с ним. Другого креста или звезды я все равно не приму, а эти в худшем случае будут давить плечи, но уж никак не совесть.

* На фонарь иезуитов (*франц.*).

ХVII ПИСЬМО *

Колто, 15 сентября 1847 года.

Итак, amice **, я женился... Надеюсь, ты не обижаешься, что я тебя называю amice, — думаю, что делаю это с полным правом, как почетный судья и женатый человек и следовательно как filister grimaе classis ***. Да, так вот, amice, я женился... Но погляди, эти дрянные флегматичные чернила и не думают даже порозоветь от этого слова, хотя оно розовее розы. Нынче как раз неделя, как я сбросил лавровый венок с моих светозарных ушей, я хотел сказать — кудрей, и вместо него нацепил домашнюю ермолку; вместо лиры держу теперь в руке обыкновенный длинный чубук и пускаю такой густой дым, что все девять муз заболели чахоткой и даже Пегас мой стал кашлять. Милый братец Фридеш, ты, как холостой юнец, ничего не понимаешь, но поверь мне, что под боком у жены дым из трубки слаще фимиама всего восхищенного мира, — конечно, если жена такая, как моя смуглянка. Ах, только из-за одного жаль, что она моя жена: теперь мне нельзя — по крайней мере не полагается — ее хвалить, а хотелось бы хвалить так же, как самого себя.

Мы венчались по-средневековому романтично: рано утром, в часовне эрдедского замка. И я и моя

* Письма XV и XVI при жизни Петёфи не были опубликованы и не сохранились.

** Друг (*лат.*).

*** Первоклассный филистер (*лат.*).

невеста хотели придать своим лицам подобающее серьезное и торжественное выражение, но это никак не удавалось, мы непрестанно улыбались друг другу; и если я улыбался так же пленительно, как моя невеста, то, клянусь тебе, я мог бы стать самой совершенной моделью для художника, рисующего ангелов. Когда все свадебные фокусы окончились, мы сразу же сели в коляску и понеслись сюда, в Колто. Это маленькая деревушка около Кевара, в долине Лапоша, час езды к югу от Надьбани. Край этот столь красив, будто природа создала его согласно моему воображению. Как я сюда попал, спрашиваешь ты? Я тебе отвечу. Эта деревня — имение одного моего друга... Будь я Лазарем Хорватом, я придрался бы к случаю и назвал его имя, так как он могущественный господин; но я этого не делаю, ибо, слава отцу небесному, я не Лази Хорват! Мой друг уступил нам свое жилье, чтобы мы провели там медовый месяц, мы и проводим его... Надеюсь, ты не станешь спрашивать, счастливо или нет!

Во время нашего путешествия стояла дурная погода, но до погоды ли человеку в первый день его женитьбы? Случилось с нами по дороге и небольшое приключение... За Надьбаней, в деревне Мистот, у экипажа сломалось колесо. Жена только улыбалась, но я разгневался, и, чтоб жена не слышала, отошел в сторонку и выругался соответственно своему настроению и чину. Никаких других злоключений не последовало, кроме того, что из-за этой задержки мы попали в Колто лишь на следующий день. Ночь мы провели в надьбаньской гостинице... Первую брачную ночь — в гостинице! Да, не напрасно я поэт кабаков.

А теперь, милый друг, удовольствуйся сим малым. При самом сильном желании больше ничего я

написать не могу, потому что моя жена то и дело бросается ко мне на шею или я к ней... что одно и то же. Словом, я не могу писать. Мы одни, обнимаемся... но не позволяем себе того, что делают другие молодожены: не целуемся при посторонних. Как дурно, как гадко выносить свое счастье на ярмарку!

Обычно считают, что в браке любовь умирает. Неправда! Я и сейчас так же пламенно люблю свою жену, как некогда в холостую пору, хотя через неделю исполнится уже две недели с тех пор, как мы обвенчались.

XVIII ПИСЬМО

Колто, 14 октября 1847 года.

Жена моя за другим столом пишет свой дневник; я уже вырубил нынче одно стихотворение; на дворе ветер вздыхает, точно мехи в кузнице; час обеда близится, но еще не настал. Из всего этого вытекает, что теперь самое подходящее время писать письма, и я воспользуюсь этим. Итак, милый друг, радуйся или зевай, однако советую — не ради меня, а ради твоей собственной пользы, — если уж начнешь зевать, то зевай поосторожнее, не то вывихнешь челюсть, а это штука пренеприятная. Я знаю по опыту с того времени, когда читал произведения так называемых венгерских классиков, от них же избави господь все добрые души.

Верь или не верь, друг мой, время идет быстро, быстро. Цветы уже завяли, наступают холода, каждый день, даже по несколько раз на дню, мы жарко топим печи. Ах, время идет, и я уже давно женат!

Пять недель! Там, глядишь, не нынче-завтра и люлька войдет в сей дом, а следом и гроб. Ничего другого мы не делаем, только рождаемся да умираем. Счастливыцы плотники — выгодное у них ремесло!

Вот пройдет медовый месяц, и мы вступим в ту огромную пустыню, которую называют прозой жизни. Глупый это разговор, хоть и сам я его завел. Свято верю, что мой медовый месяц протянется до самой могилы. Будто поэзия жизни зависит от времени, а не от самих людей! У прозаичного человека и медовый месяц прозаичен, и наоборот. Как у кого! Некоторые в самой весне — более того, даже в моих стихах — не находят поэзии, а другие находят ее в высохшей древесной коре и, даже более того, в критиках. Словом, все это я веду к тому, о чем говорил давеча, что мой медовый месяц продлится до самой могилы... Ну, может быть, исчезнет хмель, но поэзия и счастье сохранятся. О, это были хмельные дни! Как раз потому я и не знаю даже, как они прошли. Становится почти досадно, что мне приходит на память только то, что не имеет отношения к нашему медовому месяцу, как, например, прогулки верхом на лошади, чтение, писание и т. д. Да и писал же я, мой друг, и сколько стихов написал! Признаюсь, такой глупости я не ожидал от себя — писать стихи в первые дни женитьбы! Но, бог его знает, стихотворство становится такой же неотвязной привычкой, как конокрадство, почесывание в затылке и пьянство. Я частенько укорял себя: «Ну, что ты строчишь, осел, лучше бы ты в это время жену обнимал?» И я решал, что сорву только ту мысль, которая висит на кончике пера, но, пока я записывал ее, мне приходило в голову еще что-нибудь, и я так и оставался сидеть

за столом, покуда стихотворение не было окончено, а время мчалось на четверке лошадей и уносило с собой невозвратные часы! А я, вместо того чтобы наслаждаться, писал, писал... то ли для славы, то ли для забвения — все равно! Достаточно того, что я писал для других, а не для себя. Дурная привычка стихотворство, очень дурная привычка! Да что поделаешь, у кого свербит, тот и чешется.

Теперь только я заметил, что все письмо посвящено моей милости! Ты, брат мой в Аполлоне, не рассердишься на меня за это, но что скажет публика?... Эх, пусть честная публика проявит достаточно ума и поймет, что если человек — *liricus* *, он на то и *liricus*, чтобы говорить о себе.

Кроме писания стихов, как я уже говорил, я ездил верхом и читал. К верховой езде у меня такая же страсть, как у тебя к послеобеденному сну, только жаль, что мне редко случается предаваться ей... Правда, на Пегасе я частенько разъезжаю, но это слабое утешение! У этого коня есть прекрасное, но вместе с тем и дурное свойство, — он носит человека только по небесам, а я землю люблю больше неба. Читал романы Жорж Санд, Боза и Дюма. Жорж Санд — чудо современности, и я удивляюсь ей, быть может, даже преклоняюсь перед ней, но не люблю. Она свежует общество, как мясник — говяжьей тушью, для того чтоб показать отвратительные внутренности, и кричит: «Так дальше оставаться не может!..» О, это смелость, доблесть, это великий труд, но он подобает не женщине, а мужчине. При чтении ее романов меня всегда смущает мысль, что их писала женщина; и я почти с досадой откладываю книгу в сторону. Если женщина трудится — это

* Лирик (*лат.*).

хорошо, но пусть она готовит обед на кухне, полет в огороде; даже мило, если она при этом запачкает пальцы; а конюшню — пусть она оставит мужчинам.

Боз — выше всяких суждений. Это единственный человек, которому я завидую; не потому, что считаю его величайшим писателем мира и думаю, что непосредственно за ним следую я, а потому, что его призвание прекраснее всех. Из великого множества писателей он больше всего рождает веселья, смеха. А самое лучшее призвание в мире — вызывать в людях доброе расположение духа. О, если сейчас существует семь небес, то бог непременно сотворит и восьмое, и на это восьмое небо поместит Боза, как величайшего благодетеля, дарующего веселье миру.

После Боза мой любимый романист Александр Дюма. По уму с ним никто не сравнится. Есть множество писателей значительно крупнее его, но достойнее любви и милей нет никого. Самое важное ведь — не удивлять, а заставить полюбить, — по крайней мере таково мое желание и стремление. Впрочем, то, что Дюма не стал великим писателем, зависело только от него самого. Природа создала его гением, но он разбрасывал, расточал свои духовные сокровища, и, вместо того чтобы носить блестящее, сверкающее одеяние, — а он мог бы, — он носил простое, иногда даже залатанное. Но ему-то не все ли равно! Его цель — обогащать других, а не самому обогащаться. Никто лучше его не знает человеческое сердце, никто не рисует жизнь такой красивой, как он. Когда-то я был таким страшным человеко- и мироненавистником, что земля казалась мне огромной навозной кучей, по которой, как мириады отвратительных чер-

вей, ползают люди. Тем, что я вылечился от этого недуга, если не целиком, то в большой степени я обязан Дюма; он помог мне снять с носа зеленовато-желтые очки, окрашенные желчью; после чтения его книг мне стало казаться, что мир, может быть, все-таки хорош. Ах, Дюма рисует жизнь такой красивой и даже боль такой прекрасной, что человеку почти хочется стать несчастным, лишь бы ощутить сладость этой боли. Когда он рисует бедность, я готов выбросить из кармана даже те немногие гроши, которые там лежат. Когда он рисует плаху, я мечтаю погибнуть на плахе! Словом, Александр Дюма — человек, достойный любви... не напрасно он мой тезка.

Через несколько дней мы едем в Пешт, покидаем Колто, навеки милое Колто, где мы провели такие сладостные недели, какие только может представить и пережить смертный. Но я думаю, и, кажется, не без оснований, что пора мне бросить это дурацкое перо, с которым не знаю, что сейчас случилось; никак оно не желает устать, хотя и пишет письмо, а ведь писать письма ему обычно надоедает мгновенно. А впрочем, знаю, знаю! Женемся и становимся филистерами. Писание длинных писем верный признак филистерства. Adieu, génie! *

* Прощай, гений! (*франц.*).

ХІХ ПИСЬМО

Коложвар, 21 октября 1847 года.

Вот уже несколько часов, как я в Коложваре, а все еще ломаю голову над тем — здесь я или нет? Столько раз я сюда направлялся и каждый раз поворачивал обратно, так что в конце концов уж навеки оставил надежду попасть когда-либо в этот город. Одно несомненно, что из Колто я уехал, вернее — мы уехали. Да, слава богу, уехали! Но ты не пойми меня ложно — не потому, слава богу, что уехали из *Колто*, а потому, что уехали — *ли*. Короче говоря, слава богу, что я путешествую не один, а вдвоем, то есть с моей милой маленькой женой. Ах, хорошо, когда человек умеет коротко и ясно изъясняться!

От Коложвара до Колто два дня езды, если, конечно, наш возница румын; иначе — меньше. Мы едем вдоль берега Самоша, проезжаем Деж и армянский Иерусалим — Самошуйвар. Хорошенькие городки. Окрестности их большей частью скучны и однообразны, но есть один изумительный вид, ради которого стоит совершить всю поездку. Это на границе Нирештете, Кевара и Бельше-Солноковского комитата. Мы несколько часов подряд поднимались в гору, когда же, наконец, добрались до вершины, перед нами развернулась картина, равной которой найти очень трудно... Бескрайный, свободный горизонт открывался на восток, на юг и на запад; взор уходил за вершины гор, которые, словно великаны, стоят, выстроившись в три ряда: первый ряд одет в зеленую, второй — в темносинюю и третий — последний — в светлоголубую одежду. Нам были

видны эти великаны и глубокая долина Нирештете, в которой, словно застывшая молния, извивается блестящими излучинами Самош!

По дороге в Пешт, уже в нескольких милях от города, почти на глазах меняются и люди, и предметы, и, я бы сказал, даже воздух. Совсем иначе в окрестностях Коложвара: здесь ничто не говорит о том, что подъезжаешь к столице страны. Только в какие-нибудь полчаса от города начинается некоторое движение: изредка проносится коляска, бродяги и румыны плетутся на ярмарку — из ста девяносто девять мертвецки пьяные. Когда я въехал на окраину Коложвара, мне показалось вдруг, что я попал в Дебрецен. Крохотные крестьянские домики, на улицах бездонные моря грязи; но лишь только мы вкатили через венгерские ворота в город, как все изменилось, и я глубоко вздохнул, обрадовавшись тому, что, слава богу, ошибся!.. Я в маленьком, но оживленном и веселом, пестром Коложваре. Сейчас с наслаждением любуюсь его улицами из окна гостиницы Биашини, а жена моя... Прости, мой друг, но больше писать не буду... Жена поднялась со своего места и подошла ко мне. Несомненно, у нее ко мне важные дела, так что я больше не могу писать. Господь с тобой!

XX ПИСЬМО

Пешт, 11 ноября 1847 года

Слава доброму небесному отцу — я уже дома. В гостях хорошо, а дома лучше. Два дня провел я в Коложваре, но эти два дня равны двум годам, на-

столько они были прекрасны. Мой путь в Пешт пролегал через Банфихуняд, Кирайхаго, Надьварад, Салонту, Мезетур и Солнок. Я мог бы написать о нем много, но мне совсем некогда. Пока все не приведешь в порядок, у молодожена очень много дел. Таким образом, милый друг, я произнесу с должным чувством: «Господь с тобой!» Постарайся приехать в Пешт, теперь ты всегда застанешь меня здесь и дома не так, как прежде. Перелетная птица превратилась в домашнюю... Это, правда, не столь романтическая, но более счастливая жизнь. Не веришь? Испытай сам!.. Но *nota bene*, смотри, чтобы жена у тебя была такой же, как моя!

РАССКАЗЫ

ДЕД

Стоял суровый зимний вечер. Обнаженные звезды, бедняжки, мерзли и дрожали — почти слышно было, как стучат их зубки. Да и глаза их говорили, что им дорого обходится сияние, что лучше было бы стать сейчас батраком или пастухом и греться под теплой шубой, а не сиять здесь, в холодной вышине, обнаженной звездой.

Вечерню уже отзвонили, и во всей деревне на улице не было ни единой души, кроме старого звонаря, поспешавшего домой с колокольни. Под ногами его скрипел застывший снег, но собаки не лаяли; то ли потому, что узнавали его по походке, то ли потому, что остерегались разевать пасть в такой мороз.

Как счастлив тот, кто в жестокую стужу сидит в теплой комнате, а тем паче, если он греется не один, а вместе с семьей.

В деревне немало было таких счастливых, но кто ж мог сравниться с вашей милостью, господин Петер Пергё. Ваша милость не раз признавалась, что ни с кем на свете не поменяла бы своей судьбы. Да вы и не заслуживали бы божьей благодати, если б не были довольны; ведь сидите вы, сам девятый, в хорошей теплой комнате за накрытым столом.

Стол был накрыт к ужину, и все уселись вокруг него. Во главе стола занял свое место старик Петер Пергё, рядом с ним — его милая супруга, слева от них сын Михай со своим чадом — восьмилетним Пети. По правую руку от стариков было три места: на первом сидела девятилетняя Катица, на третьем — шестилетняя Эржике, две дочери Михая, а между ними — жена Михая, мать троих детей. На конце

стола было накрыто для работников: служанки и батрака. Служанку звали Панни, батрака — Ферко.

Когда хозяйка подала суп, все встали и прочитали молитву — дети вслух, взрослые про себя. Потом снова уселись и занялись супом. В это время звякнула в калитке щеколда, залаяла собака и во дворе раздался детский крик:

— Скорей выходите, а то меня собака укусит.

— Кто же это? — спросила жена Михая.

— Что же вы, маменька, по голосу не признали? Ведь это ж Пишта, сын моего крестного Андраша, — сказала Катица.

— Правда, — ответила мать. — Беги, Панни, впусти его.

Панни вскочила, вслед за ней бросился и Ферко.

— Эй, Ферко! — крикнул Михай.

— Что прикажете, хозяин? — спросил батрак.

— Ты сиди, сиди, сынок, — проговорил Михай, добродушно улыбаясь, — ты сиди, сиди. Зачем вам обоим бегать? Эх и дурачина же ты, Ферко. Уж обрадовался случаю обнять в сенях бедняжку Панни. Да ведь все равно не любит она тебя, хоть бегай, хоть не бегай за ней.

«Не любит, знаю», — подумал Ферко. Он сел на место, красный от смущения, что хозяин угадал, почему он хотел выйти.

В это время Панни ввела мальчугана.

— Что хорошего скажешь, сынок? — спросили все хором.

А тот выпалил одним духом:

— Папенька с маменькой кланяются крестному и крестной и крестному дедушке с бабушкой и велют передать, чтоб сейчас же приходили к нам ужинать, потому что мы закололи свинью.

— Свиныю закололи, сынок? — спросила жена Михая.

— Свиныю, крестная, и весу в ней восемьдесят центнеров с фунтом.

— Может быть, центнер и восемь фунтов?

— А это все одно! — ответил мальчик. — Хвост я уж съел, и маменька так хлопнула меня по руке, что, вишь, она еще до сих пор горит.

— И поделом тебе, не суй свой нос, куда не надо, — перебил Пети, — вот я никуда не сую носа.

— Уж и не суешь! — отвечал обиженный Пишта. — А когда ты залез в лапшу с маслом и медом? Тогда тоже не совал?

— Когда?

— Будто сам не знаешь? На пасхе!

— Пишта, ведь лапшу с маслом и медом варят на рождество! — с ученым видом поправила его Катица.

— Ладно, сынок, — примирительно сказала жена Михая. — Вы оба славные ребята, один лучше другого, только не вцепитесь друг другу в волосы. Пиштика мой, передай куме, что мы премного благодарны за приглашение, но и сами уже сели ужинать.

— И что ж такого! — ответил Пишта. — Папенька с маменькой велели мне возвращаться только с вами вместе. Сказали, что без ваших милостей не начнут ужинать, будут ждать хоть до завтрашнего дня.

— Что же нам делать? — спросила жена Михая.

— А вы идите, дети, — отвечал старый Петер. — Мать, и ты пойди, а я останусь с внучатами дома.

— Нет, отец, — сказала бабушка, — ты пойди, а я останусь дома. Ведь и намедни тоже я ходила на свадьбу.

— Да что ты, ангел мой, на свадьбе-то мы оба были, забыла, видно?

Старики еще долго толковали о том, кто был и кто не был на свадьбе, кому идти на ужин, и, наконец, порешили, что пойдет бабушка, а дед останется дома. Покуда все собирались, надевали шубы, маленький Пишта подкрался к Катице и спросил ее шепотом:

— А ты, Катица, почему не идешь?

— Сам видишь, нельзя мне! — ответила девочка. — Я Эржи буду укладывать, когда она заснет...

— Эх, жалость-то какая! Мне бы веселей было. Пришла бы ты, мы б с тобой поплясали. Знаешь, у нас ведь цыгане будут.

— Ничего, Пишта, мы еще попляшем на нашей свадьбе.

— Попляшем, золотце мое, да не скоро. Еще чуть ли не год ждать.

— А то и два. Сколько тебе сейчас?

— Мне десять, а тебе, Катица, сколько?

— А мне девять.

— Ну, тогда, может быть, двух-то ждать не придется.

— Может, и не придется.

Михай с женой надели шубы, закутали бабушку и пошли. Правда, сперва старый Петер захотел сам убедиться, хорошо ли одета, не простудится ли его милая жена, которую он любит так же, как тридцать пять лет назад, когда женился на ней. Панни вышла закрыть за ними калитку, вслед за ней выскользнул и Ферко. Он поджидал ее возвращения на кухне. И служанка и батрак — оба были красавцы, и уж как под стать друг другу! Ферко был жгуче-черный малый, Панни — кроткая белокурая девушка. Ему было двадцать, ей шестнадцать лет. И что за

работники оба: добрые, преданные! И хозяйка и хозяин любили их, будто родных детей. К свадьбе пообещали им белья в приданое, дойную корову с теленком, да и свадьбу посулились справить за хозяйский счет.

В кухне весело потрескивал огонь, так как часть ужина еще грелась на плите. Ферко стоял возле очага и, когда Панни вошла, шепнул ей:

— Панни, голубушка моя, пойдика сюда!

— Зачем? — шепотом спросила и девушка.

— Так... погреться.

— А мы и в комнате можем погреться.

— Здесь лучше. Да иди, господь тебя благослови. Прошу ведь тебя. Вот так... еще чуточку ближе, еще поближе. А теперь глянь мне в глаза, да смелее, не стыдись, видишь, я-то не такой стыдливый. Так не хочешь посмотреть мне в глаза?

Юноша произносил все это с такой мольбой в голосе, что девушка не в силах была отказать, — хоть и робко, а все же подняла на него глаза. Ферко затрепетал от радости и мигом обвинил одной рукой стройный стан девушки, а другой взял ее за круглый подбородок и поцеловал в пунцовые губы и большие голубые глаза. Панни побледнела, а потом залилась румянцем. По щекам ее скатилось несколько слезинок. Ферко испугался, отпустил ее и спросил с тревогой:

— Розочка моя, о чем ты плачешь? Или обидел я тебя? Да говори же!

— Нет, — ответила девушка, — не обижал ты меня.

— А почему же ты плачешь?

— Потому что очень люблю тебя!

Ферко, по своей горячности, готов был тут же обнять ее снова, но девушка убежала в комнату, где ужинал со своими внучатами старый хозяин.

— Входи, входи, дочка, — молвил добрый старик вошедшей служанке, — садись, поешь. А куда же Ферко девался?

— Я здесь, хозяин, — ответил Ферко, входя. — Лошадям сена подбросил.

Соврал Ферко, да только после заметил, что соврал. Пожалел, но слова уже не воротишь. Постепенно он утихомирил свою совесть — утешился тем, что за такую невинную ложь господь бог его не накажет. Славный, добрый парень! А мало ли таких, которых совесть не мучает за проступки, даже за прегрешения во сто раз большие.

После ужина хозяин снял с матицы библию, вынул очки из футляра, нацепил их на нос и, облокотившись о стол, принялся читать с великим благоговением. Катица и Эржи играли в куклы на лавке, а Пети пытался вспахать пол кукурузным початком. Панни мыла на кухне посуду, Ферко пошел в конюшню напоить лошадей и волов и положить им подстилки.

Управившись с делами, работники вернулись обратно и взялись за свое обычное вечернее занятие: начали рушить кукурузу. Вытащили скамеечки, к которым с одной стороны были прикреплены рушки. И посыпались зерна кукурузы, только треск стоял. Руки сновали с такой быстротой, что можно было подумать, работники соревнуются ради большой награды. И все-таки работа не занимала их настолько, чтобы они не успели перекинуться взглядом. Нет, боже спаси!

— Зачем вы, хозяин, чтением глаза себе портите, — промолвил Ферко после долгого молчания.

Хозяин оторвался от книги и, обернувшись к Ферко, спросил его:

— Что ты сказал, сынок?

— Говорю, зачем вы, хозяин, глаза себе чтением портите? Ведь буквы эти такие тонюсенькие, что из трех не вышло бы даже одного доброго волоска.

— Это верно, сынок, верно, Ферко! Да что ж поделаешь, ежели человеку рано еще спать ложиться?

— А вы, хозяин, лучше расскажите что-нибудь. И у вашей милости не заболят глаза, и мы не задремлем.

— Ой, дедушка, расскажите что-нибудь. Бог вас за это благословит! — воскликнула Катица. И все принялись упрашивать старика, чтоб он рассказал о чем-нибудь.

Мой хозяин Петер Пергё не отличался строптивостью и охотно уступил общему желанию. Теперь уже весь вопрос был в том, о чем рассказывать: о фее Илоне, о Янко-с-горошину, о трех королевичах, о карге Железный нос или еще о чем? Старик знал много сказок.

— Постойте, дети, — проговорил дед после того, как долго прикидывал в уме, о чем рассказать, — погодите, расскажу я вам что-нибудь из своей жизни. Она, правда, не такая занятная, как сказки о феях, но скучно вам не будет, потому что в ней все правда, да и слышите вы об этом впервые. Ладно?

— Ладно, ладно! — закричали все в ответ.

Старик скинул сапоги, закурил трубку с коротким чубуком, примостился в углу на полушубке и посадил к себе на колени младшую внучку. А двух старших внучат усадил перед собой. Панни и Ферко продолжали рушить кукурузу. Зерна непрерывно сыпались в корзину, приветливо тикали большие стенные часы, подмигивала лампадка; все прислушивались к словам деда, а дед рассказывал:

— Деточки мои милые, то, о чем я хочу вам рассказать, произошло давным-давно. Было мне тогда двад-

цать два года, а теперь уже давно перевалило за шестьдесят. Кладбищенскую землю, в которой теперь хоронят, тогда еще пахали, и уже опять пахут ту землю, в которой тогда хоронили. Сам я тогда был еще молодец-молодцом, не то что нынче. Я тоже из пашни в кладбище превратился. Да что поделаешь, всем так суждено, пришлось и мне смириться. Я и не ропщу. Так вот, как я уже сказал, было мне тогда двадцать два года... Той порой и мне, небось, совестно было бы забраться в угол, вот как сейчас, но ничего... и до вас еще дойдет черед, так что не больно-то ухмыляйтесь...

Но тут хозяин прервал свою речь. Снаружи кто-то постучался в окно и проговорил слабым, дрожащим голосом:

— Сделайте милость, пустите погреться, не то совсем замерзну.

— Кто там? — спросил Ферко.

— Бедный, старый нищий, — ответил голос с улицы.

— Ступай, Панни, — сказал дед, — отодвинь засов и божьей милостью впусти несчастного.

Панни ввела нищего. Это был очень старый и ободраный человек на костылях. Он весь закоченел от стужи. Слезы, выжатые морозом, замерзли у него на ресницах, а с усов и бороды свисали тоненькие сосульки. Голова была непокрыта, на ногах вместо сапог была накручена солома. Хозяин усадил его поближе к очагу, велел Панни принести остатки ужина и радушно оставил нищего переночевать под своим кровом. А сам продолжал, вернее начал рассказывать, повесть своей жизни. Даже старик-нищий, наевшись, внимательно стал слушать рассказ деда.

— Служил я в работниках — начал дед, — у одного богача. Добрый был человек, упокой господь

его душу, а вот сына вырастил дрянного малого. И кручинились же в деревне отцы, у которых были красивые дочери, горевали и мужья, которые имели красивых жен. Зловредный барич всех их бесчестил. А жаловаться не смей, кто пожалуется, того до смерти затравит. Да и что было не под силу могучему барину против беспомощного народа? Даже челяди — и той приходилось туго. Над ней он измывался, как только мог. Чуть в чем провинятся, сразу приказывал всыпать им двадцать пять плетей, а то и в колоду сажал. Ну, и менялись у него слуги каждые три месяца. Сам я тоже хотел уйти со двора, да была у меня причина оставаться. И такая была причина, что ради нее готов был стерпеть всякую обиду. Ваша бабушка, дети мои, тоже служила в этом доме. А мы уже и в ту пору крепко любили друг друга. Она была красивой девушкой, и ее не обижал никто, а барчук даже во всем ей потворствовал. Жилось вашей бабушке хорошо, и она не уходила. А раз она не уходила, то и я оставался. Бабушке вашей было невдомек, за что к ней такая милость, а то уж, наверное, давно нашла бы себе другое место. Наконец барич признался, что любит ее, и спросил:

— А ты, Юльча, любишь меня?

Юльча ответила, что не любит.

— Знаешь что, Юльча, — сказал барчук, — я тебе жалованья прибавлю и в придачу куплю такие красные сапожки, что их даже графине носить было бы не зазорно. Только полюби меня.

— Напрасно купите, я вас все равно любить не стану.

— Почему же?

— Потому что вы богатый барич, а я бедная служанка. А если б я вам и ровней была, все одно бы не полюбила, — другого люблю. Так и знайте!

- Другого? Кого же?
- Да уж есть такой!
- Кто же он?
- Этого я не скажу.
- Почему?
- Так.

Барич хотел выпытать у Юльчи, кого она любит, но она ни за что не признавалась. На том и покончили. Барчук пожал плечами, прикинулся, будто ему безразлично, знает он или нет, но потом все следил за Юльчей, хотел разгадать ее тайну.

Однажды вечером... помню, будто это вчера было... я как раз подостлал соломы коровам, а Юльча доила. И корову даже помню, какую доила. Маленькую, безрогую... Даже тавро ее помню — на левой задней ноге было выжжено НЛ. Так-то вот. Ее незадолго перед этим купил наш барин, и я пригнал ее с ярмарки вместе с четырьмя телками. Все они были трехлетки да такие одинаковые, будто от одного отца и матери уродились. Вот доит моя Юльча маленькую безрогую корову, я подкрался к ней и говорю:

— Юльча, послушай!

А она притворилась, будто не слышит. Тогда я взял да так по-кавалерски и ущипнул ее за щечку. А личико было у нее тогда, ну, прямо как распутившаяся роза. Да что там, теперь уже и розы не так хороши, как в прежнее время... Или мне это кажется... Ну, ладно. Ущипнул я ее за щечку — мягкая она была, ровно сметанное масло, — и говорю опять:

— Юльча, послушай

Тогда она обернулась и ответила:

— А, это вы, Петер? Я и не заметила, как вы вошли...

Какое там не заметила. Когда я уходил через два дома к соседу, она и там выглядывала меня. Но уж такова девичья повадка... всегда притворится, будто о нас и заботы нет. Скажи, Панни, разве не так?

Маленькая Панни стыдливо потупилась и ответила, покраснев:

— Не так. Это все только наговаривают на нас.

А Ферко подумал про себя: «Ладно, будем знать».

Старик продолжал свой рассказ:

— Потом я спросил Юльчу, знает ли она, о чем я думаю. Она ответила, что не знает, откуда, мол, ей знать. Я говорю ей:

— Однакож признайся, что хотелось бы знать. Так вот я тебе скажу. Думал я о том, что придет еще время, когда ты будешь доить нашу корову, а может статься, даже не одну. У нас, возможно, и не одна корова будет. Господь помогает добрым людям.

Юльча ничего не ответила, только вздохнула. Так, без грусти вздохнула. Я решил, что это к добру. Наклонился к ней — она стояла на корточках, а подоилник был у нее на коленях — и хотел ее поцеловать. Но оробел — неровен час еще рассердится — и только шепнул ей: «Ландыш ты мой душистый». Когда она уже по порядку передоила всех коров и хотела было выйти из хлева, я не выдержал и сказал:

— Юльча, скажи хоть словечко, ежели любишь?

Тут Юльча остановилась у порога, а я как начну разливать:

— Эх, голубка ты моя ненаглядная, и заживем же мы с тобой, когда ты женой моей будешь. Приду я, Юльча, усталый с работы и скажу: «Обними меня, женушка!» Ты обнимешь. Покажи хоть, как будешь тогда обнимать.

Что же бедняжке оставалось делать — обняла. Все шло покамест ладом. Только возле нас оказался кто-то третий, и он видел, как мы обнимались. И был это не кто иной, как барчук.

— Э-э, девочка, — сказал он Юльче, — теперь я знаю, кого ты любишь, хоть и не признавалась ты мне.

Сказал он это с улыбкой, но есть такие улыбки, которых человек пугается пуше чёрта. У барчука была как раз такая улыбка: точно собака скалит зубы. После мы вспоминали, что не напрасно испугались этой улыбки.

Не прошло и дня, как начались всякие нелады.

Барчук приказал мне накосить клевера за огородами и привезти его домой на сивой и на серой. Я так и сделал. А когда завернул с большим возом во двор, барчук подскочил ко мне, точно бешеный пес, и спросил, что я делаю. Я сказал, что везу домой клевер.

— А кто же тебе это велел, негодяй? — спросил он злобно.

— Вы и велели, сударь, — ответил я.

— Да как ты смеешь, мерзавец, мне это говорить Ну погоди же. Ведь я сказал тебе, чтоб ты привез глины для овечьего загона.

— Этого вы, сударь, не говорили, ей-богу

— Еще божиться вздумал, мошенник! Я научу тебя слушаться. Повешу тебе «скрипку» на шею и продержу тебя в ней шесть часов, не меньше.

— Уж вы простите меня, сударь, а только я сделал так, как мне было приказано...

— Молчи, такой-сякой, не то велю дать тебе двадцать пять плетей, да прикажу всыпать так, что они сойдут за добрых пятьдесят.

Он ушел, а мне принесли эту проклятую колоду, втиснули в нее шею и обе руки. И сел я с ней у две-

рей кухни. Стыд меня грыз, печаль и гнев глодали. Юльча то и дело проходила мимо. Бедняжка так печально поглядывала на меня, что душа у меня болела пуше шеи и рук, которые были зажаты в колоду. И так я сидел, будто не одной казнью меня казнят, а двумя. Время плелось медленно, словно ему повесили на ноги сорокафунтовые гири. Вдруг я начал синеть. Лицо стало синим, глаза красными. Увидела это моя добрая маленькая Юлишка, да как расплачется, и так горько рыдала, припав головой к стенке, что, наконец, дыхание у нее захватило, и она упала рядом со мной. Лежит, а я даже поднять ее не могу — руки-то у меня скованы. Утешить и то ее не мог, сам едва дух переводил. Но пока не прошло шести часов, из «скрипки» меня не вытащили. Ключ был у барчука, а куда он ушел, бог один ведал.

Высвободившись из колоды, я подозвал к себе Юльчу и сказал ей, что уйду из этого дома. Она ответила, что хорошо сделаю, коли уйду, и что она тоже ни минуты после меня не останется, что мы везде найдем себе работу, что, слава богу, у нас руки и ноги целы, а если один из нас стал бы даже калеккой, то другой охотно прокормил бы его, хоть последний кусок от себя оторвал бы. Мы пошли прямо к старому барину, поблагодарили его за ласку, за милость и сказали, что больше служить у него не будем. Но там оказался и барчук. Он сразу сказал, что я могу уйти с богом, а Юльчу он не отпустит.

— Как же это не отпустите, — перебила его Юльча, — коли я не хочу оставаться.

— Хочешь не хочешь, — ответил барчук, — это все равно. Тебя нанимали на год, и ты не можешь уйти, когда тебе вздумается.

— Петер тоже нанимался на год. Почему же его отпускаете? — спросила девушка.

— Этого негодяя я выгоню, пусть убирается отсюда как можно скорее. А ты останешься, должна остаться: ведь большую часть жалованья ты уже забрала вперед. Впрочем, может быть, вернешь эти деньги?

— Нет, — ответила Юльча и вся задрожала.

Барчук это знал хорошо, потому и спросил. И нам ничего больше не оставалось, как расстаться. А старый барин молчал, — дескать, пусть все идет своим путем. Барич был его единственным сыном, и старик так его любил, что ни в чем ему не перечил. Я собрал свои пожитки и отнес их к соседу. Ни отца, ни матери, ни родных, к кому я мог бы пойти, у меня не было — пришлось перебраться к чужим людям.

— Не бойся, голубка моя, — сказал я Юлишке, — не бойся. Мы с тобой будем видеться. И как пройдет этот год, снова поступим на одно место. А пока наберись терпения и надежд. Господь тебя благослови!

— А где мы будем встречаться? — спросила девушка. Глаза ее были полны слез.

— У калитки заднего двора, — ответил я. — Как только к вечеру управишься с делами, так сразу и приходи туда. Я буду ждать.

— Ладно. А ты куда наймешься?

— Пока не знаю. Поищу себе место где-нибудь в деревне.

— Об одном тебя только прошу, не уходи отсюда. А то я с горя помру.

— Ангел ты мой, если бы меня даже королем взяли в другое село, и то бы я не пошел. Ну, храни тебя господь!

С тем мы и расстались.

Сосед, к которому я перенес на время свои пожитки, был очень добрый старик. Он предложил мне жить у него в лачуге до той поры, пока я куда-нибудь не пристроюсь. Иногда я оказывал ему небольшие услуги, какие только мог. В деревне я тут же обошел всех богатых хозяев, державших работников, но как раз об эту пору батраки не были нужны никому. Пришлось ждать, покуда освободится какое-нибудь место. Как мы уговорились, так и встречались с Юльчей каждый вечер у калитки заднего двора. Она старалась как можно скорее спроворить свои дела, чтоб мне не приходилось долго ждать. Приходила она и в погожий вечер и в ненастный, хотя бы пожелать мне доброго вечера или спокойной ночи. Господи боже, что за счастливые были часы по вечерам у той калитки. Случись у меня возможность, я купил бы тот дом, хоть ради одного, чтобы позолотить эту калиточку. Стояли мы рядышком, то молчали, то беседовали друг с другом, и уж как мы были счастливы! Я смотрел Юлишке в глаза, потом оглядывал все звезды от востока до запада, но ни одна из них не сверкала так, как ее очи. А теперь они мерцают тускло, как этот ночничок на столе. Эх, эх! Бренна человеческая жизнь!

Если ночь была студеная, я укутывал свою милую шубой, прижимал ее к груди, и мы слушали, как бьются наши сердца. В жизни никогда не слышал я музыки прекрасней. Частенько мы расставались только тогда, когда ночной сторож кричал: «Час после полуночи!»

Так это продолжалось с месяц. Кроме господ, которому известно все, никто не знал про эти встречи, покуда на наш след не напал слуга барчука. А он уж очень любил ябедничать. Дети мои милые,

этого остерегайтесь вы пуще всего... Хуже ябедничанья нет ничего на свете. Ябеда — дочка зависти. Завистник же не может быть хорошим человеком. А дурной человек и на свет зря родился. Пусть даже иным смертным он любезен, но бессмертный господь ни за что его любить не станет. Бог всех одарил одним сокровищем — добротой, а остальное уж в наших руках. Смотрите, не промотайте это сокровище. Такого дурного мальчика — такого мота — господь выставит за дверь и скажет: «Ступай, я и знать тебя не знаю!» И горе тому, от кого отвернется милостивый господь небесный! Тот станет совсем как засохшее дерево: ни тени от него, ни плодов — только что место занимает. Пройдет мимо голодный и усталый путник и проклянет его. Вот что я вам скажу — лучше будьте угодны одному богу, чем тысяче людей. Добрыми будьте! Но не от страха перед богом, а из-за любви к нему. Не верьте тем, кто говорит, что бога надо бояться. Ведь кого мы боимся, того не любим. А господа любовь наша желанна.

Старик Петер замолк и призадумался. Немного спустя он, словно очнувшись, продолжал свой рассказ:

— Да, на чем же это я остановился?.. Так вот, гайдук донес барчуку, тот подстерег нас и, застав вместе, принялся распекать бедняжку Юльчу. Дескать, как ей не совестно в такую пору, ночью стоять с парнем. Не боится ли, мол, она за свою девичью честь?

Юльча ответила, что не боится, так как я на ней женюсь.

— Правильно, — сказал я. — Юльча будет моей женой.

— Это мы еще посмотрим, — ответил барчук.

— Что ж там смотреть? — спросил я. — Кто нам помешает?

— Я.

— Вы, сударь? А почему же?

— Нет тебе до этого дела!

— А почему же, с вашего позволения, дела нет? И какая радость будет вам, сударь, если по вашей милости мы несчастливцами станем?

— Какая? А такая, что я отомщу тебе, бестолочь. Моей она не будет, так и твоей Юльче не бывать! Понял теперь?

— Понял, сударь, — ответил я, вспыхнув. — Теперь уж очень хорошо понял. Но берегитесь, как бы вы сами не поплатились. Я человек честный, миролюбивый, из-за каждого пустяка горячиться не стану. Но уж если кто задел меня за живое — тому докажу с божьей помощью, что мой клинок тоже не из ивовой ветки выкован. Запомните это, сударь!

Так сказал я, глядя на него в упор, потом левым плечом поддернул шубу. Барчук пришел в ярость и крикнул:

— Эх ты, висельник! Жаль, нет со мной палки, не то бы я тебе все кости переломал!

— А у меня есть, и добрая, — ответил я, протянув ему палку. — Вот она, сударь, свою отдам. Ударьте меня, если совесть вам позволит.

— Негодяй! Я прикажу своим собакам тебя на клочки разорвать! — крикнул барич. Он громко свистнул и стал скликать собак по именам. Те выскочили с громким рычанием.

Побледнела Юльча, но я успокоил ее, сказал, что нет нужды бояться.

— Ату, хватай его! — кричит барчук собакам. Те бросились ко мне со страшным лаем.

Когда они были от меня всего лишь в нескольких шагах, я ласково окликнул их по именам. Собаки меня тут же и признали и уже не лают, не рычат, а скулят, да так жалобно, вроде бы льстиво даже, будто совесть в них заговорила, будто стыдно им стало, что не признали меня, как врага встретили. Один пес растянулся передо мной, и другой, точно прощенья просит, руку лижет, а третий бегаёт вокруг меня, хвостом виляет.

— Вот видите, сударь, — сказал я с презрением, — собаки — и те добросердечнее вас. Стыдитесь! А что, если сейчас я сделаю то же самое, что хотели сделать вы, сударь? Что, если я заставлю ваших собак вас же и растерзать? А они ведь, умницы, помнят, кто к ним относился хорошо, а кто худо. Хорошо знают, что одно время я им столько же хлеба давал, сколько вы им, сударь, побоев. Попробуем же. «А ну, хватай!» — крикнул я псам, и пальцем на барчука показываю. Собаки подскочили к нему, он испугался и со страху на забор полез. Я утихомирил псов, прогнал их, а сам смеюсь и спрашиваю: «Ну, как, сударь, можно мне верить? Впрочем, вы напрасно залезли на забор. Захоти я, собаки стащили бы вас и с верхушки колокольни. Но я ведь только пугнуть вас решил, не хотел, чтоб они вас искусили. А теперь пожелаю вам спокойной ночи и посоветую: впредь не целиться в меня из того ружья, которое может вас же застрелить. Юлишка моя, доброй ночи!»

Тут я пошел домой и долго еще слышал, как барчук грозился, что рассчитается со мной, кричал, что отплатит вдвойне. Признаюсь, что, поуспокоившись, я даже пожалел о своей шутке: глупо ведь связываться бедняку с богачом. Но уж раз так случилось, решил; будь что будет. Мой драгоценный барич не

долго заставил ждать исполнения своей угрозы. Жалобу подал на меня, наплел, будто я пьяница и бродяга и еще бог знает кто, что я никак к месту не пристроюсь, мол, всем людям от меня только опасность грозит и что, дескать, пригоден я только к солдатчине. Ну, порешили тогда меня заарканить. Нагрянули в деревню внезапно, однако я успел схорониться в стог сена. Обшарили весь дом, горницу, кладовку, чердак — все; я слышу их шаги, разговоры, лежу, дыханье затаил и все боюсь, что меня выдаст шуршанье сена: ведь оно от дыхания шевелится. Обшарили они все, выругались и пошли прочь.

— Я же говорил, что нынче он домой не возвращался, — сказал им добрый старик, который пустил меня к себе.

В это время они как раз проходили мимо стога сена, где прятался я. Один из них, вооруженный железными вилами, заметил, смеясь: «Уж не здесь ли он?» Взял да и ткнул вилами в стог сена: пришлось как раз на вершок выше моей головы. Кровь в жилах у меня застыла, и я потерял сознание. Когда же пришел в себя, было уже тихо. Они ушли. Не за себя боялся я солдатчины, а из-за своей бедняжки Юльчи. Что станется с ней, думал я, если нас разлучат навеки? Сердце у нее слабое, еще, поди, разорвется от тоски. И что ж, выходит, я стану убийцей той, ради которой жизнь готов отдать?

Поздно вечером я выбрался из сена, зашел в дом, схватил свою шубу, повесил суму через плечо и попрощался с хозяином.

— Не знаю, встретимся ли еще когда. Коль увидите Юльчу, поклон ей передайте, скажите, чтоб не забывала меня. Как только дела мои пойдут на лад, я тотчас вернусь. Спасибо вам,

хозяин, за вашу доброту. Благослови вас господь!

Мы пожали друг другу руки, и я отправился в путь.

Кто же это идет по улице мне навстречу?

Юльча

— Куда ты, голубка моя? — спросил я.

— К тебе. А ты, Петер, куда направился?

— Еще не знаю куда. Здесь мне не жить, сама видишь. Хотят меня в солдатчину угнать.

— Слышала об этом. Господи боже, до конца жизни не знать мне таких мук, что я пережила за несколько часов. Я ведь видела, когда люди пришли за тобой, сердце у меня сжалось, будто его кто обручем сковал. Плакать и то не могу. И до чего же горько, когда слезы не идут. Стояла я во дворе, на лестнице погреба, оттуда смотрела... все ждала, пока выйдут. Жду, а сама дрожу будто в лихорадке. Наконец вышли. Вижу, нет тебя среди них. Но со страху у меня так рябило в глазах, что я себе не поверила. Выбежала и спросила кого-то: схватили ли тебя? Тот ответил, что тебя не нашли. Только тогда у меня от сердца отлегло.

— Душенька ты моя, ангелочек мой! — сказал я, обняв Юльчу. — Как отплачу я тебе за твою любовь?

— Люби меня так же, как я тебя люблю, — ответила она, — и тогда воздашь мне сторицей. Ничего-то мне на свете не надо, кроме твоей любви, твоего сердца.

— Жемчужина ты моя ясная, пусть меня бог покарает, если я когда-нибудь в жизни взгляну на кого-нибудь, кроме тебя.

— Не говори так, Петер, родной мой. Я и без слов все знаю, не нужны мне твои слова. Но куда же ты пойдешь теперь?

— Не знаю. Покамест знаю только одно, что дальше мне здесь оставаться нельзя.

— Значит, ты, Петер, покинешь меня?

— Сама знаешь, что мы хоть на время, да должны расстаться. Здесь мне и минуты покоя не будет.

— Правда, правда... Зачем же дело стало? Я пойду с тобой.

— Что ты выдумала?

— Ничего! Одного хочу только, чтобы мы были вместе. А может статься, я тебе в тягость буду?

— Мне в тягость? Да как ты можешь так говорить?

— Тогда пойдем вместе.

— Послушай меня, милая, — сказал я, желая ее убедить, — послушай меня. Путь мой неверен, сам не знаю, где голову преклоню. К тому же и дни становятся все прохладнее. Денег у меня нет. В суме только полкаравая хлеба, и когда кончу его, что буду есть — сам не знаю.

Юльча и договорить мне не дала: сказала, что разделит со мной голод, холод, нужду, страдания, сказала, что легко любить друг друга в счастье, но настоящая любовь познается в беде. Теперь вот пришло время доказать, что душа ее стала моей душой, и, значит, я ее не люблю, если не дам ей этого доказать. Напрасны были все мои речи: она стояла на своем, твердила, что пойдет со мной. Так мы и пошли вместе.

Но горе нам! У околицы деревни мы повстречали жену помощника старосты. Ночь стояла темная, а жена помощника старосты была старой. Старухи же все, словно кошки, и ночью видят. Она узнала Юльчу и окликнула ее.

— Девушка, ты куда это гулять пошла, да еще не одна? — сказала она ехидно и засмеялась. — Вот

она, нынешняя-то молодежь, господи помилуй, бесстыжие какие!

— Смотри не оглядывайся, — шепнул я Юльче, — будто и не заметила ее, будто это и не ты. Тогда она еще подумать может, что ошиблась. Знаешь ведь, какая это сплетница. Завтра на весь свет растрезвонит, что видела вечером, как ты с парнем шла, да расскажет еще, в какую сторону. И тогда нам конец. Потому что все знают — ни с кем иным ты не пойдешь, как только со мной. И тогда нападут на наш след.

Мы пошли быстрее. Так шли до тех пор, покуда деревня не осталась далеко позади. Свернули с большака, боялись повстречаться с кем-нибудь, кто будет для нас еще опаснее этой старухи. Взяли влево, в сторону кукурузных полей, думая переночевать на каком-нибудь хуторе, лежащем в сторонке. Но в темноте заплутались, уже ни издали, ни вблизи не слышно было даже собачьего лая, который мог бы указать нам путь. Мы приютились на берегу какой-то речушки и тут же заснули, — такая одолела нас усталость. Шуба у меня была просторная, и мы поместились в ней оба. Чтобы моя милая Юлишка не замерзла, я прижал ее к своей груди, и мы заснули. А сны приснились нам такие чудесные, словно мы спали на шелковых подушках. Вот иные думают, что страны фей и феи это только сказка, а на самом деле совсем не так. Одна из фей — это любовь; верно, Панни?

Панни так заслушалась рассказа, что даже не услышала оклика старика. Вместо нее с горячностью ответил Ферко:

— Верно, верно, так и есть.

Парень с восхищением глянул на свою милую. Она показалась ему сейчас еще милее, чем обычно,

хотя Панны всегда была красавицей, и губки у нее были пунцовые, и глаза большие, голубые.

А старик Петер продолжал так:

— Первым проснулся я, Юлишка еще спала. Лежу, шелохнуться не смею, разбудить ее боюсь. Голова ее покоилась на моей груди, и мне было так приятно, будто сам господь бог положил мне туда воплощенное блаженство. Наконец она раскрыла глаза, смущенно посмотрела на меня и залилась румянцем, хоть и не было у нее на это причин, — я вел себя так, словно проводил ночь возле алтаря перед образом девы Марии. Да что ж тут удивляться, что она стеснялась? Ведь накануне об эту пору она и думать не посмела бы о том, что уснет рядом с мужчиной. Мы встали и принялись обсуждать, куда бы нам направиться. Согласились на том, что все равно куда идти, друзей у нас нет нигде. Отец Юльчи был жив, но не любил ее, так как она стоила жизни своей матери. Мать умерла от родов, и с тех пор отец чурался дочки. С самого детства отдал он ее в люди и за это время навестил не больше двух раз. Рассчитывать на то, что он нас приютит, мы не могли. Потому-то и решили скитаться до тех пор, покамест не найдем себе места у какого-нибудь доброго человека.

До самого вечера ходили мы из хутора в хутор, всюду спрашивали, нужны ли работники, и везде нам отвечали, что не нужны, да еще и недоверчиво оглядывали нас. Говорили нам об этом прямо или нет, но мы сами понимали, что надо убираться подобра-поздорову, и уныло брели дальше. Еще было не поздно, но так как стояла осень, то стемнело рано, — и мы уже в темноте подошли к какому-то хутору. Одиноко стоял он в глубине пушты. На одном его конце темнело несколько деревьев, на другом блес-

тел в полумгле пруд, окруженный осокой, а в середине хуторка виднелся пылающий огонь, — он выглядывал из открытой двери конюшни. Сзади, в овечьем хлеву, иногда позвякивал колокольчик барана, толкаемого соседом. Кругом стояла тишина. Мы вместе с Юльчей вошли в конюшню, где виднелся огонек. Там сидело шесть-семь человек: старый крестьянин-табаковод, два его сына, дочь и двое или трое бетяров. Младший сын крестьянина разводил огонь в очаге посреди конюшни и как раз в тот миг, когда мы вошли, бросил в него добрую охапку соломы. На мгновение стало темно, потом солома вспыхнула и осветила пламенем всю конюшню. Мы увидели людей, расположившихся вокруг костра, задымленные потолочные брусья, с которых свисали косы, грабли, вилы и косоправки. Посредине стены стоял шкаф, на нем баклага и в ней тростинка, через которую тянули воду. Справа у яслей два гнедых коня ели хрустящее сено; слева, пережевывая жвачку, лежало несколько коров, возле них, рядом, сидела большая белая дворняжка. При виде нас она залаяла.

— Замолчи, — прикрикнула на нее дочь табаковода. Собака замолкла.

— Добрый вечер, — поздоровался я, тронув шляпу.

— Добро пожаловать, — ответил старый хозяин.

— Нам бы где-нибудь переночевать, если можно, — сказал я и потянул за собой Юльчу, боязливо вставшую у порога.

— Чем богаты, тем и рады, — ответил старик приветливо. — Куда путь держите? Да подойдите же поближе к огню. Ты что думаешь, девушке твоей так жарко, что она вспотела, а я как погляжу, замерзла совсем бедняжка.

Мы уселись между ними, и я рассказал, почему пришли сюда, признался во всем, кроме того, что Юльча моя зазноба. Сказал, что она моя сестра.

— Не спи, Марци, — окликнул старик сына, когда я закончил свой рассказ, — не спи, сынок, а то я так тебя разбуджу, что ушам больно станет. Ведь коли ты заснешь, то и огонь заснет. Кормить его надо

Марци послушался, да перестарался, — швырнул в затухающий очаг такой большой сноп соломы, что огонь чуть не погас. Тогда он приподнял кочергой солому, дунул под нее, и пламя снова запыхало. Я оглядел бетяров: двоим из них было под тридцать, одному не больше двадцати лет.

— Рассказывай, братец, дальше, — сказал старик самому молодому бетяру, — рассказывай, а мы слушаем. Ты закончил на том, что помер твой отец.

— Так вот, помер мой отец, бедняга, упокой господи душу его, — продолжал рассказывать молодой бетяр. — Он помер, а мы стали думать да гадать, как бы его нам похоронить. Досок у нас, чтоб сколотить гроб, не было, да и денег не было. Оставалось только одно — украсть. Возле дома исправника уже несколько лет валялась груда досок. Все равно они ему не нужны, — решил я, унесу-ка парочку, он и не заметит. Пока мать сидела над покойником, я пошел и раздобыл доски на гроб. Сколотил их сам, прямо необструганные, столяр ведь денег стоил. На другой день мы положили нашего беднягу отца в гроб, на третий день гроб заколотили и вынесли во двор. Только стали мы выносить тело со двора, как пришел исправник. Он осмотрел гроб со всех сторон и приказал его открыть. «Так ведь он уже заколочен», — сказал я, чувствуя неладное.

«Ну и что же, — ответил он, — а вы расколотите». Что ж поделаешь, пришлось раскрыть гроб. Исправник осмотрел его изнутри, нашел то, что искал, и говорит: «Вот моя метка, эти доски мои». С тем и ушел. Едва кончились похороны, как меня вызывают на допрос. Скрывать было нечего, и я признался в воровстве. Дали мне полгода отсидки и пятьдесят батогов. Когда я вышел из темницы, бедняжка мать уже лежала рядом с отцом.

Тут парень горько зарыдал. Потом вытер кулаком слезы и продолжал свой рассказ:

— Бог ее знает отчего она померла, горемычная? Может быть, и с голоду, потому что помощи ей ждать было неоткуда. Теперь уж была не была! — подумал я. — Прощай честь, бог с тобой! Но господину исправнику это даром не пройдет. Я подобрался к его стаду и угнал пятьдесят волов. По одному волу за каждый удар батогом. Спустил их за полцены в Фехерто одному мяснику, который резал беспаспортную скотину, и на этом нажился. На след волов напали, и меня потеснили за Тису. С этими двумя честными молодцами я повстречался в Ревберской пуште. Теперь мы держим путь в Баконь, там, говорят, бетярам раздолье, — коли лодыря не гоняют, то славно промышляют.

— Что верно, то верно, — подтвердил старик. — К тому же и знаменитая веспремская виселица стоит там по соседству. Да что говорить, братец, жаль мне тебя от души — не твоя будет вина, если когда-нибудь вороны гнездо совьют у тебя на голове. А горькой чаши тебе не миновать. Ведь эти мудрые господа законники один законы принимают и для богатых и для бедных, а это неправильно. Богачу не воровать легко. А вот помри его отец и не из чего будет ему гроб смастерить, посмотрел бы я,

что бы он делать стал. Конечно, если у него еще и сердце есть. И все-таки про бедняка кричат: распни его, повесь, дескать, все равно, кроме вора и грабителя, из него ничего не выйдет... Встань, дочь моя, встань, Вица, принеси-ка нам варенца, поедим, лучше будет дело.

Вица принесла варенец в чистенькой белой миске, принесла и хлеба, и мы все принялись за еду. После ужина старик снял с гвоздя свою тамбуру и стал играть, да так жалобно, что у всех нас даже сердце зашлось. Огонь догорал, только изредка еле вспыхивал, старик играл на тамбуре, мы слушали его, будто замерли. Вдруг со двора послышалось бряцанье оружия. Не успели мы вскочить, как выход уже загородили вооруженные люди.

— Вот он, голубчик — крикнул один из них, направившись прямо ко мне. — А это что за птицы? Схватить их!

Двое бетяр выскочили и скрылись в темноте. Третьего схватили и связали так же, как и меня. Это был самый молодой, тот, кто давеча вел рассказ.

Юльча, бедняжка, пришла в отчаянье. Как дикий зверь бросилась она на прибывших, пытаясь защитить меня.

— Оставь их, душа моя, — сказал я, — что ни делай, все напрасно.

Но она не сдавалась до тех пор, пока один из солдат не толкнул ее так, что она упала без чувств. Будто нож вонзили мне в сердце. Был бы я свободен, не пощадил бы, задушил того, кто швырнул ее на землю. Но я стоял связанный и шелохнуться не мог. Из глаз у меня текли слезы, на губах была пена. Меня поволокли. Я просил их обождать, пока моя Юльча очнется, чтоб я мог с ней хоть попрощаться, сказать: «С богом!» Но они не стали ждать. Увели

меня вместе с тем пареньком, который украл доски для гроба. Звали его Ласло Хоргаи.

И вот я стал солдатом. Вместе со мной забрили и Хоргаи, так как у него не оказалось паспорта. На другой день нас погнали за границу в армию, которая шла против Наполеона. Через два месяца мы участвовали в первом бою. Отделались благополучно. А Хоргаи — тем временем он стал моим единственным закадычным другом — раздобыл даже изрядную сумму денег. На себя он ни гроша не потратил, все послал священнику в деревню, просил поставить памятник на могилу родителей. Боялся, что, когда попадет обратно на родину, не разыщет могилы. Но тщетными оказались все заботы доброго малого, вскорости он погиб в сражении. Подстрелили его, когда он скакал верхом рядом со мной. Я горестно спросил его:

— Что же на родине передать, дружище, если я невзначай домой вернусь?

— На родине? — спросил он. — Что у меня на родине? Были отец с матерью, да и те померли. А теперь и я последую за ними. Расскажу им сам, как счастлив, что отделался от этой жизни.

С тем он и умер.

Я остался один. С беднягой Ласло я иногда часами беседовал о своей милой Юлишке. А теперь и его не стало — не с кем стало поделиться воспоминаниями о ней. О милой своей я не слышал ничего. Иногда просил кого-нибудь написать ей письмо, но ответа так ни разу и не получил. Нас то и дело перебрасывали из одной страны в другую, и письма поэтому не доходили. Вечерами, сидя в одиночестве у костра, я размышлял: «Что же случилось с девушкой? Уж не померла ли она, не вышла ли замуж, любит ли еще меня? Будет ли любить, когда я вернусь»

домой?» И горестно же становилось у меня на душе, когда я думал о том, что она умерла или полюбила другого. Бывало, горе так скрутит меня, что перед боем я молился: «Господи боже, пошли мне смерть»

Но время шло и день за днем уносило с собой по крупинке печали, так же как река уносит обломки берегов. Прошло несколько лет, и я вовсе перестал ощущать боль. И даже в сердце мое закралось какое-то сладостное чувство. Надежда, которая постепенно угасла, лежит в сердце человека, словно прекрасная умершая девушка в венке из белых роз.

Четыре года прослужил я в армии, наконец, меня уволили в чистую. Левая рука была у меня прострелена, и я больше не годился к солдатской службе. В военное время деньги достаются легко, я тоже скопил форинтов пятьсот. Спокойный, плелся я обратно домой. Мне нечего было бояться, что я помру с голоду, как многие из тех, кого покалечила война. Первая мысль была у меня о Юльче. Но думал я о ней как-то даже равнодушно. Горе свое я уже отгоревал, а радоваться тоже было нечего, — не знал же я, что меня ожидает дома.

Сперва я пошел в деревню, где мы жили вместе в рабочих. Но там о ней никто и знать не знал: туда она больше не возвращалась. Тогда я пошел на хутор, откуда меня уволокли в солдатчину. Стояло лето. Погожий вечер. Вдруг я увидел и хутор, и деревья, и озеро в тростниках. Сердце мое забилося, как часы, которые долго стояли и сейчас их кто-то завел. Кровь бросилась мне в лицо, а оттуда, как нашкодивший мальчишка, кинулась обратно в сердце. Потом появился страх, затем надежда. А может быть, она уже умерла... А может быть, еще жива... а быть может, замуж вышла... а быть может, все еще ждет меня? Я опомнился толь-

ко тогда, когда оказался возле хутора. Ноги у меня дрожали так, что я едва стоял, в глазах рябило. Когда я вступил на порог домика, меня кто-то вдруг обхватил сзади и, только я обернулся, упал мне на грудь, восклицая:

— Петер, Петер, мой милый Петер, любишь ты меня еще?

Кто же это, как не Юльча!

Она как раз поливала грядки в огороде и вдруг увидела меня. Глазам своим не поверила, но сердце ясно сказало, что это я.

Она побежала ко мне, и как я уже сказал, упала мне на грудь. Я обнял ее, и так мы плакали долго, тихо, сладко, склонив друг к другу голову на плечо. И как же сладостны слезы радости!

В ту ночь мы не спали, все разговаривали. Я должен был рассказать обо всех превратностях, что претерпел за четыре года разлуки. Когда дошел до пули, которая пронзила мне руку, Юлишка моя застонала, побледнела и схватилась за свою руку... Видно, мне не так больно было от этой раны, как ей, бедняжке. Потом она рассказала, как и что было с ней. Добрый старый табаковод оставил ее на хуторе, сказал, что там, где четверо живут, и пятый не помрет с голоду. Но вскоре старик умер, дочь его вышла замуж, и Юльча осталась на хуторе с двумя сыновьями старика. Старший влюбился в нее, посватался. Он осаждал ее до тех пор, покуда девушка не призналась, что парень, с которым она пришла на хутор, был вовсе не ее брат, а милый, и что никому на свете, кроме него, она принадлежать не будет. После этого добрый честный малый не сказал ей больше ни слова. Только ночами слышала Юлишка частенько, как горько он плачет. Хотелось ей утешить его, жаль ведь было от души. Да разве

помогли бы ему пустые утешенья? Впрочем, днем он всегда был веселый, а может, и притворялся веселым. Прошлой весной помер бедняга от чахотки. Он оставил все хозяйство на Юльчу и попросил только, чтоб она воспитала его братишку Марци. И Юлишка закончила свой рассказ такими словами:

— Так вот, хозяйство теперь вроде как бы мое. Ты поделишь его со мной, Петер?

— Нет, — ответил я. — Оставим его маленькому Марци. А ты поделишь ли со мной мое хозяйство?

— Да разве ты разжился чем-нибудь?

— На то чтоб честно семьей обзавестись, денег-то хватит.

— Стало быть, мы не расстанемся?

— Нет, милая моя, никогда!

Через три недели Юльча сняла девичий убор, повязала голову платком, и стали ее звать женой Петера Пергё, как зовут и поныне. За мое отсутствие она уже начала было с горя вянуть, но с тех пор, как стала моей женой, хорошела с каждым днем. Мне казалось, что в молодухах она была даже краше, чем девушкой. Да что там, смейтесь не смейтесь, а я вот что скажу: шестьдесят ей стукнуло, но я и ныне считаю ее красивей всех девушек на свете. Мне не мало их видеть привелось.

«Каждый цыган своего коня хвалит», — подумал Ферко и взглянул на Панны, которую он считал самой красивой девушкой на свете. Может быть, он и преувеличивал малость, но в чем-то правда была на его стороне.

— Хозяйство наше все росло, — рассказывал дальше Петер Пергё, — и когда оно стало совсем богатым, да и Марци возмужал, мы его женили, а сами переехали сюда в село. Купили этот дом, посе-

лились в нем, и, покуда я возился с хозяйством, жена моя воспитывала нашего единственного сына Михая. Да, как видно, не напрасно пеклась она о нем. Отец ваш, внучатки мои, честный человек с головы до пят. А уж какой хозяин! Получше нашего все понимает, потому что хозяйство у нас сейчас в шесть раз больше, чем было тогда, когда мы все передали ему.

Не знаю, хотел ли дедушка еще что-нибудь рассказать или уже закончил, но в это время вернулись с ужина родители его внучат и бабушка. Малышка Эржи уже сладко спала на коленях деда. Сестренка Катица взяла ее и уложила в кроватку. А Пети спросил, что принесли ему от ужина. Работники тоже пошли спать: Панни на кухню, Фери в конюшню. Когда они вышли из комнаты, Ферко взял Панни за руку и спросил ее шепотом:

— Панника моя, скажи по правде, если б мне забрили лоб, как нашему хозяину в молодости, ждала бы ты меня так же верно четыре года, как наша хозяйка? Только не ври, Панни, от души говори.

— Ждала бы тебя, Фери, правда, — ответила девушка. — Ждала бы не только четыре года, но до самой смерти.

— Милая моя, хорошая Панника! — проговорил Ферко и, напевая, зашагал в конюшню.

А в горнице дедушка сказал сыну и невестке, что к ним попросился на ночлег бедный старый нищий и чтоб ему постелили возле печки. Невестка послушалась его с радостью.

— Да, верно, дедушка, — заговорила вдруг Катица, — а что же случилось с тем злым барчуком, который причинил вам с бабушкой столько горя?

— Не знаю, — ответил старик. — Что-то я не больно расспрашивал о нем.

— А я знаю, что с ним стало, — произнес старый нищий.

— Вы знаете? — спросил хозяин.

— Да, знаю. После смерти отца он промотал все свое состояние на разные непотребные дела и, наконец, дошел до того, что теперь лысый, с непокрытой головой, на костылях, с соломой на ногах вместо сапог стоит перед тобой, горько сожалея о своих проступках, — теперь, когда уже поздно!

С удивлением и шалостью посмотрел дедушка на барина, ставшего нищим калекой, и пробормотал:

— Господи, велика твоя власть и справедливость!

БУЛАНКА И ГНЕДОЙ

Горе тем, кого заклеяла природа! Они одиноки и покинуты, как виселица на краю города; каждый обходит ее из страха или отвращения. В нас укоренился предрассудок, что люди с уродливым либо искалеченным телом злы и душой. Про таких людей мы говорим обычно: «Беги от них прочь, как от пагубы, — они и пагубы зловреднее». Святая истина, что среди тех, с кем природа обошлась, как мачеха, много злых, очень злых людей. Но разве уж так добры все здоровые и красивые? Разве мало среди них дурных людей? И разве уроды, заклеянные природой, впитывают в себя злость с молоком матери? Разве семя зла родилось в то мгновение, когда они были зачаты? Разве для того господь дает их душам такую скверную оболочку, чтоб указать миру: «Это отбросы человечества»? Многие считают, что так оно и есть. Но все, кто так рассуждает, несправедливы и к господу, и к людям и заслуживают наименования глупцов или негодяев. Глупость и подлость! — это они и порождают несправедливость; истина же исходит от умных и честных людей. А потому не будем считать никого злым от рождения. Даже самая темная душа была от рождения чистой, точно так же, как и снег на дороге превращается в грязь лишь тогда, когда он упал на землю и там его уже затоптали ногами. Таков мир! И мы сами повинны в том, что дурные люди стали дурными. Сперва мы топчем их ногами, а потом вопим, что они грязны. Прозови собаку бешеной, она и станет бешеной.

Бедняга Марци! Так же вот случилось и с ним!

И добросердечным же был он существом! Сердце у него было мягкое, словно воск. Но природа заклеила его, а весь мир крикнул: «Каин» — и оттолкнул от себя.

— Ладно же, — решил Марци, — коли вы против меня, то и я против вас.

Но я расскажу по порядку.

Отца Марци звали Даниелем Чигоей, он был сапожным мастером. Смолоду скопил себе порядочное состояние, но однажды ему пришло в голову, что пора уже не только добывать деньги, но и тратить их. Чтобы исполнить свое желание, он счел наилучшим предаться пьянству, решив, что при этом благородном занятии человек хоть и тратит деньги, однако нельзя сказать, что бросает их на ветер, уж скорее он глотает их. Даниель Чигоя был, вероятно, человеком большого ума, ибо пить он научился очень быстро, а ведь это не такое уж легкое дело, — мне, по крайней мере, оно давалось с громадным трудом. Несколько лет кряду я упражнялся в нем с величайшим усердием, пока не достиг кое-какой сноровки. Это было еще в ту пору, когда выпивка считалась удалью. Слава богу, те времена прошли, и я разучился пить, будто и не умел никогда. Бедняги корчмари, мне от души вас жаль, но вместе с тем я от души желаю, чтобы как можно больше людей последовали моему примеру.

Как я уже сказал, Даниель Чигоя был большим мастером выпить. За один год он заставил спиться с круга и старосту и певчего, а уж эти господа как повсюду, так и в деревне, где жил наш Даниель, были первыми героями корчмы. Не прошло и двух лет, как состояние Даниеля вылетело в трубу. Дом его купил хромой скорняк, виноградник достался священнику, и, наконец, дело дошло до того, что и

колодки и весь инструмент перекочевали из мастерской в корчму.

Жена Чигои была добропорядочной женщиной и экономной хозяйкой. Ясно, что новое занятие мужа ей не очень-то пришлось по душе, — одним словом, она вряд ли уговаривала его пить еще больше. Видя, как муж возвращается домой пьяный, горемычная женщина сперва плакала потихоньку и только в крайнем случае ходила жаловаться к соседям. Мужу своему она не смела, а может быть, и не хотела перечить, все надеялась, что он сам возьмется за ум. Ждала она, ждала, и все напрасно. Но вот как-то раз она не выдержала и сказала мужу, что удивлена и недовольна его поведением. Завела она разговор так:

— Милый мой Дани, скажи мне, Христа ради, на что ты время убиваешь? Все пьешь и пьешь, а работать вовсе перестал.

Даниель опешил, выпучил отяжелевшие от хмеля глаза, уперся руками в бока, раскинул ноги пошире, чтобы легче было устоять, и произнес строго и величественно:

— Цыц!

— Нет уж, муженек, — молвила женщина, — раз я начала, то и выложу тебе все, что у меня накопилось в душе. Я и так уж намолчалась.

— Жена, — воскликнул муж в благородном гневе, — и пикнуть не смей?

— Нет, посмею...

— Нет, не смей!..

— А почему же мне не сметь!

— Потому что... потому что я Даниель Чигоя.

— А я жена Даниеля Чигои.

— Не ври, жена.

— Пьяная свинья — вот ты кто!

— Женщина, не грехи против неба; и в священном писании сказано, что господь сотворил землю за шесть дней, а на седьмой прилег отдохнуть, а потому скорей стели постель.

— И не подумаю стелить, пока все не выскажу.

— Что? Ты хочешь все мне высказать? Правду говоришь или шутишь?

— Была мне охота шутить!

— А коли не шутишь, подай мне бритву, и я отрежу тебе язык.

— Хоть отрежь, а я все равно говорить буду.

Тут уж Даниель вовсе рассвирепел. Рассвирепел и заорал:

— Женщина, имя твое — «Молчи»

Он налетел на жену и хотел дать ей оплеуху, но, по счастью, только чепчик сбил с головы. После этого, довольный, бросился на неразобранную постель и вскоре уже пыхтел, как солдатская трубка; а горемычная женщина вышла на кухню и проплакала возле очага всю ночь.

И пошло так каждый божий день.

Муж приходил домой пьяный, жена и корила, и ругала, и ласкала его, ко всему прибегала, лишь бы наставить на путь истинный. А кончалось каждый раз тем, что Даниель давал своей жене изрядную встрепку. Когда же добрая женщина убедилась, наконец, в том, что ее мужа сам чёрт не переломит, она перестала его и ласкать и бранить. Равнодушно молчала, видя, как в полночь муж, шатаясь, вваливался домой. Но тот так привык драться, что и потом, когда жена уже ни добрым, ни худым словом не поминала больше его беспутную жизнь, он все-таки аккуратно отпускал своей многострадальной супруге ежедневную порцию побоев.

Так проходили дни. Хозяйство все оскудевало. И кто же встал однажды на пороге? Нужда! Голодная и оборванная дочь мотовства! Она сроднилась с домом и стала здесь привычной гостьей. Но это бы еще с полбеды. Прибавилось и другое горе. Жена Чигои, которую до сих пор господь обходил своей милостью, заметила, что она в положении, и поняла, что теперь им вскоре придется втроем хлебать из той миски, из которой даже двое не наедались досыта.

— Чтобы нас громом разразило! — проворчал Даниель, узнав о скором прибавлении семейства. — Чтоб нас громом хватило! Теперь жену и тронуть нельзя — невзначай попадешь в ребенка, в башку ему, а он, бедняжка, право, не виноват, что его мать такая... такая...

Наш господин Даниель долго старался подобрать слово, да так и не нашел, хотя и обшарил все уголки своей памяти. Он впал в раздумье, стал размышлять о том, за что он в самом деле обижает жену? Ведь ни в чем она не виновата. И достойный муж признался, что виной всему он сам. «Никогда больше и пальцем не трону своей супруги!» — дал он зарок и остался верен слову, — надолго остался верен, но не навсегда. Как-то раз господина Даниеля обуяла такая жажда, что ему показалось, будто даже крыша над головой — и та пышет жаром. Но в доме уже все пошло прахом, ничего не осталось, все он промотал. Даниель ломал себе голову: откуда взять на выпивку? Горестно взглянул он на небо, увидел солнце и тяжело вздохнул:

— Эх, ежели бы снять это солнце? Я бы его тут же снес своему куму брадобрею и продал заместо медного таза, — ведь тот тазик, что висит у него перед цырюльней, уже прохудился. Что мне делать, как быть? Глотка моя слипается, того и гляди

треснет от сухости. Сто золотых готов я дать за глоток вина. Вернее сказать, за сто золотых не отдал бы я глотка вина. Знать бы, что кровь моя превратится в вино, я бы сразу же в двенадцати местах открыл себе жилы... А там хоть смерть. И почему я не родился бочкой, стоведерной бочкой, до края полной доброго старого вина! О господи, был бы я хоть флягой и за то поблагодарил бы тебя. Только бы вино во мне плескалось. Хоть в стакан бы ты меня превратил, и то бы я непрочь... готов стать даже глиняной миской, которую ставят под кран... Это уж, право, такой пустяк, а я и то согласен, хоть сейчас.

Так размышлял мой господин Даниель Чигоя, и ему уже почти казалось, что вот-вот превратится он в какой-нибудь сосуд с вином. Но, увы, этого не случилось, и только жажда его становилась все нестерпимее. С отчаяния он тарачил глаза в надежде наткнуться на что-нибудь, что можно еще продать или заложить.

Но ничего, ничего не находилось!

По локоть запуская руки в карманы, хотя и знал, что они давным-давно пусты. Но в этот миг он все-таки надеялся, авось, где-то в складках заваялся хоть какой-нибудь банкнот. Какой там банкнот, гроша ломаного и то не было. Голова его поникла и руки упали, будто из них вся сила ушла. Вдруг ему что-то пришло в голову. Он почесал в затылке и звонко щелкнул пальцами.

— Ого! — воскликнул он. — Ого! Есть, есть! Я сшибу замок с двери... все равно он ни к чему, воров нам нечего бояться. Сшибу! Даниель Чигоя, твой ум делает тебе честь!

И он тут же кинулся в комнату, дабы выполнить задуманное. Принялся искать топор, чтоб сбить за-

мок. Запомнил он совсем, что деньги, полученные за топор, давным-давно пропиты. Рылся, рылся повсюду, залез даже в ящик у зеркала, забрался под кровать, стал там шарить в темноте. Шарил, шарил, водил рукой налево, направо и друг наткнулся на что-то мягкое. Выхватил, посмотрел и, задрожав от счастья, прошептал:

— Теперь уж и замок не нужен... Оставлю его напоследок. С меня и этого довольно. Жена пошла к соседям, она и не узнает, что я взял. А ежели со временем и выяснится, то я скажу ей: кричи не кричи, все равно не вернешь. К тому же это ей и так больше не понадобится. Пойдем, дружище Дани!

И он направился к дверям, но вот несчастье из несчастий! Только он открыл дверь, неожиданно входит жена, — во всяком случае Даниель ее не ждал.

— Куда понес? — спросила она, сама не своя от ужаса. — Куда это ты несешь?

— На солнышко, жена, на солнышко, — тут же нашелся Даниель, — сушить повешу, а то, вишь, под кроватью сырость какая, совсем заплесневело.

— На солнышко? Правду говоришь? А не в корчму? Дай-ка сюда, дай сюда, я тебе говорю. Уж это ты из дому не понесешь. В этом платье стояла я перед алтарем, в нем предстану и перед господом богом. Раз уж под венцом была в нем, пусть меня в нем и в гроб положат. Давай его сюда! О господи, что ж я его получше не запрятала. Как же мне было не знать, что ты, беспутный, все как есть обшаришь.

— Жена, коли хочешь мне счастья, пусти.

— Мне-то что, иди, да только платья с собой ни возьмешь.

— Благодарю покорно!

— Покуда я жива, тебе его все равно не видать!

— Жена! Сама ведь знаешь, что мне недолго и при-

казать; хозяин в доме я, а вот не приказываю, только прошу: отдай. Прошу тебя, моя Жофика, честью прошу!

— Не дам!

— Еще раз прошу!

— Не дам!

— В последний раз прошу!

— Не дам, не дам!

— Последний, распоследний раз прошу!

— Напрасно...

— Ну, коли напрасно, так вот тебе!

И он пнул жену ногой в живот так, что она упала без чувств, а сам схватил платье, сунул под мышку и помчался в корчму. Вот уж жизнь пошла, так жизнь! Вино лилось, будто его даром отпускали. Мой господин Даниель решил, что с места не сойдет, покуда не пропьет до последнего гроша все, что выручил за прекрасное подвенечное платье. И слову своему не изменил. Вместе с ним пили напропалую все, кому было не лень. А он только и знал, что подзадоривал своих гостей, хотя те и сами взялись за дело с толком. Когда все карманы и кружки опустели, он, мертвецки пьяный, поплелся домой, во всю глотку распевая песни. Взялся было даже с гиканьем лихо отплясывать, да только место выбрал самое скверное — возле лужи, в которой обычно валялись свиньи: едва он поднял ногу, как тут же и шлепнулся в грязь. Когда ночной сторож заметил его и вытащил из воды, он уже захлебнулся. Сторож приволок его к жене, которая к тому времени родила ребенка. Эту ночь в комнате они провели втроем: мертвый отец, только-только начинающий жить мальчик и едва живая мать.

Вдова похоронила мужа и окрестила ребенка. Назвали его Мартоном. Да, видно, только попу даром

заплатили — мальчику от его имени все равно не было никакого проку. В детстве ребята прозвали его Красным псом, когда же он вырос, вся деревня стала звать его Гнедым, ибо правая щека была у него такая красная, будто ее вымазали кровью. А получилось это от пинка, который дал Даниель Чигоя своей жене.

— Да вон, гляди, возле Гнедого!

— Ну, прямо как Гнедого, боюсь его!

— Хуже Гнедого его ненавижу!

— Да он почти такой же, как Гнедой.

— Иди целуйся с Гнедым!

И так далее и тому подобное...

Так поминали его по разным случаям, и никогда никому не приходило в голову сказать: «Мартон Чигоя!» Все говорили: «Гнедой!»

Жизнь многих людей полна горести и нужды, но все-таки есть пора — детство, когда человек счастлив. И в воспоминаниях своих он радостно улетает к дням детства, как ласточка летит из увядающих осенних краев в цветущие владения юга. А Мартону, бедняжке, даже в детстве не жилось ни на грош лучше, чем позднее. Ребята с ним играть не хотели — либо сами уходили от него, либо его прогоняли... И он плелся домой и плача жаловался матери, что все его терпеть не могут. Что же оставалось матери, чем могла она утешить его? Мать сажала мальчика к себе на колени и плакала вместе с ним.

Когда же Мартон начал ходить в школу, жизнь его стала еще горше. Мальчишки не желали садиться с ним рядом, каждый говорил, что не сядет с этим грязным Красным псом. А если учитель все-таки заставлял, то мальчишки исподтишка щипали, кололи, пинали Мартона, пока он сам от них не убегал. Тогда он садился за последнюю парту и

забивался в угол. Стоило кому-нибудь из мальчишек крикнуть или громко засмеяться, как на сердитый вопрос учителя: «Кто это?» — все отвечали в один голос: «Марци!» Кто бы какую шалость ни подстроил, все валили на Марци, и он получал положенное наказание, хотя ему самому даже в голову не приходило проказничать. Да и разве мог проказничать он, такой чистый, добрый? А как радовалась вся школа, когда несчастного сиротку избивали до синяков. Как хвастались дома дети, что Красному псу, мол, опять влетело по первое число. Конечно, матерям не стоило бы особого труда выбить из голов детей эту злорадную ненависть к несчастному Мартону. Но они, вместо того чтоб направить детей на путь истинный, сами приговаривали: «И поделом уроду!», подливая этим масло в огонь.

После смерти Чигои жена его собрала жалкие остатки имущества и перебралась к своему старшему брату, который был холост и имел свою кузню. Кузнец Янош охотно приютил у себя сестру с сынишкой, ибо сам он был человек состоятельный, а жениться не собирался. По какой причине, — этого никто не знал. Иные, правда, судачили, будто Янош остался холостяком из-за того, что ни одна девушка не соглашалась выйти за него, но это были только сплетни, а на самом деле Янош не сватался ни к одной.

Когда Марци исполнилось двенадцать лет, Янош обратился однажды к сестре:

— Жофи, скажи мне, что ты думаешь делать с парнишкой. В батраки или в кучера отдашь его?

— Нет, не отдам, — ответила мать. — Раз уж отец занимался сапожным ремеслом, так пусть и сын научится какому-нибудь ремеслу.

— Потому-то и завел я с тобой разговор, — сказал кузнец. — Мне и самому этого же хочется. Пусть он выучится кузнечному делу, я дам ему ремесленное свидетельство, а когда состарюсь или помру, то и свою кузню оставлю ему. Несчастный мальчишка! Я хоть и не люблю его, но жалею и хочу обеспечить ему такую жизнь, чтоб он не зависел ни от кого. Ведь все его ненавидят, этак и с голоду можно помереть. А кузнец из него выйдет на славу, он будто для этого и создан. Здоровый, крепкий, прямо силач. А к тому же, если весь запас угля выйдет, он приложит железо к щеке и оно сразу раскалится! Ха-ха-ха!

— Полно, Янош, господь с тобой, — проговорила мать с обидой. — Мало того, его весь мир обижает, так еще и ты насмеяешься над бедняжкой.

— Да будет тебе! От такой шутки башка, небось, не треснет!

Уж и по этому можно было судить, что кузнец Янош был из тех людей, которые любят брать проценты за свои добрые дела. А ведь от этого и сами добрые дела сильно падают в цене.

В тот же день Мартона взяли из школы и вместо книги сунули ему в руку молот. Мальчик очень обрадовался этому, ведь он знал, что, сколько бы ни учился, священника из него все равно не выйдет. К тому же он избавился от незаслуженных побоев и непрерывных насмешек своих товарищей по школе. Ученик кузнеца вышел из него что надо! Только теперь, возле наковальни, узнал он свою силу. «Эх знал бы я, какая у меня сила, — подумал он, — так, бьюсь об заклад, никто бы меня не тронул!» И он так колотил молотком по железу, будто это были головы обижавших его ребят.

Ребята вообще любят кузницу, часами торчат возле нее, слушают, как сопят мехи, стучат молоты; разинув рты, смотрят на раскаленное железо, которое после каждого удара обдает кузницу огненным дождем, словно изрыгает свой гнев в отместку за жестокое с ним обращение. Но к кузнице Яноша ребята собирались не только из-за этого, а больше ради того, чтобы подразнить и обидеть Марци.

— Ребята, гляньте, гляньте-ка, — сказал один из них, увидев черного, грязного Марци, — смотрите, Красный пес в чёрта превратился.

— Вон каким красавцем стал, лучше прежнего! — крикнул в ответ другой.

— Его и сажа не берет, — бросил третий, — даже из-под нее светится красная рожа.

— Убирайтесь, а то как бы не пожалели, что пришли сюда! — заорал Мартон.

Но добрые советы доброго парня были словно об стену горох — ребята всё не унимались. Наконец Мартон совсем потерял терпение и швырнул в них клещами, которые были у него в руках, и клещи наверняка переломились бы пополам, не окажись они крепче ног, о которые ударились. А тут сломалась нога, да так, что обладатель ее хромает и поныне.

Долго ребята не смели подходить к кузнице — боялись за свои ноги. Но все же и этот урок был забыт, насмешки посыпались снова. Однажды Марци наколачивал обод на колесо; мальчишки окружили его и стали кричать ему под руку то одно, то другое.

— Замолчите вы или нет? — уже который раз спрашивал Мартон, но, заметив, что все предостережения напрасны, схватил раскаленное железо и сунул его в лицо одному из мальчишек — у того сразу вытек глаз.

— А теперь уходи с богом, — сказал Мартон. —

Клеймо на тебе есть, хоть заблудись, все равно найдут.

С того дня никто больше трогать не смел его.

Так Марци провел шесть лет; все сторонились его и он сторонился всех. В будние дни он был занят в кузнице, а по воскресеньям, хотя и был свободен, никуда, кроме как в церковь, не ходил. Да и в церковь заглядывал только тогда, когда вся деревня была уже в сборе и он мог пробраться незамеченным. Он забивался в уголок, и как только проповедь кончалась, сразу же выскакивал, чтоб быть уже дома, когда народ повалит из церкви. А после обеда, когда остальные ученики-ремесленники играли за церковью в мяч или еще во что-нибудь, он забирался к матери в комнату и там до самого вечера читал ей вслух библию. Правда, это чтение не доставляло Марци особого удовольствия, но ради матери он готов был поскучать. Ведь она, только она одна на всем свете любила его, да и он не сказал ей ни разу грубого слова.

Наконец прошли шесть лет обучения, и восемнадцатилетний Мартон получил ремесленное свидетельство — стал подмастерьем. Это знаменательное событие в жизни мастера подобно коронации престолонаследника, после которой принца начинают величать королем. Напоминает оно и реквизицию крестьянского коня для армии; конь, тащивший до этого плуг или телегу с навозом, гарцует теперь под блестящим гусаром. Нечто похожее случается и с учеником, когда он становится подмастерьем, — в это время он испытывает гораздо большую радость, чем тогда, когда из подмастерья становится мастером. И Мартон Чигоя был исполнен весьма приятного чувства, какое охватывает обычно в такую пору сердца.

«Ну, — решил он про себя, — теперь я уже совсем другой человек. Теперь я, слава тебе, господи, не ребенок, а юноша, не ученик, а подмастерье. И, слава богу, могу уверенно вступить в жизнь, — ведь если б даже кто и хотел задеть меня, все равно не посмеет. Сейчас я уже не тот несчастный, беспомощный мальчик, к тому же меня, верно, и забыли совсем, забыли, что мучили меня, презирали, ненавидели. Нынче уж никому больше и в голову не придет эдак поступать».

Так размышлял смиренный Мартон, но, увы, ошибался. Никто его не забыл и не боялся дразнить по-прежнему. Более того, все деревенские парни только и ждали, чтобы снова он появился среди них. «Вот будет потеха-то!» — толковали они меж собой.

И вправду вышла потеха.

Потешаться над Мартоном начали при первой же встрече. А произошла эта встреча в корчме, как раз в воскресный день. Народу собралось уйма. Одни парни выпивали, другие танцевали — веселились все. Танцующие не заметили даже, когда вошел Мартон. А он сел в конце стола и попросил себе вина. Сосед окликнул его с великим удивлением:

— Да ты откуда же взялся? Неужто и впрямь это ты? Я бы даже не поверил, когда б твоей рожи не увидал.

Такое приветствие пришлось, конечно, Мартону не по душе, но он смолчал; стерпел и то, что остальные встретили эту грубость веселым хохотом. Вскоре и другой начал подсмеиваться над ним, потом и третий, и постепенно в эти издевательства втянулись все сидевшие за столом.

— Ты правой-то щекой отвернись, а то как бы вино мое не рассердилось, что твоя щека краснее его.

— Да вы только посмотрите, как заглядывается на него цимбалист. Ему, должно быть, мартоновской кожи себе на брюки захотелось.

— И дорого б я дал, чтоб конь мой был такого ярко-гнедого цвета.

— А и на самом деле, ему под стать быть гнедым конем.

— Ну, сущий гнедой.

— Ха-ха-ха!

Так зубоскалили парни, и с тех пор за Мартоном закрепилась кличка «Гнедой». Когда же все поговорили и посмеялись вдосталь, Мартон сказал им скорее с грустью, чем сердито:

— Господи боже, да зачем же вы обижаете того, кто вас не трогает! Ведь за шесть лет пришел я к вам впервые! Можно ли так встречать человека? Вот что я вам скажу, ребята, будемте добрыми друзьями. Я изгоню из своей души всякую обиду, какую вы нанесли мне в детстве и сейчас опять наносите. А вас прошу только об одном: оставьте меня в покое. Я хочу стать вашим братом, почему же вы не хотите стать моими братьями? Разве я не такой же человек, как и вы?

— Конечно, не такой, — воскликнул сосед.

— Да ты и на человека-то не похож, — ответил другой. — Такого уроду, как ты, я бы себе даже в собаки не взял, не то что в братья.

— Подлые вы твари, — ответил им Мартон спокойно. — Любви моей не принимаете, так вот вам мое презрение. Ненависти вы недостойны.

С тем он покинул их и пошел к танцующим. Там его встретили не лучше, но он не обращал внимания на насмешки, — притворился, будто ничего не видит и не слышит. Подошел к первой попавшейся девушке и пригласил ее танцевать, но она ответила прямо,

что танцевать с ним не будет. Обратился к другой, девушка не ответила, а только выбежала вон. Подошел к третьей... к Юльче Биро, первой красавице на деревне. И Юльча ничуть не смутилась, она вышла и станцевала с ним, как будто он был первым парнем на селе. Как приятно было это бедняжке Мартону! Да и могло ли быть по-иному? Все люди издевались над ним, все девушки отворачивались, а вот самая красивая девушка пустилась с ним в пляс, да при этом еще весело улыбалась. Никогда в жизни не испытывал Мартон такого счастья... а если сказать по правде — он испытал его впервые. Поздно вечером, по окончании танцев, он пошел домой такой радостный, каким может быть только полководец, одержавший победу. А наступившая ночь была, пожалуй, даже радостнее вечера. Мартону привиделся прекрасный сон, даже ему самому показался этот сон чересчур прекрасным. Ему приснилось, будто Юльча Биро, прекрасная Юльча, первая красавица в деревне, влюбилась в него и отдала ему руку и сердце. Они шли венчаться в церковь; вся деревня провожала их, и в глазах людей можно было прочесть одно: «Да неужто же красавица Юльча и взаправду любит этого уroda и станет его женой?» А Мартон продолжал свой путь к церкви, ему хотелось сказать удивленному народу: «А вот и любит, а вот и выйдет за меня. Чего рты разинули? Красавица Юльча любит меня, которого вы все презираете и ненавидите. Она любит меня и будет моей женой, и мы будем счастливы до самой смерти».

Проснувшись спозаранок, Мартон подумал:

«Гм... Этот сон не иначе, как знак господен. Наяву я ни за что бы не посмел зайти так далеко. Правда, вечером, перед тем, как заснуть, я думал о Юльче, но любовь и женитьба мне даже в голову

не приходили. Кто знает? Кто знает?.. О боже, боже милостивый, если б сон мой оказался вещим, если б Юлишка полюбила и пошла бы за меня. Кто тогда на всем свете был бы счастливее тебя, Мартона, которого высмеивает, ненавидит, преследует весь мир?»

И с той поры у Мартона на уме была только Юльча Биро. Поутру он просыпался с мыслью о ней, вечером его убаюкивала та же дума. В нем пробудилась такая любовь, о которой кузнечный подмастерье и сам мечтать не смел. Во время работы в мастерской он вздыхал, как кузнечный мех, раздувающий огонь; когда же раскаленное железо искрилось под его молотом, он вспоминал о своем сердце, которое было горячее этого железа, и думал: «Если б так ударили по моему сердцу, оно бы еще пуще искрилось, но из него высекались бы не огненные искры, а алмазы, и все эти алмазы я подарил бы Юльче». День-деньской ждал добряк эту милую, красивую девушку! Все выглядывал: не проходит ли она мимо кузницы. А когда случайно видел, то радостно приветствовал ее, и девушка всегда отвечала ласковым словом и улыбкой. Потом Мартон целый день ходил именинником, будто ему за каждый заказ платили по золотому. Однажды Юльча принесла починить кадушку, на которой обручи уже едва держались. И починил же Мартон эту кадушку, так починил, что она, верно, и поныне цела.

Каждый воскресный вечер Мартон неизменно приходил в корчму. Парни не переставали издеваться, потешаться над ним. Но какое ему было дело до них! В корчме была и Юльча, а она не издевалась, не потешалась, встречала его приветливо и охотно с ним танцевала, когда бы он ее ни пригласил. Одно только корбило Мартона досмерти,

когда парни дразнили его девушкой, по прозвищу Буланка.

У крестьянина Леринца Пато были три дочери, самую старшую из них — Шари — и прозвали Буланкой, так как ее волосы, брови и ресницы были под один цвет — под цвет кендыря. В детстве ее дразнили морской свинкой за то, что она была бело-брысой, с красноватыми глазами. Кличку Буланки она получила тогда, когда Мартона прозвали Гнедым. Правда, Шари не преследовали, не высмеивали, как краснощекого кузнеца, но все-таки она страдала больше него, так как девушки острее чувствуют обиду, а кроме того, природа ее наградила, вернее сказать — покарала чувствительным сердцем. Бедняжка Шари! Услышит, бывало, свое прозвище и плачет с утра до вечера. Она хорошо знала, что некрасива, но это бы не огорчало бедняжку, если бы только люди оставили ее в покое. Шари сторонилась девушек-подруг, сторонилась всего мира. Когда она была на людях, ей становилось грустно, и она шла на погост к мертвецам: там ей хоть и нечему было радоваться, зато никто ее не обижал. Кладбище было окружено диким кустарником, среди могильных холмиков вздымались высокие акации. Как только у Шари выдавался свободный часок, она уходила под сень акаций и, примостившись там на могилке давно умершей матери, что-то напевала, плела венки из желтых весенних цветов и, вешая их на могильный крест матери, думала:

«Почему этот венок не мое сердце? Тогда оно завяло бы на третий день. О, как это было бы хорошо! Увядай, увядай, мое сердце, все равно ты никому не нужно! А ведь как могла бы я любить, как любила бы...»

Тут она прерывала свои мысли, не смея признаться даже себе самой в том, кого бы она могла полюбить. Она снова запевала песню, чтобы думать о другом или вовсе ни о чем не думать. Если в такое время мимо кладбища проходили люди, они говорили друг другу:

— Слышишь, как ухает сова? Слышишь, Буланка поет? Состарится, ведьмой станет, вот погляди! Она для того и ходит все время на погост, чтобы там у мертвых старух научиться их ведьмачьему ремеслу. Горе тебе, наше бедное село! Будет у нас кровавое молоко, народятся и младенцы уроды.

Так беседовали между собой прохожие и усердно крестились.

Тем временем обе сестры Шари вышли замуж. Девушки они были пригожие, да и отец отдавал их не с пустыми руками. Одна Шари осталась дома со стариком Леринцем Пато. Веселья в доме, таить нечего, было мало, — старик был неразговорчив, а если что и говорил, так все больше ворчал или бранился. Пришел, правда, один паренек посвататься к Шари, но девушка отказала ему.

— Вы не меня хотите взять в жены, — сказала она, — а отцовское состояние, потому и не пойду я за вас. Мила я вам не была никогда, это я знаю хорошо. А горя я и без того уже достаточно видела. Зачем же мне еще? Господь с вами!

Так отказала Шари жениху, но была у нее на это еще и другая причина. Шари любила! Но любила втайне и даже себе самой не смела признаться, кого она любит. Кто же был ее любимым, вернее — кого любила она? Я скажу. Ведь она бы все равно не призналась в этом ни за что на свете. Шари любила Мартона Чигюю... Буланка полюбила Гнедого. И как горячо! Когда он проходил мимо, она готова

была целовать пыль на дороге, но которой он ступал. Шари знала, чувствовала, была убеждена, что Марци не плохой, даже очень хороший человек, а кроме того, ей было, жалко, что все над ним смеются. Добрая девушка! Когда она видела или слышала, как издеваются над Марци, она совсем забывала о том, что с ней обходятся так же. Иногда у нее возникало странное предчувствие, что этот парень полюбит ее, женится на ней, и они будут еще счастливы. Ведь они так подходят друг к другу — оба клейменные.

Бедная Шари, бедная девочка, если б ты только знала, как ненавидел тебя Марци, которого ты так любила!

Да, Марци с каждым днем все больше и больше ненавидел Буланку, ибо с каждым днем его все больше дразнили ею. Любой подлец старался вострить о них свой тупой язык. Врозь их даже не поминали, всегда говорили о них заодно и всегда с насмешкой. И как разгоралась ненависть Марци к Шари, так же разгоралась его любовь к красивой Юльче Биро. Юльча была с ним неизменно приветлива и разговорчива, тогда как остальные девушки боязливо отворачивались или грубили ему.

Двадцать два года исполнилось Марци, когда умер его дядя, оставив ему в наследство кузницу. Марци стал мастером. Хотя он и не любил дядю, однако был ему признателен как своему единственному благодетелю. Но теперь, преисполненный надежд на счастливую любовь, он не в силах был удержаться от радостного чувства, что дядя помер. С великой радостью прикрепил он к шляпе траурную ленту, а когда кончился траур, первой его мыслью было сделать предложение Юльче Биро. Он размышлял о том, кого пригласить в сваты, но в их

краях знакомых у него не было, да и в деревне не было близких людей. А поэтому он решил, что по-сватается сам. Как это и положено, он нарядился в доломан, с серебряными пуговицами, однако сбросил его, решив, что лучше будет на первый раз вести разговор с девушкой запросто. Марци не любил, да и не знал церемоний.

Под вечер, в кожаном фартуке и в рубахе с засученными рукавами, чтоб никто и не подумал, зачем он идет, Марци поплелся к дому Юльчи. По небу плыли темные тучи, тень густой мглой окутывала деревню, но изредка выглядывала полная луна, и тогда все озарялось, словно внезапно наступил рассвет; затем снова становилось темно. Так же было и на душе Марци. То и дело в ней сумрак сменялся светом — в мгновение ока надежда умирала, потом воскресала вновь... В деревне стояла тишина, только издали слышался жалобный голос, казалось — будто пенье доносится из-под земли... Это Буланка пела на погосте.

Юльча Биро сидела перед своим домом на скамейке под шелковицей и играла на домре. Марци тихо подкрался к ней, пожелал доброго вечера, а она сказала в ответ: «Добро пожаловать!» После этого оба замолкли, и девушка снова принялась играть. Наконец игра ей наскучила, и она окликнула парня, который сидел молча возле нее:

— Мартон! Что же вы ничего не скажете?

— А что мне говорить? — спросил он.

— Что-нибудь, а то сидите как истукан и слова не молвите.

— Я слушаю твою песню.

— Нашел что слушать, ведь я и играть-то не умею, да и домра у меня плохая.

— Что ты, Юльча, и играть ты мастерица, и домра у тебя хорошая. Играй, играй, ведь тебя приятнее слушать, чем даже скрипку Гажи Дюнде, а Гажи и вправду бог создал для музыки. Такой цыган, что ему другого под пару и не сыщешь. Играй же, бог тебя благослови!

— Поиграла, и будет! Теперь черед за вами. Говорите, Мартон.

— Кабы я мог, я бы говорил.

— Кабы могли? Да ведь иной раз вы столько наговорите, что и не знаешь, как конца дождаться.

— Иной раз — да, а теперь — нет!

— А почему теперь нет?

— Потому что у меня что-то на душе лежит.

— А что?

— Не спрашивай, голубка. Это очень серьезное дело!

— Уж не беда ли у вас какая-нибудь стряслась?

— Нет у меня беды, а впрочем, может, и есть. И есть, и нет, это еще как знать.

— А вы расскажите, Мартон.

— Рассказать? Мне и самому хотелось бы рассказать, да не знаю, как начать.

— А вы продолжайте, коль начать не можете.

— Эх, легко тебе, Юльча, шутки шутить. Будь ты на моем месте, ты бы больше моего попотела.

— Да что же это такое?

— Отгадай.

— Я не отгадчица.

— Ну, тогда я сам скажу, хотя, как подумаю об этом, так у меня, ей-богу, мурашки по спине... Да все равно, рано или поздно это должно случиться... Так вот... значит... ну, будто я за раскаленное железо должен схватиться. Да нет... Лучше его схватить... Раскаленное железо... голыми ру-

ками... чем... чем... Но ты ведь, Юлишка, хорошая девушка, и я выложу тебе все, что лежит у меня на душе.

— Да говорите же наконец. А то крутите нивесть что. Давно бы уж и рассказали.

— Это верно, Юльча, верно. Видишь, какой я дурень. Давно бы мог перевалить, да вот даже до горы не добрался. Больно уж это щекотливо... Эх, была не была. Ведь все равно, чему быть, тому не миновать. И все-таки на самую середину я никак не прыгну, лучше уж поплыву потихоньку от берега. Да ты слушаешь ли?

— Чего ж мне слушать?

— Так слушай, Юльча, потому что самое главное, чтобы ты слушала; иначе я бы только зря болтал, а зря болтать стыдно.

— Говорю ж я, что слушаю. Было бы что...

— Ну, все дело в том, что... Эх, чёрт побери, до чего эта шелковица быстро поспела; намедни я на всем дереве ни одной красной ягоды не видал, а теперь уже все черные.

— И для этого надо было такой огород городить?

— Да нет же! Это мне так, в голову пришло, когда я вздохнул и взглянул на небо, как Кадар, о котором написано, что «поднял Кадар глаза к небу». Но это сюда не относится.

— А вы зачем все о том толкуете, что сюда не относится, говорите, наконец, о том, что относится сюда.

— Стой, стой, я уже дошел. Так вот: скончался мой дядя, упокой, господи, душу его, и оставил мне в наследство кузницу. Теперь я в ней мастером. Но в наследство от дяди осталась не только кузница, а и дом, такой дом, что в нем и его преподобию жить было бы не зазорно. Кроме дома, осталась мне и пашня, и луг, и виноградник. Все это вместе, как я

считаю, неплохое состояние. На него и вдвоем можно прожить, правда, Юльча? Как ты скажешь?

— Прожить можно, и даже неплохо.

— Вот видишь, и я так же говорю. И думаю про себя так: зачем мне жить одному, когда можно и вдвоем жить. И решил я жениться. Невесту выбрал себе, вот только пошла бы она за меня. Отгадай, Юльча, кого я выбрал?

— Говорю же вам, что я не отгадчица.

— Постой, расскажу тебе, какая она, — тогда уж, наверное, отгадаешь. Красивая, добрая девушка. Но так ты не угадаешь... Еще больше скажу: самая красивая и добрая девушка на свете... Ну, теперь-то угадаешь?

— Даже не знаю, о ком и подумать, я ведь так мало девушек знаю...

— Ее ты знаешь хорошо. Ну?..

— Бог ее знает, кто такая?

— Да, вижу я, что с тобой толку не добьешься. Так скажу тебе, Юльча, ясно... что эта девушка — ты.

— Я?

— Ты!

— Ха-ха-ха!

— Ты что смеешься, Юльча?

— Ха-ха-ха!

— Не смейся, а то я сейчас заплачу.

— Но как же тут не смеяться. Ей-богу, никак нельзя! Ха-ха-ха!

— Надо мной смеешься?

— Не над собой же. Признайтесь, Мартон, что вы пошутили.

— Пусть я ума лишусь, коли пошутил.

— Вот этого, Мартон, я никогда от вас не ожидала.

— Чего?

— А чтоб вы ко мне посватались.

— Почему ж не ожидали?

— Вы еще спрашиваете? Или никогда в зеркало не гляделись?

— Ах, вот оно что! Вот оно что! Ха-ха-ха! Ну, Юльча, пусть тебя господь всемогущий покарает, да так, как только может он покарать человека. Вот чего желаю я тебе от чистого сердца.

— Спасибо на добром слове, Мартон, сердечное спасибо! Хорошо же вы отблагодарили за мою любовь и ласку...

— Вот за нее, как раз за нее, за то, что ты одурачила меня. Ты лучше делала бы так же, как остальные: сторонила бы меня! А то все приветливо да ласково, чтоб только на крючок заманить, чтоб сердце вырвать мое. Вот вы, девушки, какие! И не потому ты была обходительной, будто жалела, что все меня ненавидят, презирают, тебе просто приятно было нравиться мне! Потому что ты спесива, спесивей всех девушек. А я-то, дурень, слепец, не замечал, что вся твоя ласка только спесь одна, не думал, что когда-нибудь ты еще посмеешься надо мной. А по этому повторяю, пусть господь накажет тебя!

— А я еще раз сердечно благодарю вас, хозяин Мартон, за ваше благословение. А впрочем, не отчаивайтесь, что мне вы не нужны. В деревне девушек много, вот Буланка, например; к ней и посватайтесь, она вам будет как раз под стать.

Юльча все это высказала насмешливо, потом вбежала во двор и заперла за собой калитку. С горя, отчаяния и стыда Мартон Чигоя рвал на себе волосы, чуть ума не лишился. Наконец он собрался с силами и решил, что глупо отчаиваться из-за какой-то негодной девчонки. Он громко рассмеялся, пошел

домой и уснул... спать-то он, положим, не спал всю ночь, метался так, что под ним чуть не рухнула кровать. Но Мартон все силился заснуть.

Марци по своей природе был крепким человеком. Этим был он обязан и тому, что так быстро излечился от своей любви к Юльче. Другой бы на его месте, быть может, даже помер. Работая в кузнице, он частенько думал о том, что хорошо бы положить на наковальню вместо раскаленного железа собственную голову и ударить по ней изо всей силы, так, чтоб разлетелись мозги. Но за несколько дней эти мрачные мысли улетучились, и он окончательно выздоровел. Юльчу забыл, вспоминалась она ему, словно дурной хмель, от которого он протрезвел. Но одно он решил твердо: к людям он больше не пойдет. Да и к чему? Теперь они еще больше будут насмехаться над ним, чем прежде. А позднее ему пришло в голову, что это было бы трусостью с его стороны: чего доброго подумают, будто он и показаться не смеет. А он посмеет все, что ни захочет. Поэтому в первый же воскресный вечер Мартон завернул в корчму.

Едва он вошел, как раздался смех парней и обидные слова так и посыпались на него:

— Добро пожаловать, братец Мартон! Когда же свадьба?

— Надеюсь, у тебя хватит совести и меня пригласить?

— Первый танец с твоей невестой протанцую я!

— Счастливый Марци, какая же у него будет красавица жена!

— Видно, захотелось тебе, Марци, красивую девушку?

— Ничего, за это тебя чёрт возьмет.

— Ну, а если женишься на Юльче Биро, что же будет с Буланкой?

— Бедняжка Буланка помрет с тоски по тебе!

— Ха-ха-ха!

Так хохотали и потешались парни над Марци, а он выслушал все это спокойно и молча. Когда шум утих, Марци спросил только:

— Кончили?

— Нет еще! — ответил один из парней.

— Тогда кончайте, — сказал Марци, — а не то я начну.

— Говори, говори! — закричали все.

— Я хочу только сказать, что с меня довольно этих шуток, наслушался я их вдоволь на всю свою жизнь.

— Гм... Грозится еще! Слышите? — сказал один из парней. — Марци грозитя, а вы не убегаеете? Корчмарь, двери нараспашку, бежим!

— И как можно скорее уходите, — ответил Мартон, — а то, землячок, может случиться, что бежать захочешь, а дверей не найдешь.

— Ну да?

— Вот увидишь... Положим, что не увидишь, — я вышибу тебе глаза это бутылкой, что стоит перед тобой.

— Да неужто же?

— Да, да, братец, черт тебя побери! А теперь я приказываю тебе — не лай, даже твякнуть не смей.

— Ты мне приказываешь? Да если б даже правая твоя щека была такая же красная, как левая...

— Смотри, как бы и твоя не стала такой же! — крикнул Мартон и так хватил противника бутылкой по физиономии, что у того и ртом и носом хлынула кровь. Тот в ярости вскочил с места и огрел Мартона палкой по голове. Но Мартов принял удар так, будто муха села ему на голову. Он схватил парня за горло и задушил бы его враз, если б другие не

вырвали противника у него из рук. Тут все набросились на Марци, кто спереди, кто сзади, кто справа, кто слева, но Марци стряхнул их с себя, как взбесившийся бык стряхивает собак мясника. Одного за другим хватал он за шиворот и выбрасывал из трактира, словно дохлых овец. Когда же выбросил всех, то остановился на пороге и, выхватив складной нож, сказал:

— Сейчас я вышвырнул вас живыми. Но так и знайте, если кто-нибудь из вас посмеет еще раз зайти сюда сегодня, то вылетит мертвым.

А сам повернул обратно, попросил вина и стал пить. Парни долго совещались меж собой на улице и, наконец, порешили войти и напасть на Марци. Но ни один из них не захотел войти первым, каждый говорил: «Иди ты первым, а я за тобой!» И до тех пор ободряли они друг друга, покуда не разошлись, выкрикивая при этом свирепые угрозы.

Марци до самого вечера победоносно накачивался вином и так напился, что даже на шаг перед собой ничего не различал. После долгих попыток ему удалось кое-как встать на ноги, и он направился домой. Когда он вышел из дверей, уже совсем стемнело, и только он свернул направо в проулок, как откуда-то выскочили трое парней и один из них крикнул:

— Вон он, не жалей, хоть бы и отцом тебе был, все равно убей.

Все трое стукнули Марци по затылку, и он рухнул на землю. Потом нападавшие впридачу еще несколько раз ударили его по голове и убежали, так что и след их простыл. Как раз в ту пору возвращалась домой с кладбища Буланка. Она первая заметила Марци, лежащего окровавленным в пыли. Бедняжка, как увидела его, и сама чуть не упала замертво рядом. Опомнившись, она побежала к

ближайшему колодцу, сорвала ведро и помчалась к Марци, который лежал без чувств. Девушка стала лить на него воду, обмывать его. Смыла кровь с лица, и он начал приходить в себя. Глаза его раскрылись, он проворчал:

— Ну и собачий же сон приснился мне.

— А не приснилось ли вам, что вас сбили с ног? — спросила Буланка.

— Да что-то вроде этого, — ответил Мартон.

— А это вам вовсе и не приснилось, так и было на самом деле. Кто же вас избил-то?

— Не знаю. А тебе что здесь надо?

— Я отхаживала вас, Мартон. Ведь никто не знает, что вы здесь и что с вами такая беда случилась. Я шла мимо и увидела. Не могла же я пройти и оставить вас без всякой помощи.

— Ну ладно, а теперь можешь уходить.

— А вы сами дойдете?

— Тебе-то что? Иди с богом, глаза бы мои на тебя не смотрели.

— Почему же, Мартон?

— Ступай!

Тут Шари горько, горько зарыдала. Марци пожалел, что так грубо обошелся с бедняжкой, а так как сам не мог подняться, то проговорил мягче:

— Не плачь, видишь, я еще не в себе. Сам не знаю, что говорю. Прошу тебя, подойди и подними меня.

Шари подошла и с великим трудом приподняла его.

— Спасибо, — сказал Мартон, — спасибо! Но, видно, одному мне до дому не дойти. Может быть, ты проводишь меня?

— Отчего же не проводить, с радостью провожу! — ответила девушка, правой рукой обняла его за

талию и медленно, заботливо, словно родная мать, довела до дому. В дверях Мартон поблагодарил девушку, сказал, что если ей понадобится что-нибудь, пусть приходит, он в долгу не останется. И как же счастлива была Шари!

Марци настолько ослабел, что ему пришлось пролежать несколько дней. Буланке не раз хотелось пойти узнать, как ему можется, но каждый раз она возвращалась с полпути, не знала, под каким предлогом навестить больного. А ведь как хотелось ей узнать, лучше ли ему, не опасны ли его раны. День и ночь один Мартон был у нее в голове и даже во сне являлся. Во сне она видела его всегда здоровым и радовалась этому. А иногда видела и смертельно больным, — тогда добрая девушка печалилась и плакала. Наконец Мартон поправился и встал с постели. Когда он впервые вышел из дому во двор, в деревне шло свадебное гулянье — скакали кони, украшенные лентами, и играла музыка. Марци выглянул из калитки, но, быстро захлопнув ее, заторопился в дом. Он увидел упряжку и телегу, а в несущейся телеге невесту — невестой была Юльча Биро. Она выходила замуж в соседнее село за самого красивого парня.

— Будь счастлива с ним, — пробормотал Мартон, — будь счастлива! Желаю тебе от души счастья, хоть и обманула ты меня. Но это хорошо, что ее увозят из нашего села. Тяжело было бы мне каждый день видеть ее. А так со временем забуду.

И Марци позабыл, но не только о Юльче, а и обо всем на свете. В корчму он больше не ходил и вовсе не потому, что трусил. Он-то ведь уж доказал, что как войдет в раж, так один стоит всех парней в деревне. «Трусы! Не посмели в открытую напасть, только из-за угла, да и то когда я был пьяным.

С таким народом даже связываться стыдно», — так думал Марци и перестал ходить в корчму. Жизнь свою он проводил частью в кузнице, частью в доме с матерью, которая вела его хозяйство. К ним никто не заходил, кроме Буланки. Шари, бог ее знает под каким предлогом, все же забрела однажды. И мать Марци пригласила ее навещать их почаще; девушка, конечно, охотно согласилась. И на душе у ней стало легче, теперь она хоть видала парня, которого так любила. Шари заходила к ним и в будни и по воскресеньям. Поначалу Марци избегал девушку, никак не мог привыкнуть к ней. Потом стал встречать ее равнодушно, под конец принимал охотнее и даже радовался, когда она приходила. Он совсем перестал замечать странную внешность Буланки: ведь уродливой ее никак нельзя было назвать. К тому же она оказалась таким милым и добрым созданием, какое не часто встретишь в жизни.

Юльчу Биро Мартон видел всего только один раз, и то через несколько месяцев после ее свадьбы. Да в каком виде! Хоть она и обошлась с ним жестоко, он пожалел ее. В соседнем селе, куда повезли Юльчу после свадьбы, стояли военные, молодлица влюбилась в какого-то капрала и, когда часть расквартировали в другом месте, ушла за ним. Муж помчался за ней и силой привел обратно неверную жену. Тогда-то и увидел Мартон свою прежнюю возлюбленную, красавицу Юльчи. Муж, сидя верхом на коне, гнал ее перед собой через всю деревню и стегал длинным пастушьим кнутом. Плача, рыдая, шла красивая молодлица впереди коня, а стыд и удары кнута терзали ее с одинаковой силой.

«Горемычная ты! Разве не лучше было бы стать моей женой? — подумал Мартон. — А все-таки лучше, что ты пошла не за меня. Мне бы ты тем

более изменила, а я, быть может, еще злее наказал бы тебя. А впрочем, жаль несчастное создание».

Прошел год, два, три... прошли они без радостей, без печалей, тихо, однообразно. За это время парни все переженались, девушки повыходили замуж. И только Гнедой да Буланка жили по-прежнему. Марци даже в голову не приходило жениться, и тем более жениться на Шари. А девушка, как и раньше, любила Марци, но высказать свою любовь не смела. Однажды в воскресенье после обеда Шари пришла в гости к Чигоям. Старуха была у соседей, а Марци сидел в натопленной комнате, покуривал трубку и размышлял, а может, вовсе и не размышлял, а просто следил за кольцами дыма.

— Добрый день, сестренка, — приветствовал парень вошедшую девушку.

— Дай бог и вам счастья, Мартон, — ответила девушка. — Тетеньки нет дома?

— Нет, голубушка, матери надоело все со мной да со мной сидеть, она заглянула к соседям. И правильно, пусть погуляет.

— Что ж, будьте здоровы!

— А ты, сестренка, не уходи, или тебе тоже скучно со мной?

— Нет, не скучно...

— Так останься, присядь, поговорим. Мне как раз побеседовать охота.

— А ведь это с вами редко бывает.

— Что верно, то верно. Я не охотник до разговоров.

— Да и я тоже больше охотница молчать.

Оба они замолкли и сидели некоторое время молча. Шари теребила кончик своего фартука, а Марци уминал указательным пальцем табак в трубке. Наконец девушка заговорила:

— Расскажите что-нибудь, Мартон. Сами же сказали, что вам охота пришла побеседовать.

— Это верно. Но человек как-то нескладно устроен: когда ему больше всего беседовать охота, ничего путного в голову не лезет. Но постой, постой... Ты почему замуж не выходишь? Вот на что ты мне ответь.

— Так!

— Ведь к тебе уже не один сватался, правда ?

— Не один, да только никто из них мне не нужен.

— Почему?

— Я ведь знала, что ни один из них меня не любит.

— А если б к тебе присватался такой, который любит, пошла бы за него?

— Пошла бы.

— А если б я посватался?

— Да ведь вы, Мартой, не любите меня!

— Ну, допустим, что люблю, тогда пошла бы?

— Пошла бы.

— А я ведь тоже женился бы только на той, которая любит меня.

— Я люблю вас, Мартон, — произнесла Шари, но так тихо, что Мартон не расслышал, или прикинулся, будто не слышал, и спросил:

— Что ты сказала?

— Я люблю вас, — ответила Шари громче, но вся дрожа.

— Правда?

— Я бы не сказала, коли это была бы неправда.

— А с каких пор?

— Очень давно...

— Милая моя Шари, — воскликнул Мартон, — так ты на самом деле любишь меня? И ты полюбила Гнедого, над которым все смеются, издеваются?

— А надо мной разве нет? Разве меня не прозвали Буланкой?

— Иди сюда, голубка моя, садись ко мне на колени. Дай я тебя обниму и поцелую. Ты первая и последняя девушка, которую я целую, и если ты не станешь моей женой, то уж никто на свете на станет.

Шари, рыдая, упала ему на грудь, и в этот миг Гнедой и Буланка были счастливей самых прекрасных обитателей страны фей. Тут вернулась домой мать Марци. Она застала их в объятиях друг друга, и сердце ее чуть не разорвалось от радости. Добрая старуха давно мечтала, чтобы сын ее женился на Шари, но высказать свое желание она не смела, боясь оскорбить Марци. На масленице Гнедой и Буланка обвенчались. Вот уж когда пошли кругом судачить! Но новобрачным и дела не было до этой трескотни. «Пусть болтают, что хотят», — думали они и жили себе припеваючи, как Адам с Евой в первые дни творения. А в деревне ждали только одного: какие страшные дети родятся от их брака. Но надежды эти улетучились, как дым, — у Буланки и Гнедого были самые прекрасные во всей деревне белокурые и черноволосые детишки.

СТАТЪИ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОЛНОМУ СОБРАНИЮ СТИХОТВОРЕНИЙ

Нынче у меня праздник. Сегодня, 1 января 1847 года, мне исполнилось 24 года, я достиг совершеннолетия. У меня вошло в привычку в день Нового года (тем более, что он является и днем моего рождения) перебирать в памяти весь истекший год; по сегодня я представил себе не только этот год, а и всю мою жизнь, весь мой писательский путь. Выть может, будет не лишним, если я, в виде предисловия к Полному собранию стихотворений, подготавливаемому мною сейчас к печати, изложу свои размышления о том периоде моей жизни, когда я впервые вступил в общение со своими уважаемыми читателями; а изложу я их с той искренностью, которую не приемлет лицемерный мир. Но ведь это для меня не препятствие. Вместо десяти друзей, купленных лицемерием, я предпочитаю приобрести искренностью сотню врагов. О! Искренность в моих глазах — великое достоинство, так как меня одарил ею мой ангел: он постелил ее простынкой в мою колыбель, и я унесу ее саваном с собой в могилу...

* * *

В нашей литературе еще ни о ком мнение критиков и читателей столь сильно не расходилось, как обо мне. Большая часть публики решительно стоит за меня, большинство критиков — решительно против меня. И раньше и сейчас я долго размышлял: кто же прав? И раньше и сейчас я пришел к выводу, что права публика. Публика! Я понимаю под этим читателя, а не театральную публику: между читате-

лем и зрителем существует большая разница... Итак, я говорю, что читающая публика может заблуждаться, пренебречь кем-нибудь по той или иной причине, но если она кого-нибудь удостоила вниманием и полюбила, то пусть и не в полной мере, но такой человек, бесспорно, заслужил ее любовь, — если, конечно, это не ошибка целой эпохи, а нынешняя эпоха едва ли так ошибается.

Признаюсь, год назад мне было очень не по себе от того, что критики предавали меня анафеме (они сами называли так свои суждения). Они доставили мне немало горестных часов. Но сейчас, слава богу, я уже излечился от этого недомогания и добродушно улыбаюсь, когда вижу, как эти новые титаны силятся одолеть меня то Оссой, от Пелионом. Более того, каждому из них кажется, что он Юпитер, что от взмаха его ресниц содрогается Олимп. Однако эти юпитерчики могут помахивать даже всеми своими космами, а Олимп все-таки остается недвижимым.

Но почему же ведется против меня эта война не на жизнь, а на смерть? Потому, поверь мне, уважаемый читатель, что они хотят одного: уничтожить меня. И я знаю почему! Но публика не знает, и благодаря мне не узнает никогда. Я мог бы перечислить все те гнусные причины, которые побуждают их выступать против меня на поле брани, напялив на голову шлем чистойшей доброжелательности; но я не сорву с их головы этот шлем, чтобы читателя не охватило отвращение при виде мерзких морд, ухмыляющихся под блестящими воинскими головными уборами. Да и вообще, какое мне дело до отдельных личностей и до того, почему они заявляют то или иное? Я буду говорить только об их словах, об их утверждениях. И тут у меня возни-

кают некоторые замечания, поскольку их нападки частью злобны, а частью лживы.

Я не стану защищать чести своей поэзии. Если мои стихи нуждаются в защите, то ведь все равно защищать их было бы тщетно. Если же они не нуждаются в этом, то защищать их излишне... а кроме того, я искренен и у меня есть чувство собственного достоинства, но чтобы я был нескромен... Нет, это я отрицаю. Итак, я упомяну только о четырех обвинениях, которые чаще всего предъявляют мне, а именно: что в моих стихах плохие рифмы, неправильные размеры, что они неуравновешены и что они подлы.

Эти господа не имеют никакого представления о характере венгерских рифм и размеров. Они ищут в венгерских стихотворениях латинскую метрику и немецкие каденции, а в моих стихах этого нет! Это верно! Я и не хотел, чтобы они были. Венгерские размеры и рифмы еще точно не установлены. Только теперь их будут (если, конечно, будут) определять и устанавливать, поэтому и я точно о них ничего не знаю, но уже догадываюсь о многом... мной руководит инстинкт. И как раз в тех местах, относительно которых меня обвиняют в величайшем пренебрежении к рифмам и размерам, — может быть, именно в них и приближаюсь я более всего к совершенству — к подлинно венгерской стихотворной форме.

Что же касается подлости в моих стихах, то торжественно предупреждаю всех: это низкая клевета. Я смело заявляю перед судом своей совести, что не знаю ни одного человека, который чувствовал и мыслил бы честнее меня, я всегда писал и пишу так, как чувствовал и думал. Мне всегда тяжело было слышать это обвинение, так как несправедливость

его я ощущал больше всего. Если я в некоторых случаях и по некоторым поводам и выражаюсь свободнее других, то делаю это потому, что считаю поэзию не аристократическим салоном, куда являются только напомаженными и в блестящих сапогах, а считаю, что поэзия — храм, в который можно войти в лаптях и даже босиком.

Наконец о том, что я не уравновешен. Это, к сожалению, правда, но это и не удивительно. Не наградил меня господь такой судьбой, чтобы мог я прогуливаться в прелестных рощицах, переплетая свои песни о тихом счастье и тихих горестях с трелями соловья, шелестом ветвей и журчаньем ручья. Моя жизнь протекала на поле битвы, на поле боя страданий и страстей. Моя полубезумная муза, как заколдованная принцесса, которую стерегут на необитаемом острове в океане чудовища и дикие звери, поет среди трупов былых прекрасных дней, предсмертного хрипа казнимых надежд, насмешливого хохота несбывшихся грез и шипенья злобных фурий разочарования... Да, кроме того, что в этой неуравновешенности виноват не только я, виноват и наш век. Все нации, все семьи, более того — все люди разочарованы. Со времени средневековья человечество очень выросло, а до сих пор носит средневековые одежды, правда, кое-где залатанные и расставленные, и все-таки оно желает переменить одежду: старая уже узка, теснит человечеству грудь, в ней трудно дышать, а потому стыдно человечеству, будучи уже юношей, все еще ходить в детском платье. Так прозябает человечество в позоре и нищете; внешне оно покойно, только бледнее обычного, но тем больше оно волнуется внутри, как вулкан, близкий к извержению. Таков наш век. Могу ли я быть иным, я — верный сын своего века?!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР

13 февраля. Бенефис Габора Эгреша. «Ричард III» Шекспира.

Я не знаю душевного свойства ничтожнее себялюбия, а есть ли на свете народ себялюбивее и, следовательно, ничтожнее англичан? Этот народ не признает ни бога, ни человека, он почитает только собственный карман. И карман его — это ось, на которой вращается Земля и даже вся Вселенная. Этот народ — живое воплощение таблицы умножения, воплощение изначального прозаизма... и подумать только, ведь ему принадлежат величайшие поэты, ему принадлежит *Шекспир*. Кто вершит делами мира? Какой-нибудь обезумевший рок или неисповедимое в своей мудрости провидение? Кто бы ни был этот мастер, но мне, человеку со слабым зрением, не могущему прозреть ни морскую глубину, ни глубину мистерий, управляющих миром, мне, способному различить в лучшем случае лишь что-то на несколько футов под водой, — мне, скажу я, очень досадно, что именно этот народ признает своим достоянием Шекспира. Так как я венгерец, то мне хотелось бы, конечно, чтобы он был венгерцем; но раз уж он не венгерец, то пусть был бы лучше французом. Да, французом, и никем иным! Другой народ не достоин Шекспира!

Вы тщетно чешете языки, тщетно судачите о французах, — они при всех своих недостатках достойнее любви и уважения, чем любая нация при всех своих достоинствах. Это относится особенно к вам, *немцы!* Скажу вам только одно: представ перед ликом господним, французы будут милее даже в

своем будничном платье, чем вы в блестящем праздничном одеянии, ибо они действовали и действуют, и если даже не действуют, то все равно их сердца бьются во имя блага человечества. А вы ищете только собственное благо, а подчас даже этого нет. «Honneur aux enfants de la France!» * — говорит Беранже, и вслед за ним повторяет каждый честный человек.

Но о чем, бишь, я начал? Да, о Шекспире.

Шекспир! Превратись это имя в гору — она будет выше Гималаев; в море превратись это имя — и будет оно глубже и шире Атлантического океана; превратись это имя в звезду — и засияет она ярче солнца. Быть может, в давние времена природа отдала какой-то великий дух в рост, а проценты ежегодно прибавляла к капиталу, и вот в течение тысячелетий натопилась такая несметная сумма, что небо иод ее тяжестью рухнуло, и этот невиданный духовный клад упал в Стрэтфорд, в английский город, в домишко торговца шерстью, как раз в тот миг, когда у этого смиренного малого родился сын по имени Вильям, сразу вдохнувший в себя то, что упало на него с небес. Можно сказать еще многое, что покажется смешным преувеличением, хотя это далеко не так. Шекспир один составляет половину всего сущего! До него мир был несовершенен, и когда бог его сотворил, то сказал: «Вот, люди, если вы до сих пор сомневались в моем существовании, больше не сомневайтесь ни в моем существовании, ни в моем величии!» Ни до, ни после него — будь то птица или человеческий дух — не взлетал никто так высоко, как Шекспир. Он поднял жемчужины, таившиеся в глубине сердец, он с исполинского дерева

* «Честь сынам Франции!» (франц.).

воображения сорвал самые недостижимые цветы! Он разграбил все красоты природы. Только то, что захотелось ему оставить, или то, что он не считал для себя достойным, берем мы теперь! Нет порыва страсти, нет характера, которых он не воплотил бы, и в таких красках, какие не потеряют своей свежести и не поблекнут никогда! Ему досталась в наследство та кисть, которой мировой дух сделал землю яркоцветной, звезды сверкающими, небо синим, чтоб и через тысячи лет они оставались столь же прекрасными, какими были тысячелетия назад.

«Ричард III», в целом, не принадлежит к самым замечательным творениям Шекспира, по сравнению с остальными он односторонен и сух... в каждом действии, почти в каждом явлении, проклятие и смерть... Фабула не так интересна, как, скажем, в «Ромео и Джульетте», и нет в нем таких страстей, как в «Отелло» и в «Лире»; но по изображению характеров это произведение — одно из самых поразительных и стоит в одном ряду с Кориоланом и Фальстафом.

Ричард III — лоза, отягощенная злодеяниями. Он не колеблется и не опускается постепенно; не случайно попадает он на дурной путь, а сразу решается стать негодяем, и делает это так хладнокровно, как другой, скажем, надевает или снимает пальто. Цель его — власть, и для него неважно, каков путь, ведущий к ней, он видит только цель и к ней идет так жизнерадостно, так весело, будто шагает не по трупам, а по благоухающим цветам. Это веселье, эта жизнерадостность, этот юмор страшнее нахмуренных бровей, искромечущих глаз, скрежета зубовного. Это — улыбка моря, которое, тихо зыблясь, играет с солнечными лучами, меж тем как по нему блуждают обломки разбитых кораблей. Но в пьесе

есть одна сцена, великолепнее и смелее которой не найдешь даже у самого Шекспира; другой взяться за написание такой сцены мог бы только с отчаяния или в припадке безумия; только при безграничной, всемогущей силе Шекспира оказалось это возможным. Я имею в виду сцену у гроба в первом действии.

Супруга провожает мертвого мужа к могиле. Ричард останавливает траурную процессию и тут же обручается с вдовой. Ричард — неуклюж, хром, горбат, уродлив лицом; Ричард — убийца этого человека, и все-таки он добился того, что вдова еще не похороненного мужа обручилась с ним. Та самая женщина, которая только что была в отчаянии от смерти мужа, которая знает, что мужа ее убил Ричард, которая призывает все проклятия на голову убийцы и хочет даже заколоть его. Ричард протягивает ей собственный кинжал, говоря: «Убей меня!» Женщина заносит кинжал. Ричард ее подбадривает: «Убей меня. Я убил твоего мужа...» Женщина сейчас заколет его. «Убей меня, — говорит Ричард, — я убил твоего мужа потому, что ты красива и я тебя люблю!» Кинжал падает из рук женщины, и она принимает кольцо от Ричарда. Равной этой поразительной сцене не существует. Сам Шекспир написал ее, вероятно, в состоянии опьянения, с трезвой головой даже он не посмел бы за нее взяться.

Габор Эгреша создал такой образ Ричарда III, какой мы ждали от него, какой мы могли ждать только от него. Нет нужды определять место Эгреша среди венгерских актеров, — это хоть и не сразу, но, слава богу, определила сама публика, и не стоит говорить о нескольких проходимцах, которые до сих пор не признают за ним первенства. Они похожи на

людей, оставших от обращенной в бегство армии. Бегут, расстреливают свои патроны и не для того, чтобы попасть в неприятеля, а для того, чтобы, освободившись от лишней тяжести, еще легче было бежать.

Я скажу, какая разница между Эгреши и другими нашими первоклассными актерами: все они превосходны, или, *mea rase* *, превосходны каждый в своем роде, а Эгреши создал непревзойденное и прекрасное во всех родах. Мерой величия в искусстве так же, как и в поэзии, является многогранность. Потому-то в драме Шекспир величественней Мольера, и в лирике Вёрёшмарти значительнее Виктора Гюго, потому-то Эгреши и превосходит в актерском искусстве всех своих товарищей. Каждый из них представляет собой отдельный инструмент, а он являет собой целый оркестр.

Ричард III — один из самых удачных, незабвенных образов, созданных Габором Эгреши. Уже одно лицо его следовало бы изваять из мрамора, чтобы запечатлеть на веки веков. Это страшное лицо с крохотными, ухмыляющимися глазками, большим жадным ртом. Глаза эти манят человека, словно заколдованные цветы, и рот заглывает его потом, как бездонный омут. А взгляд — взгляд удава; он до тех пор улещает птичку, покуда та сама не влезает в его змеиную пасть. Явись тебе такое лицо во сне — проснувшись, ты ощутишь, что вся кровь в тебе застыла. И это только от одного лица, одной безмолвной улыбки. А что за нечеловеческие звуки издает Эгреши, когда смеется: кажется, будто ржавая дверь скрипит или тигр прочищает свою глотку, которая пересохла и жаждет крови. Говорит он

* На мой взгляд (*лат.*).

отрывисто, резко, точно каждое слово выбрасывает по отдельности, точно остриями игл плюет в глаза собеседника.

Меня больше всего занимало, как удастся Эгрешита сцена в последнем акте, когда Ричард пробуждается после появления духов; я боялся, что Эгрешита начнет кричать в этом монологе и таким образом, хотя это и будет несправедливо, сорвет дешевые аплодисменты публики. Но опасения мои оказались напрасными, тем более, что Эгрешита вообще не имеет привычки приносить искусство в жертву рукоплесканиям. Вскочив с кровати, он упал, прополз несколько шагов, схватился за стул, будто это было живое существо, способное защитить его. И так, почти лежа, произнес он, вернее прошептал, монолог, — дыхание его при этом то и дело прерывалось. Как отраднo было видеть впавшим в отчаяние, растерзанным, валяющимся на полу, дрожащим и жалким, точно раздавленная змея, этого чудовищного негодяя, попиравшего прежде чужие головы. И тем более было поразительно, когда уже на грани отчаяния удалось ему возвыситься и решиться лететь в битву. «Если жизнь его была столь отвратительна, так пусть хоть смерть будет героической и примиряющей», — так задумал Шекспир и так передал это Габор Эгрешита.

Что касается сбора, он был таковым, что ни Петрик, ни Ресслер не могли бы пожелать себе большего даже в свой бенефис. Народу было немного, но это была избранная публика. Ничего не поделаешь, Шекспир требует культуры, и притом не салонной. Будем ли мы благодарить Эгрешита за то, что, зная все эти обстоятельства, он снова избрал для своего бенефиса шекспировскую пьесу? И удовольствуется ли и сам Эгрешита одной только благодарно-

стью от имени поэзии, искусства, какой бы горячей она ни была? Впрочем, хватит об этом, так оно будет лучше! Мы уже и без того достаточно говорили ему: «Вот тебе кукиш, что хочешь, то и купишь». Но ведь за все слова благодарности, произнесенные в мире, нельзя купить даже ремня для брюк, на котором можно было бы повеситься в минуту отчаяния.

ДНЕВНИКИ

«СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА ШАНДОРА ПЕТЁФИ»

Пешт, 15 марта 1848 года.

Печать свободна!

Если б я убедился, что родине больше не нужен, то взял бы саблю, обмакнул ее в кровь сердца своего и, умирая, алой кровью начертал бы эти слова, чтоб алые буквы сияли здесь рассветными лучами свободы.

Сейчас родилась венгерская свобода, так как сейчас сбросила с себя оковы печать... Неужто есть еще такие глупцы, которые воображают, что нация может быть свободна без свободы печати?

Привет тебе, венгерская свобода, в день твоего рождения! И первым приветствую тебя я, молившийся и ратовавший за тебя. Я приветствую тебя, и радость моя столь же высока, сколь глубока была моя боль, когда тебя у нас не было!

О свобода наша, сладостная милая новорожденная, да будет долгой твоя жизнь на земле! Живи — покуда жив венгерец; если последний отпрыск нашей нации умрет, опустишь на него саваном... а если тебя первой постигнет смерть, увлеку за собой в могилу всю нацию, — жить без тебя будет позорно, умереть же с тобой — высокая честь!

Этими словами я приветствую тебя, и пусть они станут тебе напутствием в жизни. Будь счастлива!.. Не могу пожелать, чтоб на пути твоём не встретились опасности, — вечно спокойная жизнь есть не что иное, как полусмерть, но пусть у тебя всегда

достанет мужества торжествовать над бедствиями.

Уже поздний вечер. Доброй ночи, прекрасный младенец! Ты прекрасен, прекрасней всех своих собратьев у нас, ибо не в крови ты выкупался, как они; ты омыт чистыми слезами радости. И не холодные окоченевшие трупы были подушками в твоей колыбели, а горячие, трепетные сердца Доброй ночи!.. Если я усну, явись мне во сне таким, каким ты, надеюсь, станешь в дни возмужалости, — могучим, блистающим, и мир будет чтить тебя.

Пешт, 17 марта 1848 года.

Вот уже многие годы моим единственным чтением, утренней и вечерней молитвой, хлебом насущным стала история французских революций, это новое евангелие мира, в котором второй спаситель человечества — свобода — изрекает свои глаголы. Каждое слово, каждую букву его я начертал в своем сердце, и в нем ожили мертвые знаки, — им, обретшим жизнь, стало тесно. Бушевать и реветь начали они во мне!

Я должен был бы в кратер вулкана обмакнуть свое перо, чтобы описать эти дни, терзания этих дней.

Я ждал грядущего, ждал того мгновения, когда вольнолюбивые мысли и чувства, узники моего сердца, покинут свою тюрьму, место их терзаний... я ждал этого мгновения, я не только надеялся, я твердо верил, что оно придет. Свидетели тому стихи, которые я пишу уже больше года. Не умствование, а то пророческое вдохновение, — или, если хотите, животный инстинкт, которым богат поэт, — дало мне возможность ясно понять, что Европа с каж-

дым днем приближается к прекрасному, насильственному потрясению. Об этом я не раз писал и еще больше говорил. Никто не верил моим пророчествам, многие высмеивали меня, называли мечтательным глупцом, но во мне жила вера, и я был в том же состоянии, как звери перед землетрясением или затмением солнца.

Нашу политическую жизнь я либо созерцал изда-лека, либо вовсе не уделял ей внимания, поэтому одни обвиняли меня в односторонности, другие — в преступном равнодушии.

Близорукие! Я знал то, чего не ведали они, — вот почему я жалел этих голосистых крикунов, героев однодневной политики, и улыбался, видя, какую важность они напускают на себя; я знал, что их блестящие деяния и блестящие речи — не что иное, как письма на песке, которые будут сметены первыми дуновениями приближающегося вихря; я знал, что они не те великие актеры, которым суждено на сцене мира разыграть грандиозную драму возрождения, а только декораторы и статисты, задерживающие занавес и выносящие на сцену столы и стулья.

Я замкнулся в себя, как звездочет в своей башне, и с земли бросал взоры на небо — из настоящего в будущее. Нежданно небо низверглось на землю, настоящим грядущее стало... разразилась революция в Италии!

Подобно тому, как волхвы любовались младенцем Иисусом, лежавшим в яслях, с таким же восторгом и вдохновением смотрел я на новый метеор, на это южное сияние, которое даже при рождении своем было величественнее любого северного сияния, — и душа моя предрекла, что это южное сияние обойдет весь мир.

Так и случилось: детство свое оно провело в Италии, затем начались годы странствий, и, возмужав, оно очутилось в Париже, откуда изгнало Луи-Филиппа, как некогда Христос изгнал из Иерусалимского храма торгующих в нем.

О, что это был за день, когда я услышал, что Луи-Филипп изгнан и Франция — республика!

Я путешествовал по далеким от Пешта краям, и эта весть, настигнув меня в какой-то гостинице, потрясла мое сердце, мозг, душу, нервы.

«Vive la république!» * — воскликнул я и замер в безмолвии, пылая, как огненный столп.

Когда сознание вернулось ко мне, меня охватило тревожное чувство. «Лозунг провозглашен, — думал я, — кто знает, что случилось или может случиться, куда я вернусь домой. Чтоб революция да началась бы без меня? Ха!»

Опрометью бросился я в столицу... Дрожа, задыхаясь, вернулся домой.

Восторг был всеобщим, но еще ничего не произошло.

И я вздохнул глубоко, как водолаз, поднимающийся со дна моря.

Пламя революции перекинулось в Германию, все шире разгоралось оно, наконец, вспыхнула и Вена, Вена! А мы без усталости восторгались, но были недвижимы. Сейм говорил красиво, но слова, как бы они ни были красивы, остаются только словами, а не делом. 14 марта «Оппозиционный круг» созвал собрание в Пеште, которое по издавна сложившемуся обычаю, ни к чему не привело. На этом собрании было предложено обратиться к королю с петицией, содержащей «12 пунктов», да притом немедлен-

* «Да здравствует республика!» (франц.).

но, — но тогда процветал судейский дух, и пошла такая канитель, что дело завершилось бы, может быть, когда-нибудь в XX веке. Впрочем, хорошо, что так случилось! Какое убожество просить, когда знамение времени — требовать; пора подходить к трону не с бумагой, а с саблей в руке. Властители никогда ничего не отдают добровольно, — то, что нам нужно, следует брать силой!

Я не присутствовал на собрании «Оппозиционного круга». Но в тот же вечер Йокаи рассказал мне о результатах его, вернее об отсутствии их; он был глубоко огорчен и подавлен. Выслушав его, огорчился и я, но не пал духом.

Большую часть ночи я бодрствовал вместе с женой, моей обожаемой, отважной маленькой вдохновительницей, которая всегда ободряет меня, идет впереди моих мыслей и планов, как высоко поднятое знамя впереди армии. Мы совещались: что делать? Совершенно ясно было одно: надо действовать. И завтра же! Послезавтра, быть может, уже будет поздно.

Логически первым шагом революции, первой ее обязанностью является освобождение печати!.. Это мы сделаем! В остальном я положусь на бога и на тех, кто призван продолжать начатое мною. Я призван дать только первый толчок. Завтра мы должны завоевать свободу печати! А если нас расстреляют? Ну, что ж! Кто может желать лучшей смерти?

С этой мыслью я заснул. Рано утром поспешил в кофейню, где собиралась молодежь. По пути встретил Пала Вашвари, сказал ему, чтоб он пошел к Йокаи и пусть они вместе дожидаются меня. В кофейне собралось несколько молодых людей, они печально беседовали о политике. Дюлу Буйовски,

бывшего среди них, я пригласил к Йокаи, остальным сказал, чтобы всех, кто будет приходить, задержали до нашего возвращения.

Придя домой, я рассказал о своих намерениях немедленно освободить печать. Товарищи согласились. Буйовски и Йокаи начали составлять воззвание; Вашвари и я ходили по комнате. Вашвари размахивал моей тростью, не зная, что в ней штык; вдруг штык, никого из нас не задев, вылетел прямо по направлению к Вене.

— Хорошая примета! — вскричали мы в один голос.

Когда воззвание было готово и мы уже собрались в путь, я спросил, какой сегодня день.

— Среда! — ответил кто-то.

— Счастливый день! — сказал я. — В среду я женился!

Полные восторга и веры в судьбу, пошли мы снова в кофейню, где уже было полно молодежи. Йокаи прочел вслух воззвание, я продекламировал свою «Национальную песню». И то и другое было встречено гулом одобрения.

(«Национальную песню» я написал за два дня до 15 марта, на случай праздника, которое хотела устроить молодежь 13 марта и которое, ввиду последующих событий, оказалось уже ненужным. Пока я за одним столом писал «Национальную песню», за другим столом моя жена мастерила себе национальный головной убор.)

В кофейне мы приняли решение обойти всю университетскую молодежь, а затем в полную силу приступить к великой работе. Решили прежде всего пойти к медикам. Когда мы вышли на улицу, полил дождь и продолжался до самого позднего вечера, но восторг — как бенгальский огонь: водой его не загасишь.

Во дворе медицинского факультета Йокаи снова прочел воззвание, а я «Национальную песню». Оттуда двинулись к инженерам, в семинарий к юристам; с каждой минутой росли шеренги и рос восторг. В вестибюле семинария перед нами предстал один профессор и произнес с великим пафосом:

— Господа, именем закона...

Дальнейшую его речь заглушили громовые крики множества людей, и почтенный профессор, не имея возможности продолжать, убрался восвояси. Юристы ринулись на улицу, чтобы присоединиться к нам. Один из них — Видач — сообщил, что профессора под страхом исключения запретили им принимать участие в предполагающемся празднестве. Смех и сердитые возгласы среди слушателей. Но вопрос о празднестве теперь был уже не столь важен. Йокаи снова огласил воззвание и «12 пунктов»; меня заставили продекламировать «Национальную песню». То и другое было встречено с неистовым восторгом. Толпа, запрудившая площадь, каждый раз, точно эхо, отвечала на слова припева: «Клянемся!»

— А теперь идем к цензору, заставим его подписать воззвание и «Национальную песню»! — крикнул кто-то.

— К цензору не пойдем! — ответил я. — Никаких цензоров мы больше знать не хотим! Идем прямо в типографию!

Все тотчас согласились и последовали за мной.

Печатня Ландерера была ближе всего, туда мы и устремились. Йокаи, Вашвари, Видача и меня уполномочили занять типографию. Мы это и сделали от имени народа. «12 пунктов» и «Национальная песня» сразу же пошли в набор. В это время Габор Эгреш, Дэгре, Вашвари, Йокаи и другие произно-

силы на улице вдохновенные речи. К полудню листовки были готовы и тысячами стали распространяться среди народа, который расхватывал их, хмелея от радости. К трем часам пополудни мы объявили, что на Музейной площади будет собрание, и толпа рассеялась.

Несмотря на ливень, десять тысяч человек собрались перед музеем; оттуда, по общему решению, направились к городской ратуше, чтобы граждане могли присоединиться к требованию «12 пунктов» и примкнуть к нам. Зал заседаний открылся и впервые наполнился народом. После короткого совещания бургомистр от имени граждан подписал «12 пунктов». Он показал их толпе, ожидавшей внизу под окнами. Народ приветствовал их с восторгом... Вдруг разнесся слух: «Идут войска!» Я оглянулся вокруг, чтобы проверить людей, но не увидел ни одного испуганного лица. Из всех уст вырвался крик: «Оружия! Оружия!»

Весть о войсках — впрочем, необоснованная — подействовала на толпу так возбуждающе, что Пал Няри и Клаузаль говорили больше часу, хотя из их речей мы улавливали только обрывки фраз.

— На Буду, на Буду!.. К наместническому совету! Откроем двери тюрьмы, освободим Танчича! На Буду! — кричали люди.

Эти возгласы раздавались в толпе чаще других. Наконец выбрали депутацию, которая должна была пойти в Буду и призвать наместнический совет к немедленному уничтожению цензуры, освобождению Танчича, изданию приказа, согласно которому войска не должны вмешиваться в наши дела. Членами депутации были Шамуель Эгреси, Мате Дюркович, Даниель Ирани, Йожеф Ирени, Лайош Качкович, Габор Клаузаль, Дёрдь Молнар, Пал Няри,

Шандор Петёфи, Леопольд Роттенбиллер, Иштван Штаффенбергер, Гашпар Тот, Пал Вашвари.

Депутация, сопровождаемая по меньшей мере двадцатью тысячами человек, поднялась в Буду к наместническому совету и заявила о своих требованиях. Члены всемилостивейшего наместнического совета побледнели и соизволили задрожать. После пятиминутного совещания совет согласился на все. Войскам был дан приказ не вмешиваться, цензура была отменена, двери тюрьмы, где был заключен Танчич, отворились, неисчислимая толпа подхватила писателя-узника и, торжествуя, понесла его в Пешт.

Это произошло 15 марта. По своим результатам день этот останется навеки знаменательным в венгерской истории. Если бы этими событиями дело и ограничилось, тут не было бы ничего необычайного, но как начало это было прекрасно, доблестно. Ребенку труднее сделать первые шаги, чем взрослому человеку пройти долгие мили.

Пешт, 20 марта 1848 года.

Единство, царившее везде в столице, начинает распадаться.

Граждане-немцы, это вы подорвали его! Я обвиняю вас перед лицом нации и потомства: пусть они вас судят!

Вы первые заявили, что не допустите евреев в Национальную гвардию, и, таким образом, первые загрязнили девственно чистое знамя Пятнадцатого марта! Разве вы позабыли наш девиз? Разве вы не кричали вместе с нами: свобода, равенство, братство? Да! Вы кричали вместе с нами, и теперь мы

уже видим, что кричали не из любви к истине, а из трусости!

Теперь вы перестали бояться? Напрасно! Не прошло, а только еще настало время возмездия и кары!

Можете ли вы ожидать справедливости к себе, если вы к другим несправедливы?

Почему травите вы евреев? Как вы смеее травить их здесь, у нас? Пролили вы хоть каплю своей крови на эту землю, когда мы отвоевывали или защищали ее? Нет! Вы — проходимцы! Едва ли среди вас найдутся люди, которые могли бы доказать, что деды их хотя бы умерли здесь, а тем менее, что они здесь родились. Когда вы пришли — вы были тощими, как буква «і». Теперь вы стали круглыми, как «о»... Так пусть у вас достанет столько чести, чтобы вы, хоть и не любя нацию, на земле которой разжирили, по крайней мере не пачкали ее!

Печальнее всего то, что нет такого омерзительного дела, которое не нашло бы своих сторонников, своих апостолов. Апостолами этой вопиющей по несправедливости травли евреев стали несколько лжеадвокатов, повсюду выступающих против евреев. А про тех, кто подымает свой голос за истину, у этих презренных лжепророков хватает наглости кричать, что они подкуплены евреями. О ничтожества! Они не знают, или не хотят знать, что есть люди почестнее их, — не рабы своих грязных личных интересов, а друзья чистой истины и гуманности.

Пешт, 24 марта 1848 года.

Сейм отменил крепостные повинности. Очень хорошо с его стороны, но было бы еще лучше, если

б он это сделал раньше. Тогда дворянство могло бы счесть себя великодушным, но теперь, когда оно действовало под давлением крайней необходимости, трусости, — теперь оно не может претендовать на такое наименование. До почтенных милостивых, и не знаю еще каких, депутатов сейма дошел слух, что Шандор Петёфи расположился в Ракоше, и не один, а с ним сорок тысяч крестьян. Вот эта приятная неожиданность и побудила их к «великодушному», немедленному уничтожению крепостных повинностей. Что касается слуха, то он был необоснованным, но если бы уважаемые господа не опомнились вовремя, то могу заверить от имени Шандора Петёфи, что эти необоснованные слухи вскорости приобрели бы и основание и кровлю, стали бы истинной снизу доверху, быть может, с тою только разницей, что не сорок, а восемьдесят или еще больше тысяч крестьян собралось бы в Ракоше! А впрочем, лучше, что случилось именно так! Гораздо лучше! Хвала богу, он спас меня от этой страшной славы! И я не в упрек сказал все это дворянству, к которому принадлежал и сам, — я только имею смелость довести до сведения господ дворян, что нечего им кичиться великодушием. Почет, уважение — пусть! Но истина прежде всего!

Пешт, 1 апреля 1848 года.

Его императорское, королевское, апостольское величество после двухнедельного выжидания и оттяжек милостиво соизволило сдержать свое слово... Ответственное независимое венгерское министерство уже существует.

В Пеште революционный подъем достиг вершины, из провинции к нашим идеям и действиям присо-

единились ежедневно новые и новые сторонники. И при таком положении мы ожидали две недели, чтобы король сдержал свое слово. От этого наше национальное достоинство разрыдалось и сказало: «Позор нам!..» Да, позор, но этот позор не относится к молодежи. Только бы мирные, кроткие Лафайеты не совались к нам, а предоставили дело тем, которые осмелились взяться за него, тогда нашей славе не был бы нанесен ущерб!... Кровь, быть может, и пролилась бы... Но вы что же, без кровопролитий желаете переродиться? Дай-то бог, только ничего из этого не выйдет! Земле, чтоб она была плодородной и цветущей, не только дождь, но и кровь временами нужна, и ежели мы вовремя ее не напоим, то позднее она истомится от жажды и потребует вдвое.

Нынче был зачитан в комитатской ратуше королевский декрет о министерстве. Молодежь, а значит и вся революция, осталась очень недовольна им, зато чрезвычайно довольны мирные граждане, и они почти открыто объявляют изменниками родины тех, кто и впредь намерен не успокаиваться. Хорошо же, мы не желаем стать «изменниками родины», мы отступаем и расходимся по домам. Но если при этом королевском декрете вы не сможете добиться должных успехов, то изменниками родины окажетесь вы, окончательно успокоившиеся и задушившие нравственным насилием единственную надежду родины — энтузиазм молодежи.

А теперь разойдемся, юные друзья. На протяжении двух недель кипучей общественной жизни вы действовали так отважно, вели себя так непреклонно, как я мог только желать! Да хранит вас бог! Революции пришел конец... нет, не пришел конец революции, это было только первое действие... До свидания!

Письм, 19 апреля 1848 года.

16 марта, в ознаменование событий, происшедших накануне, вся столица была в огнях... через несколько дней — шествие с факелами в честь Клаузаля, Няри и др. Потом факельные процессии во славу Вешелени, Йожефа Этвеша и других... Затем столица иллюминацией знаменует прибытие Батяни, Кошута, Сечени... Вчера снова иллюминация и различные церемонии в честь наместника. Сколько празднеств за месяц! Берегитесь, как бы за этими блистательными ночами не наступили черные дни.

Признаться, эти мужи заслужили чествования, выпавшие им на долю, но если бы и не заслужили — их все равно чествовали бы. В том-то и печаль. Мы чрезвычайно праздничный народ! Нам вечно праздники нужны, и, если не окажется под рукой человека, ради которого можно устраивать празднества, тогда мы с факелами и танцами выбежим навстречу луне и для нее зажжем иллюминацию. Мы, быть может, потому такие оборванные, что вечно желаем блистать.

Но я верю, хочу верить, что эта слабость, достойная жалости, — принадлежность монархии, а не венгерской нации. Нация же, сбросив монархию, сбросит с себя и эту пустую мишуру, которая опадет, как цветочные лепестки, чтобы дать место плоду. Монархия — опавший цветок, республика — плод. Это так! И поэтому, республиканские идеи мои, я не сомневаюсь в вашей победе.

Я республиканец душой и телом, стал им с тех пор, как мыслю, и останусь им до последнего вздоха. Эта твердость, ни на мгновение не покидавшая меня, вложила в мои юношеские руки посох нищего,

с которым я не расставался годами, она же вкладывает в мои руки зрелого мужа пальму человеческого самосознания. В те времена, когда души покупались и дорого оплачивались, когда виделись в будущем лишь согбенная покорность и унижения, я далеко обходил ярмарки, никому не кланялся, а шел с поднятой головой, голодая и холодая. Быть может, есть лиры и перья красивее и величественнее моих, но более незапятнанных нет: никогда ни одного звука моей лиры, ни одного росчерка моего пера не отдавал я внаем. Я писал то, к чему призвала меня владычица моей души, а ее владычица — свобода! Потомки могут сказать обо мне, что я был плохим поэтом, но они скажут и то, что я был человеком строгой нравственности, одним словом — республиканцем! Ведь главный лозунг республики не «долгой короля», а «безупречная нравственность». Не обломки короны, а неподкупная честность, твердая честь — вот основы республики... Без этого вы можете штурмовать трон, как титаны штурмовали небо, и вас только закидают молниями; а нравственными достоинствами вы побьете монархию не хуже, чем Давид пращой победил Голиафа.

Я республиканец и по исповеданию.

Приверженцы монархии не верят в развитие мирового духа или хотят задержать прогресс, а это — атеизм. Я верю в то, что мировой дух развивается по ступеням, вижу путь, по которому он следует. Он идет медленно, быть может, за сотню, даже за тысячу лет делает один шаг, — да и к чему торопиться? Успеется! Ведь ему принадлежит вечность. Сейчас он снова поднимает ногу, чтобы сделать шаг... От монархии к республике! Что ж, стать поперек дороги, чтоб он взглянул на меня укоризненным взглядом и проклял или уничтожил? Нет! Я пре-

клонюсь перед его величественным ликом и подымусь, благословенный! Я ухвачусь за его святой плащ и пойду по его славным следам!

Пешт, 21 апреля 1848 года.

День страстной пятницы!..

Память моя, перенеси меня на 113 лет назад, перелети через Балканские ледники в Южную Турцию на берег Пропонта, унеси с собой слезу, которая скатилась из моих глаз на твои темные крылья, и урони ее на руку того мужа, который там когда-то окончил свое существование. Это был великий муж, и рука его свята; она освящена саблей свободы, годами сверкавшей в его руке. Как много боролся он, как много боролся! Но безуспешно! Да и можно ли ожидать успеха там, где друг предает, а отчизна бесчувственна? Сабля выпала из его руки, герой превратился в изгнанника, и пока его неверный друг пировал, получив богатую мзду за измену родине, сам он питался подаянием в ссылке. Нынче сто тринадцатая годовщина его смерти, а найдется ли среди просторов родины, среди просторов мира хоть один человек, кроме меня, который бы вспомнил, что нынешний день — день смерти героя?

О Ракоци!..

Пешт, 22 апреля 1848 года.

Как весело! Я ищу в наших новых законах параграф о том, что венгерский солдат должен присягать венгерской конституции. Ищу — и не нахожу! Перечитываю весь свод законов... нет ни звука. Кто ошибся, кто повинен в том, что это выпало?

Впрочем, бог с ним, не велика беда: если бы сейчас начали присягать или присяга была бы уже принесена солдатами, все равно пришлось бы присягать заново, так как скоро у нас будет новая конституция. Пока мы только нашивали на нее заплатки и это было пустым занятием: мы придавали только больше пестроты, но не прочности нашему устаревшему наряду; а нам нужна совсем новая одежда, чтоб мы с честью могли вступить в строй наций, куда нас не зачислили. И мы этот новый наряд получим. В нашей конституции еще очень много несправедливого, но мы живем в такие времена, когда всякая несправедливость редет, как облако, и солнце истины начинает сиять над миром.

Что солдат не приводят к присяге, это бы еще полбеды, значительно хуже то, что их не отзывают на родину. Войска свободной венгерской нации все еще находятся в Италии вместе с палачами свободы. Министерство не предприняло еще в этом отношении ни одного шага, не произнесло ни одного слова. Я слишком ценю министерство, чтобы бездействие это объяснять отсутствием патриотизма. Если министерство верит в нацию, пусть выступит от ее имени с полной решимостью, а если не верит, то как ж оно посмело взять на себя руководство целой страной, на которую по собственному убеждению не может опереться? Но пусть министерство знает что оно в такой же мере может надеяться на нас, в какой мы уверены в нем; мы его не предадим, не покинем трусливо, пока оно будет нести перед нами знамя счастья и славы нашей родины. Венгерская нация пробудилась, подняла голову с подушки... Какую силу развила она уже в этом движении! Как много можем мы ждать от нее, если она встанет на ноги! Не страшитесь выпустить против

лисиц того гладиатора, который некогда на мировой арене бился со львами и одолел их!

Первейшая обязанность министерства — вернуть наших солдат из Италии. Пока оно этого не сделало — не сделано ничего. Солдаты нужны, — ведь нам угрожают со всех сторон, мы каждый миг должны быть готовы к внешней и внутренней войне. Ни та, ни другая не могут нас уничтожить, — я верю, господа, верю в венгерского бога! Но и та и другая могут нанести нам мучительные раны. А ведь мы и сейчас можем показать столько ран и рубцов, что заслужим наименования героев и мучеников.

Но наших солдат надо вернуть, даже если они нам здесь не нужны. Кровь, которую они проливают на итальянской земле, — это кровь наших сердец, а та кровь, которую они источают из итальянских сердец, это кровь Авеля, взывающая о мести к творцу небесному и призывающая кару на головы венгерцев за то, что они стали в руках лжи орудием против истины. Горе нам!

Когда свобода станет всеми признанным божеством (а не сегодня-завтра это будет!), нации предстанут перед ее алтарем, чтобы принять от нее благословение. Там они будут стоять в снежно-белых одеяниях, но мы не посмеем войти туда, — на наших одеждах черные пятна, пятна позора за итальянскую войну. И скорее Данаиды наполнят бездонную бочку, нежели мы смоем эти пятна.

Мы не можем терять ни мгновения! Каждый день — новое несмываемое пятно. Пусть над этим задумаются министры, пусть знают, что на них падет ответственность, ответственность не только перед настоящим, но и перед будущим, перед историей. История! Если строгая рука этого грозного судьи накинёт темное покрывало позора на их

надгробный камень, то его не в силах будет сорвать даже всемогущая рука господа.

Пешт, 29 апреля 1848 года.

У великого механика Клигля есть новое изобретение. Знаменательное, прекрасное изобретение! Вчера он показал его в Круге. Бесконечно усовершенствованная железная дорога — можно ездить по горам, по долинам, сворачивать направо, налево. Построение ее обошлось бы ровно в половину того, что стоят теперешние дороги, и проездная плата была бы в полцены. Если будут построены все те железные дороги, которые намечено проложить вдоль и поперек Венгрии, то они обойдутся примерно в 160 000 000 пенге; по словам Клигля, все это можно сделать за 80 000 000 пенге. Насколько выгоднее!

Со своим изобретением Клигль направился к министру путей сообщения. Но министр путей сообщения — Иштван Сечени! Достаточно это знать, чтобы последствия были ясны. Сечени ведь даже зубочистки привозит себе из Англии, будучи убежденным, что в таких делах, как техника, венгерец трижды осел. Он и не взглянул на машины Клигля, а вместе с изобретением направил его к кому-то. Но не станем же останавливаться на столь ничтожных недостатках великих людей. Да и не Сечени виноват, а вы сами, господин Клигль, — зачем оказались таким глупцом, что избрали Венгрию местом своего рождения? Если бы вы родились где-нибудь в Бругбридже и если б вас звали как-нибудь вроде Перси Биссе Кроксенброксен, тогда господин Сечени вас принял бы иначе. Если в даль-

нейшем вам вздумается что-либо изобрести, то будьте столь благоразумны и родитесь в Англии, а нет, так поезжайте в наши степи выделывать деревянные дверные ручки и баклаги и не ломайте себе голову над такими ненужностями, на которых у нас вы гроша ломаного не заработаете, а уж тем более, не положите себе в карман.

Ad vocem о кармане!.. Мой карман в сущности пуст, но все-таки не настолько, чтоб я брался за любую службу, если бы ее даже навязали мне, и я тем менее стал бы ее искать, чем больше об этом заботились бы мои благожелатели. Уважаемые мои благожелатели, если вы когда-нибудь услышите, что я поступил на службу (за исключением депутатства в Национальном собрании), знайте, что я дошел уже до последней крайности и вынужден спасать свою семью от голодной смерти.

Вообще эти собаки клеветники сейчас усиленно занимаются мной. Одни пускают слух, что я сошел с ума, другие — что меня хотели арестовать, но я убежал. Вам хотелось бы этого, не правда ли? Знаю! Чтоб я сошел с ума? Заверяю вас, ничего из этого не выйдет. Я сошел бы с ума только в том случае, если бы весь мир стал честным, — тогда не с кем было бы бороться, а борьба и война мне нужны до самой смерти. Борюсь же я только против негодяев. Что же касается второго, то могут, конечно, наступить печальные дни и меня схватят. Но что я сбежал, этого вам не услышать даже в том случае, если сам эшафот, поднятый к небу, указал бы мне путь к бегству. Я боюсь не тюрьмы, не смерти, а собственной отваги... вот ее, ее не смеют оскорбить, ей я подчиняюсь слепо, и она никогда не скажет: «Назад», — она всегда кричит мне: «Вперед!»

А какой-то страж нации из Бесерменя написал ответный стих на мое стихотворение «Королям». Вот это парень! Уж он охранит нацию, берегитесь его! Этот юный титан, вопреки мне, утверждает, что у нас есть «возлюбленный король». Хорошо же, пусть он есть, бог с ним, но если все, кто любит короля, такие ребята, как этот, короли далеко с ними не пойдут! Бедные короли! Теперь я уж в самом деле начинаю вас жалеть, видя, к каким убогим защитникам вынуждены вы прибегнуть. В этом стихотворении меня награждают всяческими наименованиями, самые мягкие из них: «ненавистник отечества, изменник родины!» Стоит ли называть имя этого парнишки, который честит меня так? Нет, не назову его имени. Он вцепился в меня, чтоб я его поднял ввысь... Не прикоснусь моим чистым пером к его грязному имени... Я стряхну его, как червя, прилепившегося к моему сапогу!

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

(Отрывки)

15 марта 1848 года весь день лил дождь... Небо крестило новорожденную свободу. Полицмейстер Секренеши спросил Ландерера: нужны ли войска. Ландерер ответил, что не нужны. После полудня в зале городской ратуши Няри и Клаузаль разыгрывали роль судей. «Порядок, порядок!» — повторяли они вслед за каждым словом. Разнесся слух, будто идут войска, но никто не испугался, все кричали: «Оружия!» Перед зданием наместнического совета ораторствовал Клаузаль; он, посланник революции, дрожал и смиренно лепетал, словно школьник перед учителем. Если б внизу во дворе не кричало 20 000 человек, то его, вероятно, вытолкали бы, решив, что это попрошайка, arme Reisender. Танчича сперва повели в театр, оттуда он перебрался к городской ратуше и пробормотал слова благодарности. Из депутации, посланной в наместнический совет, образовался постоянный комитет, и на другой день, 16 марта, Ирани осмелился назвать его революционным комитетом. Няри решительно, почти гневно протестовал против каждого революционного слова — он отрицал, что происходит революция. 16-го город был иллюминирован. Повсюду огромные толпы людей; невиданный порядок и веселье.

1849. На железной дороге попытались украсть корону. Отправились вместо Солнока в Вац, ибо слышали, что там обретается Симунич. Только уже возле Палоты один из пассажиров заметил, что едут в Вац. Тогда лишь повернули обратно. Стояла полночь, окна в вагонах замерзли от стужи. По

дороге в Дебрецен телега, в которой везли корону, перевернулась.

Депутаты всю дорогу от Пешта до Дебрецена играли в карты, и те, с кем я встретился поначалу, толковали только о различных способах игры... Я сам это слышал своими ушами... И это происходило в те мгновения, когда мы ждали вестей о решающей битве возле Пешта, когда нация переживала роковые минуты. Такую подлость вряд ли знала мировая история.

5 июля 1848 года. Открытие Национального собрания. Чудесное безоблачное летнее утро. На улицах уйма народу. Набережная Дуная запружена войсками и Национальной гвардией. В парламенте все хоры набиты битком. Большинство депутатов в праздничной одежде, только лица у них вовсе не праздничные. В зале, спинкой к Дунаю, стоит председательское кресло эрцгерцога Иштвана, украшенное по этому случаю пурпурным балдахинном. Внизу против председательского кресла — трибуна, на ней герб Венгрии с короной. В двенадцать часов раздался орудийный залп и вошел эрцгерцог Иштван — «Обновитель Венгрии», как утверждает «Пешти Хирлап». Когда в зал входили министры, то всем пытавшимся их приветствовать шептали: «Тсс-с», и только тогда, когда вошел Кошут, раздалось громовое «ура». Пестрей всех одет был Берталан Семере, проще всех Дзак. Когда Иштван проходил по мосту, оркестр Национальной гвардии исполнил «Gotterhable...

12 января 1849 года состоялась конференция депутатов. Няри заявил, что Венгрия погибла.

Вот уже много веков было предано забвению то место в Секешфехерваре, где некогда хоронили королей. В конце 1848 года были найдены могилы,

где покоились кости двух королей Арпадов. Год тому назад такое событие стало бы национальным праздником, теперь же, кроме нескольких ученых любителей древности, никто этим даже не заинтересовался. Ведь нация как раз в это время боролась против королей. Можно подумать, что эти мертвые короли только для того и вылезли из своих могил, чтобы предложить своим живым потомкам покинуть трон и пригласить их к себе в землю.

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ МОЕГО СЫНА ЗОЛТАНА ДО СЕМИМЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА

Мой сын Золтан родился 15 декабря 1848 года в двенадцать часов дня в Дебрецене на Тридцатой улице в доме портного Ормош. Комната, в которой он родился, помещалась возле парадного входа, а окнами выходила на улицу.

Вступив в сентябре в солдаты, я отвез свою жену к ее родителям в Эрдед, но позже, когда румыны восстали, ее местопребывание показалось недостаточно безопасным, и я перевез семью в Дебрецен, где стоял наш батальон. Таким образом и постигло моего бедняжку сына несчастье родиться в Дебрецене.

В Дебрецене, а главное — в пятницу!

Вернее: в пятницу, а главное — в Дебрецене! Ведь Дебрецен опаснее даже пятницы, и если Венгрия вновь утратит свою независимость, то этим мы будем обязаны только тому, что ее провозгласили в Дебрецене. Странная же это была идея провозгласить независимость нации в таком городе, где на калитке каждого дома выведено: «Быстрее закрывайте калитку, не то выбежит свинья». Во всяком случае на калитке дома, в котором родился мой сын, была именно такая надпись.

Вечером 14 декабря я беседовал с женой о Таците, как вдруг ей стало плохо. До следующего полудня испытывала она жесточайшие мучения, воспоминания о них до сих пор бросают меня в дрожь. Я уже и не чаял, что бедняжка переживет роды: такая она маленькая, тоненькая, хрупкая — ка-

жется, будто легчайшее дуновение ветерка справится с ней. Сын мой был тоже таким слабеньким, крошечным, холодным и, я сказал бы, даже бесформенным, что первое мгновение он показался мне мертворожденным. Трех дней от роду он заболел, и эта болезнь еще пуще изнурила его, но вскоре он поправился и стал расти прямо на глазах.

И я и моя жена не имели бы ничего против того, чтоб он оставался таким же честным нехристом, каким родился. Однако ради тестя и тещи — усердных христиан мне пришлось окрестить его. Но я решил так: пусть хоть имя будет у него басурманское, и назвал его Золтаном. Крестный отец его — Янош Арань, один из величайших поэтов мира и самый честный человек на свете; крестная мать — жена Яноша Араня, очень простая женщина, хорошая жена и мать.

Я и Юлишка несказанно радовались рождению сына, но самую большую радость доставило оно моим дорогим ныне покойным родителям. Двадцатого декабря отец написал мне из Пешта: «Любимые мои дети! Прежде всего желаю, чтобы возлюбленные господом Золтан и Юлишка и ты, мой Шандор, пребывали в добром здравии. Письмо твое получил и вместе с твоей родимой матушкой сердечно обрадовался, что наша Юлишка с божьего благословения счастливо разрешилась от бремени. Мы желаем нашему невинному дитятке Золтану и впредь доброго здоровья и того, чтобы он вырос большим. В тот же день двадцатого числа я велел принести ище вина и поднял чашу за то, что и мне еще довелось говорить о своем внуке, — на радостях я купил месей вина и твоему старому слуге Дюри. Целуем вас, любимые наши дети. Золтану надо раздобыть саблю, ибо он родился в особенный год, в

такой год, когда даже младенцы должны носить на поясе саблю. Мне и прежде хотелось воевать, но сейчас это желание удесятерилось, так как я не хочу, чтоб мой внук попал в руки этих басурман. Пусть только господь даст мне здоровья, и уж тогда я дома не останусь». После этих строк мать моя приписала: «Милые, любимые мои, уж вы простите старика, что он нагородил невесть что. Больно обрадовался он, что и Юлишка и Золтан живы и здоровы. А мне хотелось бы только дожить до того дня, когда прижму к своей груди и крепко поцелую своего милого внучонка».

Желание моей матери-бедняжки не сбылось. Она умерла, не повидав внука. Чуть ли не последними словами ее было: «Вот и не увижу я своего милого внучонка!»

Однажды зимой отец мой пробрался из Пешта в Дебрецен и повидал Золтана. Радость его была несказанна. Потом он снова вернулся в Пешт, и до самой своей смерти — а она наступила вскоре после этого — он больше всего любил рассказывать о своем внучонке. И даже на смертном одре, уже не в силах вымолвить ни слова, он делал такие движения руками, будто укачивал младенца; этим давал он понять моей матери, что думает о внуке. О, сын мой, когда ты вырастешь, с любовью и почтением вспоминай этих святых стариков, которые так беспредельно, так горячо любили меня; если б они не умерли, они и тебя любили бы, как могут только любить отец и мать.

Поначалу мой сын был очень хорошим ребенком. Кроваткой ему служили два составленных вместе стула, и, когда ему хотелось спать, он засыпал сразу, не требуя, чтоб его укачивали. Но потом жена Вёрёшмарти и жена Шандора Вахота стали брать

его на колени, таскали на руках, и он привык, чтоб его укачивали. С тех пор убаюкать его бывает подчас невероятно трудно. В первое время после рождения у нас бывали с ним и другие неполадки: несколько недель он ни под каким видом не желал брать грудь. В доме все до смерти уставали, покуда с превеликим трудом удавалось всунуть ему грудь в рот.

Шесть недель его кормила мать, но в январе, когда я поехал в Эрдейскую армию, у бедняжки от огорчения испортилось, а потом и вовсе пропало молоко. После сын мой попал в руки кормилицы. Первая его кормилица через несколько дней покинула нас — ушла вместе с солдатами; вторая кормила его с месяц, потом, заболев, ушла, а третья кормит его и до нынешнего дня.

Первое бравурное выступление моего сына свелось к тому, что он двух недель от роду присел в кроватке. Это упражнение так ему понравилось, что он практиковался в нем непрерывно. Правда, удавалось оно только изредка, да и то с такой натугой, что он весь краснел и даже синел.

Путешествовать он начал уже в двухмесячном возрасте. В феврале поехал вместе с матерью в Салонту к Яношу Араню и там оставался до мая, пока я не вернулся из армии. Оттуда он отправился вместе со мной в Пешт, а после занятия Пешта неприятелем приехал со мной сюда, в Мезе-Берень, где мы и живем поныне.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

ПЕШТ, 27 МАЯ 1848 ГОДА

Да простит мне родина, что сейчас, когда ей так важен, так дорог каждый миг, я привлекаю внимание к себе, докучаю ей. По привычке буду очень краток. Если б с моим именем — вернее, если имя мое не было связано с идеей, я не стал бы отнимать у публики ни единого мгновения.

Бесспорно, что еще в мартовские дни я был одним из любимцев венгерской нации... Прошло несколько недель, и вот я — самый ненавистный человек; каждый проходящий мимо считает своим патриотическим долгом бросить в меня камень. Многие газеты даже не посовестились пригвоздить мое имя к позорному столбу.

Нам не нужно заново зубрить мировую историю. Мы и без того знаем, что такое популярность! В каком угодно месте можем раскрыть эту большую книгу, и любая страница послужит нам наукой. Популярность — Тарпейская скала, на вершину которой человека возносят не для того, чтоб он царил в вышине, а чтобы сбросить его. Народу нужны развлечения.

Я знал это и до того, как ликующая толпа дошла со мной до вершины скалы; меня не опьяняло благоухание венков, которыми забрасывали меня; трезво и с полным присутствием духа ждал я минуты, когда меня столкнут вниз, и только благодаря этому упал не на голову, а на ноги.

Упал на ноги и остался невредим. Развенчанный, стою здесь, внизу, в пропасти, но стою!

Признаюсь, одного мне жаль. Если уж захотелось столкнуть, почему не сбросили вы меня в

пещеру к львам? Пусть растерзали бы меня эти дикие, но благородные звери... Зачем спихнули вы меня сюда, где кишат гады ползучие? Укус их не смертелен, но хуже, чем смертелен: он отвратителен. Если я уж так грешен, то, ей-богу, ведь скорее заслужил плаху, нежели того, чтобы всякая мразь, нищие духом упражняли на мне свои грязные языки, которыми до сих пор они пользовались только для того, чтобы лизать, как виляющие хвостами покорные псы, всемиловитвейшие подошвы господствующего тирана.

Но виновен ли я иль нет? Чем я согрешил? Написал одно стихотворение, в коем объявил, что больше нет «возлюбленного короля», а кроме того, сказал на народном собрании, что не доверяю министерству.

В то время министерство вело себя так, что те, кто дорожил родиной, действительно не могли ему доверять, а ведь дорожит тот, кто любит. Нам грозила внешняя и внутренняя война, армии у нас не было, а министерство и шагу не сделало для того, чтобы создать ее; в Хорватии Елашич выбросил знамя самого открытого мятежа, а министерство отнеслось к нему, как мать, любящая обезьянней любовью своего строптивого ребенка: нельзя понять, бьет она или ласкает его. И ко всему еще кровопролитие в Буде! Здесь, в сердце родины, почти на глазах министерства, наймит-чужак крошил венгерцев!

Если при таких отчаянных обстоятельствах я, не боясь называть вещи своими именами, заявляю, что не верю министерству, то ставить это мне в вину могут только те, кто не знает, что такое любовь к родине.

Молчать всегда легче, нежели говорить; и кто предупреждает республику о грозящей ей опасности, не может быть ее врагом. Ее враг тот, кто видит

опасность, но молчит. Таким образом, высказывая свое недоверие, я не хотел изгонять министерство, а желал только побудить его к таким действиям, которые заслужили бы ему всеобщую любовь и доверие. Кучер не для того бьет кнутом лошадей, чтобы они пали, а для того, чтобы они быстрее шли. Сравнение хоть и не слишком поэтичное, но верное. Если б я был на месте министерства, то доверял бы больше тем, кто иногда подстегивает, нежели тем, кто всегда выражает бесконечное доверие. Те, кто подстегивает, в худшем случае — открытые, искренние враги, тогда как другие, — кто знает? — может быть, и лжедрузья? Мне во всяком случае очень подозрительно, что вся эта провалившаяся партия предателей преклоняет колена перед министерством. Хороший человек может сразу стать плохим, а из плохого сразу ничего хорошего получиться не может.

Но я не верю, чтобы хоть один из критиковавших министерство был ему враг, — напротив, я *знаю*, что это самые искренние друзья; и как же несправедливы те, которые обвиняют нас, марают наше имя. Но если это им нравится, пусть продолжают обвинять и марать нас. Мы готовы терпеть несправедливости, считая это самой малой жертвой, какую только приносим на алтарь отечества.

А впрочем, какими бы великими людьми ни были наши министры (я согласен признать их гениальными), все же я не могу согласиться с мнением их слишком рьяных друзей, провозглашающих, будто только эти министры и могут спасти родину. Было бы несказанно печально, если бы жизнь и смерть целой нации зависела только от восьми человек. Пусть бы даже так оно и было, это следовало бы скрывать, иначе подобная весть может распространиться и причинить нации невероятный вред. Но это не так.

Моя вера иная, — та самая, которую исповедовала великая французская революция: «В Штатах есть люди *полезные*, но *необходимых* нет». Каждая эпоха рождает нужных ей людей, и тем больше, чем больше их требуется. Такое убеждение уничтожает, конечно, часть ореола, которым мы окружаем иных людей, но только для того, чтобы перенести его на нечто более достойное — на чело providения.

Что же касается моего стихотворения «Королям», послужившего главной причиной моей непопулярности, то оно было первым откровенным выражением республиканских взглядов в Венгрии, и очень ошибаются те, кто думает, что оно окажется последним и единственным. Монархия в Европе приходит к концу, и даже всемогущему богу ее уже не спасти. Ежели какая-нибудь идея становится всемирной, то скорее можно уничтожить мир, нежели выкорчевать из него эту идею. Такова сейчас идея республики.

Впрочем, монархия у нас имеет еще будущее, больше того — она пока еще нужна, потому-то и не провозгласил я республику, не призывал народ к бунту (как говорят про меня), а только затронул эту идею, чтоб привыкали к ней. С моей стороны было бы безрассудством требовать сейчас большего, но уже теперь говорить о республике меня заставляет любовь к родине и людям, даже если б это мне стоило жизни. Да, любовь к родине и к людям!

За наше переустройство мы заплатим ценою крови, это ясно, поэтому мы должны стараться, чтобы оно стоило как можно меньше крови, а самый простой способ для этого — сделать новую идею привлекательной, распространяя ее неторопливо, постепенно. Горе наше, если она когда-нибудь, сорвав дверь с петель, ворвется к нам; тогда у нас не станет хлеба, потоки крови смоят наши посевы!

Все, что я писал, я писал, чтобы избежать этого, и на сем успокаиваюсь; сколько я повредил себе, столько принес пользы другим. А поэтому не обижайте республиканцев, не восстанавливайте против них народ, покуда они сами не начнут бунтовать, — а они не станут бунтовать, так как знают: что быть должно, то будет. У христианской религии было всего лишь двенадцать апостолов, и все-таки она распространилась; как же не распространиться республиканскому движению, у которого было уже столько апостолов и столько жертв! Знаете ли вы в Париже улицу Сен-Мерри? Там в 1832 году пало сто юношей-республиканцев. Почитайте эти страницы истории, и вы узнаете, каковы солдаты-республиканцы...

24 000 обученных палачей едва справились с сотней детей.

ПЕШТ, 10 АВГУСТА 1848 ГОДА

Мы освободились из-под власти Меттерниха и его клики и получили взамен министерство Батяни. Поистине можно сказать: «На собаке шерсть сменилась».

Те старались погубить нас своими делами, эти погубят бездельем. Только способы различны, а результат будет один!

Уже раскрываются глаза тех счастливых мечтателей, которые не только доверяли министерству, но и утверждали, что лишь оно может спасти родину. Да, что и говорить, спасет!

Весь честной мир прекрасно знает, как высказывался я с самого начала об этом министерстве. Я уже тогда дерзнул выразить свое мнение и потерял за несколько дней свое доброе имя, завоеванное столько лет назад. А теперь заявляю прямо, что это министерство вернее всех уложит нас в могилу.

«Io Raean!» * — запела страна, когда увидела первый список венгерского министерства, а я покачал головой, вспомнив, что венгерец всегда славит солнце на восходе, не дождавшись заката.

Я размышлял: все это порядочные люди, быть может, и на постах министров они будут такими же, но только — быть может. Они — дети той эпохи, которая уже умерла, — эпохи речей, разглагольствований; в этом они были первыми. Но не будут ли они в новые времена, в эпоху дела, последними? Ведь между этими двумя эпохами разница столь велика что нужны либо совсем новые люди, либо прежним надо заново родиться. А это случается весьма редко.

* «Слава Аполлону!» (греч.).

Мир знает только одного-единственного Феникса, да и тот был давным-давно; а может, и это неправда? Из того, что они мастера ораторствовать, вовсе не следует, что они будут и мастерами действовать. Дубильщик выделывает кожу, но сапоги из этой кожи тачает другой.

Примерно так размышлял я о народившемся министерстве. Едва успело оно просуществовать несколько дней, как я швырнул оземь и свою шляпу и свою веру в министерство. Правда, уверяли, что оно еще дитя, что надо еще подождать, но меня это не успокаивало. Геркулес уже в колыбели растерзал змея, а нам, как никогда, нужны сейчас Геркулесы.

Настало 10 мая, день кровопролития в Буде (виновники которого, кстати вспомнить, до сих пор не наказаны и ходят себе посвистывая). Там, в Буде, можно сказать, на глазах министерства косили людей... Тогда я уж не мог сдержаться, во дворе музея вскочил на трибуну и гневно крикнул перед цветом нации, что не доверил бы этому министерству не только что родины, а даже пса своего.

В спокойном состоянии души я высказался бы, вероятно, иными словами, но смысл в конце концов остался бы тем же.

Эти слова разгневали страну, и мое славное блестящее имя втоптали в грязь. Я хоть и с болью, но все-таки улыбался, зная, что те же люди, которые сейчас топчут мое имя, потом поднимут его из грязи и сотрут с него незаслуженное пятно.

И вот, мы уже дожили до этого, в стране уже поговаривают: «Видно, не совсем был неправ Петёфи». И не дай бог, не нынче завтра скажут: «Петёфи был совершенно прав!»

Со дня на день все больше замечая, что министерство становится похоже на человека, у которого

завязаны глаза, скручены назад руки, а ноги закованы в колодки, я все свои надежды возлагал на Национальное собрание.

Чего только не ждал я от этого Национального собрания! Никогда не был я полон более величественных надежд и никогда не приходилось мне разочаровываться столь жестоко, как я был разочарован Национальным собранием.

Господи боже мой! Их, этих людей, избирает пробудившаяся, восторженная, мечтающая о действии и готовая действовать нация, а они бормочут что-то, мычат, как беспомощные калеки. Из равнодушия, из скуки дымной своей кофейни они выходят только тогда и только тогда воспламеняются, когда им можно терзать друг друга, но отнюдь не бороться с врагом. Мы доживем до того, что они, наконец, проглотят крошечное меньшинство Собрания с рожками и ножками... Рты у них достаточно велики для этого. Сербская проказа пожирает ноги страны, не нынче-завтра она вопьется в сердце, а трава, которую надо отнести в аптеку, чтобы из нее приготовили лекарство, трава эта еще в поле. Месяц назад они шумно предлагали формирование двухсоттысячного войска, но с тех пор об этом ни звука, как будто неприятель где-то еще за Гангом и только сейчас наводит через него мост, по которому должен идти до нас пешком.

На юге Венгрии складывают в мешки отрубленные мадьярские головы, а кто ж поручится за Северную и Восточную Венгрию? Кто же поручится на западе за Австрию, подлая рука которой видна повсюду?

Мы, конечно, опомнимся, но только тогда, когда увидим, что попали не между двух, а между четырех огней и что у нас воды достанет разве

только, чтобы затушить горящую спичку. И все же, вместо того чтобы немедля, хоть из-под земли, раздобыть денег и солдат, министры предпочитают играть в солдатики и рубить друг друга, как дети рубят бурьян. Спорят меж собой о теологии, педагогике и еще чёрт знает о какой «огии». Пора бы вам уже бросить это дело и не заниматься воспитанием, куда мы не знаем, будет ли еще кого воспитывать!

Но лучше всего то, что они считают народ, представителей которого являются, темным и глупым. И главный аргумент их, что народ-де и такой, и сякой, и еще не развит. Народ, благодари же своих представителей! Мне, признаюсь, народ рисуется совсем иным. И я вижу только одно подтверждение его неразвитости, — что он избрал себе таких представителей.

Но вот, что лучше всего: собравшись здесь для того, чтобы вытащить венгерскую нацию из болота прошлого, они сами швыряют ей в лицо новый позор — предлагают Австрии помощь против Италии и тем самым захлопывают перед собой дверь, через которую мог бы хлынуть к нам родственный дух самых благородных наций Европы. И вот настанет время, когда окажется, что, мы сами не в силах выкарабкаться из наших бед, — а это легко может стать. Но знайте, что, если мы тогда обратимся за помощью к этим нациям, они скажут: «Идите в преисподнюю, там ваше место, ибо вы подняли руку на священную свободу, в то время как Европа, да и вы сами боролись за нее!»

Так скажут они и вытолкнут нас в прихожую, где предоставят нам толковать ученикам на досуге прагматическую санкцию.

Вот уже скоро тысячу лет, как пролились на землю первые капли крови, которой крестили Венгрию.

Много раз за эту тысячу лет венгерской нации приходилось дьявольски туго, но не думаю, чтобы когда-нибудь существовало более гнусное положение, чем сейчас.

Скоро и я впаду в отчаяние! А тогда уж прости-прощай! Ибо в час беды я впадаю в отчаяние последним.

Тогда уж будем биться не ради того, чтобы Венгрия вновь подняла голову, а только ради того, чтобы хоть честно умереть, если уж мы не можем честно жить.

Ужасно!

Страдали мы тысячу лет, потом исходили, плакали кровавыми слезами, с горечью брели сквозь долгую ночь средневековья, — и все для того, чтобы, когда уже, наконец, рассвело, мы, усталые, потеряли сознание и рухнули на полпути и чтоб первые лучи зари, взошедшей над Венгрией, обвилились смертным венком вокруг головы нашей родины.

Мы будем, наконец, действовать, но действовать и умирать одновременно. И дела наши останутся как надгробный памятник на нашем могильном холме. Мир не знал, как мы живем, он будет знать только то, что мы скончались!

Печально, печально! И это будет так, если нация не поднимется как можно скорей и не выхватит из рук депутатов и правительства ту власть, которую так доверчиво отдала им и которой они не умеют пользоваться, а если и пользуются, то чтобы творить произвол.

ОТВЕТ ВЁРЁШМАРТИ

Я не люблю словесных распрей, особенно в такие времена, когда публика отягощена заботами и ей не до того, чтобы прислушиваться к перебранке отдельных людей. И несмотря на все это, я должен ответить на слова Вёрёшмарти, которые он обратил ко мне в 58 номере настоящего журнала. Не стану опровергать его статью по пунктам, чтобы не отнимать много времени ни у себя, ни у других; выскажу только вообще несколько кратких замечаний.

Я знал заранее, что Вёрёшмарти ответит на мое стихотворение, но признаюсь, не мог подумать, что ответит именно так. Мне не приходило в голову, что он возьмется за такое недостойное его оружие, как высокомерие и необоснованные обвинения; этого я не заслужил ни от кого, и меньше всего от Вёрёшмарти. Если б он вонзил в меня кинжал, я смолчал бы, но так как он набросился на меня с дубинкой, я не могу молчать.

Он говорит: «Не ясно ли, что Петёфи, пытавшийся обращаться со мной уважительно, заговорил с плохо прикрытым, я бы сказал, даже неуклюжим состраданием». Каждый беспристрастный человек скажет, что это вовсе не ясно; но будь это даже так, я должен признаться, что написал не в том тоне, к которому стремился в глубине души. Он говорит: «Петёфи до сих пор не сказал о Вёрёшмарти ни одного доброго слова, хотя и состоит с ним в дружеских отношениях. Так почему же с такой жадностью воспользовался он случаем осудить его?» Пусть Вёрёшмарти простит меня, но он не знает и

не может знать, «с жадностью» ли я воспользовался случаем или после долгой и мучительной душевной борьбы? А предыдущие его слова вовсе не соответствуют истине, поскольку я не раз говорил о нем доброе и много раз публично (в своих «Путевых записках», напечатанных в 1845 году в «Элеткепеке», в «Путевых письмах», напечатанных в 1847 году в «Хазанке», и т. д.). Я не виноват, если он не удосужился их прочесть или не счел их достойными прочтения. Кроме того, я поступил с ним так, как не поступал ни с кем: посвятил ему «в знак уважения и любви» собрание своих стихотворений. Как же может он утверждать, что я до сих пор не обмолвился о нем ни единым добрым словом? Зачем он так расправляется с фактами? Пусть я даже совершил ошибку с этим стихотворением, но он уж прямо согрешил, объяснив его не чистейшими патриотическими и дружескими побуждениями, а бог весть из чего вытекающим недоброжелательством. Таким образом, Вёрёшмарти бросает мне в лицо упрек в том, что я никогда не был его искренним почитателем, что я только прикидывался, будто уважаю его, — словом, что я двуличный человек. А ведь двуличность величайшая гнусность, на какую только способен человек, и я не могу позволить, чтобы подобные обвинения прилипали к моему имени. Призываю всех людей, знающих меня, высказаться о том, замечали ли они за мной хоть тень двуличности. Если замечали, то пусть на мою голову падет презрение нации.

Мне больно от этого обвинения и от того надменного тона, каким разговаривает со мной Вёрёшмарти, высказываясь, между прочим, и так: «Он осуждает меня! Кто? Петёфи! Кого? Вёрёшмарти» и т. д. Уж простите великодушно, кем бы ни был

этот Петёфи, но во всяком случае он такой человек, что Вёрёшмарти не имеет никакого права презирать его. И если Вёрёшмарти очень уж захотелось потолковать о скромности, то толковал бы он когда угодно, только не в данном случае, когда он сам забыл о ней. А впрочем, что касается скромности, то я считаю ее никудышным товаром, и мне никогда не казалось достойным делом запастись им, поскольку это выдумка иезуитов. За всю свою долгую жизнь Гете только однажды сказал нечто умное, заявив, что: «Nur Lumpe sind bescheiden» *.

Упражняясь в скромности, Вёрёшмарти в конце статьи заявляет: «Ты недорос еще быть судьей». Против этого мне возразить нечего, остается только согласиться с Вёрёшмарти; видимо, он все еще живет в дворянско-судейском сознании того, что покуда человек не отрастил себе брюха, он недорос до звания судьи.

А впрочем, я согласен с ним, что сия чернильная битва не испортит наших добрых отношений. Но если б это было даже не так, я все равно свободно высказал бы свои убеждения и не только ему, но любому человеку на свете. Чем обвинять себя в трусости, я предпочитаю и впредь оставаться жертвой своих отважно и беспощадно высказанных убеждений. Я хочу жить в ладу с самим собой, а не со всем миром!

* «Скромны только глупцы» (нем.).

МОЕ ПЕРВОЕ
И ПОСЛЕДНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПО ОДНОМУ ВЕСЬМА ГРЯЗНОМУ
ВОПРОСУ

В предыдущем номере «Элеткепека» мой товарищ редактор — Мор Йокаи — поместил без моего ведома заявление против меня. Касалось оно моего стихотворения, обращенного к Вёрёшмарти. Стоило бы мне только обнародовать истинную причину сего заявления, как публика сразу составила бы о Йокаи определенное мнение, поскольку заявление это объясняется чем угодно, только не уважением Йокаи к Вёрёшмарти... Но я не стану выводить на свет божий истинную причину — огласка личных дел не в моих принципах. Кроме того, я не желаю биться тем оружием, которое хотя одним концом и повергнет моего врага, однако другим запачкает меня самого. Таким образом, я не стану касаться причины заявления, а скажу только о нем самом. Восставать двум соредакторам друг против друга в своей же газете — дело, конечно, скандальное; но перчатку бросил Йокаи, и я считаю своим нравственным долгом ее поднять. В этом заявлении есть пять *impertinentia* *, которых я не могу оставить без ответа.

1-я *impertinentia*. Йокаи говорит: «Я не считаю, что один поэт имеет право судить другого поэта», а сам в этой своей статье судит меня, пригвождает к позорному столбу. Или, быть может, на это не имеют права только ничтожества, подобные Петёфи, а

* Наглость (*лат.*).

великие люди, подобные Йокаи, составляют исключение из этого правила.

2-я *impertinentia*. Он говорит: «Хоть я тоже люблю свои принципы, однако и чужие» и т. д. И одновременно, как оглашенный, набрасывается на меня из-за моих принципов.

3-я *impertinentia*. Он говорит: «Хотя Петёфи и забывает о том, чем он обязан Вёрёшмарти, я не могу забыть, чем я обязан ему самому». Таким образом, Йокаи обвиняет меня в неблагодарности, однако же, обвиняя меня, поднимая на меня руку, он сам проявляет черную неблагодарность. Я не знаю, скольким он обязан Вёрёшмарти, но знаю, что мне он обязан в десять раз больше, хотя бы даже за то, что я в течение долгих лет растрачивал на него более чем дружескую, чем братскую, чем отеческую любовь. Может быть, публика помнит стихотворение, которое я посвятил Йокаи несколько лет назад. После этого стихотворения друзья говорили мне: «Ты больше всех любишь Йокаи! Ты веришь только ему. Вот посмотришь, Йокаи обманет тебя хуже всех, Йокаи проявит величайшую неблагодарность». Я смеялся над ними, даже рассердился, хотя дальнейшее доказывает, что правы были они.

4-я *impertinentia*. Он говорит: «Я не считаю совместимым с принципами нашего журнала осуждение кого-либо без предварительного разговора с ним» и т. д. Разве я утверждал, что это принципы нашего журнала? Разве я говорил не о своих собственных принципах? И, наконец, разве я осудил человека, не поговорив с ним предварительно? Это не так. Прежде чем напечатать свое стихотворение, я долго разговаривал об этом с Вёрёшмарти, и ему не удалось меня убедить, но если б я даже не раз-

говаривал с ним предварительно, все равно передо мной был факт, по которому я мог судить и судил.

5-я и самая большая *impertinentia*. На протяжении всего своего заявления Йокаи говорит со мной так надменно, так категорически и таким поучающим тоном, будто он мой учитель, мастер или хозяин. Он обвиняет меня в забывчивости, и он же забывает, что был моим учеником, моим младшим братом, что вырос под моим крылом. А впрочем, хорошо, что он это запомнил, пусть запомнит еще многое, желаю ему этого, иначе он испытает в жизни еще слишком много угрызений совести.

После сего заявления Йокаи мне следовало сделать две вещи; напечатать ответное заявление и отказаться от редактирования журнала. Я сделал и то и другое, и, таким образом, вопрос исчерпан. Наш договор остается в силе до конца года. В последний день этого года я перестану быть редактором и сотрудником «Элеткепека».

ПЕШТ, 17 СЕНТЯБРЯ 1848 ГОДА

Семь месяцев истекло со времени февральской революции во Франции, и моя душа пребывает в постоянном волнении и колебании. Каждый день новая надежда, новое напряженное ожидание, новое воодушевление, новая тревога, новый гнев.

Кто бы поверил, что человеческое сердце может столько вынести, особенно такое, как мое, которое, подобно увеличительному стеклу, отражает добро и зло в огромных размерах, которое, словно стоустое эхо, отвечает на один крик множеством криков.

Сердце мое выдержало это семимесячное напряжение и не разбилось на куски, но, признаюсь, оно стало тупым, бесчувственным, впало в беспамятство.

Сейчас моя духовная жизнь нестерпимо холодна!

События последних дней отскакивают от меня, не оставляя следа, как пуля отскакивает от мраморной статуи, как молния от гранитной скалы.

Национальное собрание сбросило с себя то прекрасное, блестящее, воинственное одеяние, в которое оно облачилось вечером 11 сентября, сбросило на следующий же день и нарядилось вместо него в старушечью юбку.

Я слышал, что Елашич ворвался в Венгрию с двадцатитысячным войском, — и я не впал в отчаяние.

Я слышал, что генерал Адам Телеки совершил столь гнусную измену родине, равной которой не найдешь, во всей мировой истории, — и я не отрекся от бога.

Я присутствовал вчера вечером в Национальном собрании, когда письмо короля к наместнику зачитывалось на немецком языке, и в нем король отказывался соблюдать условия, на которых Батяни

принял председательство в совете министров; я присутствовал при чтении этого письма, где его королевская милость — я хотел сказать: величество! — корит Национальное собрание за то, что оно *осмелилось* что-то предпринять; я присутствовал при чтении этого письма. Неслыханное дело! Какой-то немец дает венгерской нации пощечину, — и я не заплакал от отчаяния, не извергал пламя гнева, не стыдился, не краснел от того, что я венгерец, и даже не крикнул: «Да здравствует республика!»

И еще многое видел и слышал я, и при этом оставался бесчувственным и спокойным, как мумия, пролежавшая две тысячи лет.

И теперь я, тот самый, кто шесть месяцев назад писал, что «нет *возлюбленного* короля», тот самый, которого за это мои венгерские собратья от Карпат и до Адриатики объявили самым матерым изменником родины, я теперь спрашиваю: «Так, значит, есть еще «возлюбленный король?»» — и при этом не смеюсь.

Я не знаю, сколько еще продлится этот обморок моей души. Но я знаю, что к тому времени, когда пробьет час мести, — а он должен пробить, — ко мне вернуться утраченные силы и крепость, возрастут в десять, во сто крат. И я знаю, что в тот кровавый судный день, когда свершится возмездие за растоптанные права нации, за ее поруганную честь, я буду иметь решающий голос.

Ведь все-таки есть бог, который не допустит, чтобы наша нация навеки осталась оскорбленной, опозоренной. Наша нация, быть может, легкомысленна, но не преступна. Она, быть может, слишком лояльна, но не труслива.

Нет, нет, и тысячу раз нет! Венгерская нация не труслива! Кто тебя обвиняет в трусости, нация моя,

тот не читал самые прекрасные, самые блестящие страницы мировой истории, те страницы, в которых сверкает меч твоей славы! А ради кого же сверкал сотни лет твой, пусть не всегда победоносный, но всегда героический меч? Если бы ты, венгерская нация, не принесла великие жертвы, турецкий полу-месяц и сейчас освещал бы своим призрачным светом развалины европейской культуры.

А нация, которая не труслива, не должна погибнуть! Нация, которая боролась за человечество, погибнуть не может!

Я — маленький огонек в ночи моей родины, но я — огонек, и при свете его нация может прочесть в книге судеб только одно слово: «Надежда!»

ПРОКЛАМАЦИЯ «ОБЩЕСТВА РАВЕНСТВА»

«Общество равенства» шлет свой горячий привет нашим братьям и родным — жителям Венгрии!

Скорбь и борьба кричат нашими устами; наши слова — как вой ветра, врывающийся в набат.

Пожар, пожар!.. Не деревня, не город — целая страна горит. Мы разбудим всю нацию! Подымайтесь, ребята! Если не встанете сейчас, будете лежать до скончания мира.

Венгерцы! Тысячу лет назад двинулся из Азии народ с намереньем найти самые прекрасные, самые плодородные земли и завладеть ими для своего потомства. Долго, очень долго блуждал сей народ, пока куда обрел эти земли. Наконец он все-таки нашел их и захватил. Но как же он их захватил? Беспрерывно боролся он четыре-пять лет. Целых пять лет гибли люди, ливнем лилась кровь.

Венгерцы! Так завоевали наши предки эти прекрасные владения, ибо витязи, пришедшие из Азии, и были нашими предками.

Семьсот лет жил свободно на своей новой родине венгерский народ. То счастье, то горе выпадало ему на долю, то радовался он, то страдал, но всегда был свободным.

И вот народ обратился к герцогу Лотарингскому, чтобы тот принял венгерскую корону и стал королем Венгрии. Отсюда и пошли все наши беды, и продолжались они триста лет, вплоть до нынешней весны.

Венгерская нация так сказала римскому императору: «Мы до сих пор выбирали себе королей по

нраву, но это нам надоело, ибо каждый раз при выборе нового короля начинались столь свирепые междоусобия, что они только ослабляли нашу родину. Мы передаем тебе, римский император, тебе и твоему потомству венгерскую корону, но с одним условием — ты не только пальцем не тронешь наши законы, права и свободу, а будешь их защищать, как святыню».

На это римский император ответил: «Корону я принимаю и стану хранителем и защитником законов, прав и свободы венгерской нации».

Так обещал римский император, и не только обещал, но слова свои скрепил клятвой, и вслед за ним все его потомки повторяли ее при коронации, но окружавшая монархов камарилья постоянно нарушала эту клятву.

У камарильи недоставало храбрости для того, чтобы сказать сразу и открыто: «Венгерский народ, конец твоей свободе, ты раб, раб Австрии!» Вместо этого она путем уверток, низких и подлых происков и других сатанинских проделок за триста лет перевернула все наши законы, отняла все древние свободы и права.

Нет у бога еще другого народа, столь связанного по рукам и ногам, какими были мы за последнее время. Тому, кто хотел умереть кровавой смертью, достаточно было произнести одно только слово: «Свобода!» Так погибли на плахе лучшие патриоты родины: Зрини, Франгепан, Надашди, Мартинович и несметное число других.

Римские императоры обещали, клялись, что они будут нашими друзьями, отцами, а кем они стали вместо этого?

Деньги клали себе в карман, а юношей наших угоняли в австрийскую солдатчину. Наши собствен-

ные сыновья и братья с обнаженными саблями стерегли наши тюрьмы, и этим тюремщикам, стражникам немецкое правительство Австрии платило нашими же деньгами. У кого настолько черства душа, чтоб не содрогнуться от такой адской гнусности?

Но взошел 1848 год, он взошел новой, яростной звездой, звездой народного гнева.

На французском престоле восседал отпетый негодяй. Франция закричала, от этого крика трон пошатнулся и рухнул, король-клятвопреступник в ужасе бежал, и теперь на его голове — проклятие вместо короны.

Все народы Европы последовали примеру Франции, крикнули и взялись за оружие во имя свободы. Восстали и мы, венгерцы, снова подняв растоптанное знамя свободы: в Пожоне Кошут, в Пеште молодежь. Как гром, прогремело в Вене слово венгерского народа: «Мы желаем стать свободными и хоть миром, хоть кровавой битвой, но добудем нашу похищенную древнюю свободу!»

Немецкое правительство Вены не посмело противостать нашему справедливому требованию и ответило: «Милая венгерская нация, будь свободной, возьми свои старые права, которые я по кусочкам украло у тебя, возьми и будь счастлива». И мы, несчастные, легковерно приняли эти слова за чистую монету и завалились спать, как люди, у которых нет больше забот. Только теперь начинаем мы просыпаться, когда камарилья снова собралась с силами и кричит нам: «Все, что я разрешила вам в марте, все это была шутка, беру свои слова обратно. Вы будете служить мне, как служили до сих пор, будете давать мне солдат, посылать деньги в Вену и сверх того, так как я много задолжала, будете выплачивать часть моих долгов — 200 миллионов флоринтов!»

Что ты ответишь на это, венгерский народ, если у тебя еще есть бог и есть еще душа? Не крикнут ли в ответ миллионы и миллионы людей: «Нет на свете той власти, которая могла бы снова похитить нашу свободу! Даже всемогущий бог может отнять только нашу жизнь, но не свободу!»

Может быть, вы сомневаетесь в наших словах? Может быть, не верите, что все сказанное нами правда? Тогда объясните же, что делает со своим диким стадом на венгерской земле Елашич, этот хорватский бан, однажды уже смещенный королем, а затем вновь незаконно возвращенный камарильей, втоптавшей этим в грязь наши законы! Скажите мне, почему Елашич уже перешел наши границы, с каждым днем все ближе подходит к Пешту и возвещает, что еще нынче проведет там Национальное собрание с помощью бича и нагайки?

Венгерцы! Не только его действия, но даже его слова являются такой беспримерной наглостью, что мы должны утопить Елашича в его собственной крови!

Но Елашич и его сообщники заявляют, что они не враги народа, а, напротив, его друзья. Найдется ли среди вас хоть один такой глупец, который поверил бы этому? Елашич — дружок венской, австрийской камарильи, ее наемник; а венская камарилья — враг народа. Так как же может быть другом народа тот, кто состоит в союзе с врагом народа и прислушивается ему? Это бессмыслица!

Если вы хотите снова отрабатывать барщину, платить оброки и превратиться в подьяремную скотину, радушно принимайте Елашича и его кровавые хорватские дружины; но если вы поклялись, как это достойно свободной нации, никогда больше не пресмыкаться, никогда больше не взваливать

себе на плечи тяжкое и постыдное бремя, тогда — вперед, граждане! И пусть это будет борьба не на жизнь, а на смерть!

А только ли свободу хочет отнять у нас Елашич? Нет! Он хочет гораздо большего! Он хочет стереть венгерцев с лица земли, чтоб превратить их отчизну в Хорватию.

Но я клянусь богом венгерцев, что, даже если все дьяволы ада придут Елашичу на помощь, из этого все равно ничего не выйдет. Мы верим в твой героизм, венгерский народ, верим, что легче с неба сорвать самую далекую звезду, нежели тебя стереть с лица земли!

Подымайтесь же, венгерцы! Вперед, к оружию! Пусть встанет каждый, в ком сохранилась хоть капля той крови, которой тысячелетие назад наши предки завоевали для нас нашу прекрасную родину!

У нас нет в мире народа-брата, которого мы могли бы просить о помощи, который бы нам помог; мы одиноки, как дерево в пустыне; только на господ да на самих себя можем мы надеяться; но этого будет достаточно для того, чтобы спасти навеки жизнь и честь венгерской нации.

ПИСЬМО В НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Дебрецен, 8 декабря 1848 года.

Депутаты и сограждане! О том, какую большую роль может сыграть маленькое стихотворение, свидетельствует письмо одного французского генерала, адресованное конвенту, где он просит конвент послать ему либо соответствующее войсковое подкрепление, либо текст и музыку «Марсельезы».

Если вы считаете прилагаемое стихотворение в достаточной мере воодушевляющим, то напечатайте его в таком количестве экземпляров, в каком сочтете нужным, и разошлите его по всем концам страны в лагерь венгерских войск. Мне это было бы очень желательно, тем более, что тяжкие обстоятельства временно отвлекли меня от военного поприща, а поэтому я хотел бы хоть душой принимать участие в борьбе моей нации.

ДЕБРЕЦЕН, 9 ЯНВАРЯ 1849 ГОДА

Свершилось! Будапешт в руках неприятеля. Мы утратили много, но далеко не все, и злосчастье будет иметь злые последствия только в том случае, если теперь мы падем духом. Это было бы всего вреднее, а главное, всего позорнее для нас. И тогда утрата наша была бы по заслугам.

Что касается меня, то от этого удара я не только не впал в отчаяние — напротив, радуюсь, ибо знаю, что утрата преходяща, а польза от нее будет безмерна. Неприятель дал нам встряску, пропустил нас сквозь решето; мусор и сорняк выпали, а цвет остался. Теперь все полудрузья и тайные враги перейдут на сторону победителей, а ведь мы до сих пор не одержали победы только потому, что они были среди нас. Да и как могли мы победить, не зная всех своих врагов?

Патриоты! С такой точки зрения и взирайте на это событие и, вместо того чтобы бранить, благословите справедливого бога, который нанес нам такой благодатный удар. Господь справедлив, страшно справедлив! Сперва он отделил злых и только потом послал нас в бой за торжество святого дела. Он желает, чтоб это было торжеством одних только добрых. Он хочет, чтобы те гнусные негодяи, которые исподтишка ненавидели свободу, не примазывались к нам, надеясь получить от нее вознаграждение вместо кары.

А мы, товарищи патриоты, победим! Это так же верно, как дважды два — четыре, и об этом говорит мне не мечтательная оболъстительница — надежда, а непогрешимая мировая история. Тот, кто глядит

в прошлое, так же видит будущее, как видно в зеркале глубоких вод высокое небо. История доказывает, что идея побеждает только тогда, когда она становится всемирной, но тогда она побеждает непременно, и легче уничтожить мир, чем истребить эту идею. Так было некогда с христианством, так происходит и ныне со свободой.

До сих пор на защиту свободы поднимались только отдельные люди или отдельные нации — они были подавлены; в прошлом году сразу вся Европа провозгласила то великое и священное слово, которое является новым спасителем человечества. А всю Европу уже не сокрушить!

«Напротив, ее уже сокрушили, — скажете вы, — во всех странах вновь царит тирания, а революция убита».

Вы ошибаетесь, земляки. От того, что пламя убыло, огонь еще не погас; от того, что туча заволокла солнце, оно еще не истлело; один порыв ветра — и тучи как не бывало, лучи солнца жарко пылают вновь. В прошлом году нации без остановки сделали большую перебежку, теперь они остановились, но только для того, чтобы передохнуть и потом еще стремительнее ринуться вперед.

Берегитесь, через несколько месяцев, а то и раньше, восстанут все люди цивилизованного мира и с криком, от которого треснут небеса, кинутся штурмовать преисподнюю. Она же находится не под землей, а царит здесь, на земле, в обличии тиранов, которые властвуют тем беспощаднее, чем ближе их смерть. Ведь и мухи злее всего кусаются тогда, когда предчувствуют свою гибель.

А поэтому — отбросим тревоги, ибо они не обоснованы, отбросим отчаяние, ибо это не мужественно. Будем уповать на бога, а пуще на самих себя и

будем неустанно биться! В счастье и трус становится отважным, но только тот мужчина и герой, кто даже в поражении носит свою голову гордо, как победитель. А мы по двум причинам должны быть героями: чтобы сохранить нашу свободу и жизнь и чтобы нашим предкам, которые своей кровью окрестили и придали величие и славу имени мадьяра, не пришлось краснеть за нас.

До весны бы только нам продержаться, а там и вся Европа придет на помощь; впрочем, я предпочел бы, чтоб этого не случилось и мы могли сказать: «Свободу свою мы завоевали сами».

Так вставай же, нация моя! Напряги всю силу своих рук и души, силу, которой не сломили даже большие бедствия. Из десяти заповедей сохрани лишь одну, а из этой одной только одно слово: «Убий!», ибо, если ты не убьешь, убьют тебя. Так выбирай же! Мы должны показать, что дозволили вторгнуться врагам в наши пределы только для того, чтоб они больше не могли выбраться, чтобы они все, сколько бы их ни было, погибли здесь. Докажем, что права венгерская пословица: «Кто другому яму роет, сам в нее ввалится».

ВЫБОРЫ В САБАДСАЛАСЕ

I. ЖИТЕЛЯМ КИШ-КУНШАГА

Сограждане и соотечественники! Соотечественники не только, как мадьяры, но и как куны, так как я уроженец Киш-Куншага! Мне кажется, вы должны еще помнить того низкорослого, коренастого мясника, который арендовал некогда мясные лавки в Феледьхазе, Сабадсалаше, Сентмиклоше, — это был мой отец. Я не думаю, чтоб вы его позабыли совсем. Когда он жил здесь, все честные люди любили его, ибо честные люди всегда любят друг друга. Но меня вы едва ли помните; я уехал от вас еще в детстве, и на мою долю только изредка выпадало счастье навещать родные края. А поэтому, не надеясь найти себе среди вас сторонников, я вынужден сам выступить за себя.

По правде сказать, я выступаю вовсе не за себя, а за вас, выступаю с намерением сделать для вас добро. Я попросту предлагаю себя орудием в ваши руки. За последнее время Венгрия сделала много, но недостаточно для того, чтобы стать счастливой и свободной... а ведь у каждой нации есть две основные цели: счастье и свобода. Венгрия до сих пор была сырой сосной, теперь она уже срублена, распилена на доски, но и поныне еще не обстругана; а ведь надо же ее обстругать для того, чтобы изготовить тот славный стол, за который сядут пировать два земных божества: счастье и свобода.

Как я уже сказал, Венгрия необструганная доска. Хотите вы ее обстругать? Хорошо! Вот я и предлагаю себя рубанком в ваши руки. Одно могу сказать, не согрешив против совести, что я испытанный рубанок, что я обработал немало неотесан-

ных бревен и при этом не затупился. А все эти пестрые речи я веду к тому, что приближается срок открытия Национального собрания, и в Национальное собрание надо выбрать депутатов... Изберете меня, я почту за честь, а вам, думаю, от этого убытка не будет и краснеть за меня тоже не придется.

Сказано куда как ясно — каждый поймет меня! Больше того, иные почтут мои слова даже слишком ясными. Возможно, что и так, но я тут не виноват. Есть у меня такая хорошая, а может, и дурная привычка, — это уж кому как нравится, — что выражаюсь я всегда прямо, без околичностей. И если б мой язык заговорил иначе, нежели чувствует сердце, я вырезал бы его в тот же миг. А, впрочем, коли искренность недостаток, то недостаток не только мой, но и всей венгерской нации, которая была искренней со дня сотворения мира. Я же, признаться, не стремлюсь быть лучше своей нации; хочу, чтоб в равной мере были во мне и хорошие и дурные ее черты, — я желаю быть венгерцем с головы до ног.

Так я думаю — потому и не крутил, не вертел, а ясно высказал, что хотел бы стать депутатом, если только вы, мои земляки, изберете меня. Спрашивается, почему я хочу, чтобы именно вы меня избрали? Потому что земля, на которой вы живете — прекрасный Киш-Куншаг, — и есть мой родной край, а как ни близка человеку вся родина, но еще ближе ему тот край, где он родился.

Удастся ли мне завоевать ваше доверие или нет — это знаете только вы да господь бог... Я не переоцениваю себя и не хочу похвалиться, но, видит бог, я сделал ради отчизны все, что был в силах, особенно ради ее простого люда... потому и достоин его доверия. Прочтите книги, которые я написал,

это увесистая груда; по ним вы увидите, как я любил всегда народ, стоял и боролся за него. Легко быть другом народа теперь, когда народ стал хозяином и у нас, на родине, и во всем мире; но я еще тогда был другом народа, когда его называли мужичьем и презирали. Так же оскорбляли, презирали и меня, как защитника народа. За эти труды свои я мечтаю только об одной награде, чтобы вы поставили меня на такое место, где я смогу и дальше трудиться и принести вам больше пользы, чем приносил до сих пор.

Рассказать все это о себе я счел нужным для того, чтобы вы хоть мало-мальски узнали меня, чтоб и те, кто не имеет обо мне вовсе никакого представления, поняли, кто и что я такое. Подобный публичный разговор о себе можно счесть в некотором роде наглостью. Ну что ж, назовите это наглостью или чем хотите, но знайте: никогда, ни перед кем не произнес бы я ни единого слова ради своей выгоды; а если я прибегнул сейчас к подобной наглости, то сделал это только из желания достигнуть священной цели — служения родине... Если такое стремление греховно, то вот мои глаза — плюньте в них; вот моя голова — закидайте ее камнями.

Ежели кто-нибудь сочтет мои слова хвастовством, пусть себе считает; я готов согласиться даже с тем, что был хвастлив, но никогда в жизни не был я столь низким человеком, чтоб кому-либо льстить. Сейчас у меня был бы лучший случай заставить полюбить себя; для этого стоило бы только вознести вас до небес, сказать, что вы, куны, такие-то и такие-то несравненные, изумительные, отличные люди! Произнеси я подобные витиевато-красноречивые речи, знаю, что угодил бы вам всем; больше того, многие из вас самодовольно пригладили бы

усы, волосы и сказали бы: «Эх, а все-таки славный человек этот Петёфи, выберем-ка мы его депутатом». Но вы не ждите, чтобы я восхвалял вас, — это была бы наглая ложь. Говорю вам честно, что вы вовсе не прекрасные люди, во всяком случае до сих пор не были таковыми. До 15 марта вся Венгрия была рабской, по-собачьему покорной страной, и вы были скорее в ее первых, чем в последних рядах. Достаточно вам будет вспомнить капитана Слуху и то, как ломали вы перед ним шапки, как ползали на коленях. Мне до сих пор стыдно за вас, когда я вспоминаю об этом. Некогда, во времена Моисея, евреи вместо бога поклонялись золотому тельцу, а вы пали еще ниже — вы поклонялись меднолобому ослу. Но это время прошло и, надеюсь, навеки. Вы подняли головы и, думаю, никогда больше не склонитесь ни перед одним человеком на земле. Бог дал животному четыре ноги, а человеку только две; и сделал он это для того, чтобы человек ходил выпрямившись и смело смотрел в глаза своим ближним, ибо все люди под небом равны; никто не имеет права смотреть на другого свысока, и никто не имеет права смотреть снизу вверх на другого. Я не знаю ни одного человека ни ниже, ни выше себя.

Вот что хотел я сказать вам, земляки; поэтому можете вы судить о моих чувствах и мыслях. Если я пришелся вам по нраву, вы выберете меня депутатом, и тогда я обращу все свои силы на выполнение сей великой и святой обязанности. Если же не выберете, тогда я буду знать, что нашелся человек лучше меня, и это будет большой радостью для моего патриотического сердца, ибо главное мое желание, чтобы в венгерской отчизне все люди были талантливее и усерднее меня, и дай-то господь венгров, чтобы наша отчизна жила во веки веков!

II. ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРАХ В САБАДСАЛАШЕ

Кунсентмиклош, 15 июня 1848 года.

Настало время, когда народ стал нацией, и он, а не дворянство выбирает своих представителей в Национальное собрание. Я, представлявший донныне народ в литературе, ухватился за случай, чтобы стать его избранныком и в Национальном собрании. Кто же лучше меня знает нужды народа? Кто отстаивал бы горячее его права? Ведь народ — моя религия, мой бог!

Приехав на свою родину в Киш-Куншаг, я распространил воззвание среди народа. Выборщики этого района, не принадлежавшие к сословию господ, встретили их восторженно и заявили единодушно, что изберут меня депутатом... На несколько дней я уехал в Пешт, а когда вернулся, обо мне уже ходили такие страшные слухи, словно я был закоренелым злоумышленником. Кто распространял эти слухи? Конечно, господа. Но в то же время народ Сентмиклоша желал меня видеть и слышать. Ко мне пришла депутация — около двухсот человек. Я отправился с ними к городской ратуше и заявил совету, что устрою народное собрание. Но тут на меня захрюкала кучка трясущихся от страха ежей. Они вздумали запретить мое выступление. Я не допустил этого. Наконец они согласились при условии, что я возьму на себя ответственность за все последствия и речь свою предварительно изложу в письменном виде. Первое условие я принял, второе не принял по двум причинам: во-первых, потому, что еще сам не знал, о чем буду говорить, а во-вторых, если б я даже заранее подготовил свою речь, то не для того уничтожили мы 15 марта цензуру, чтобы представлять свои работы на

обсуждение этого совета «мудрецов». Многообещающий молодой повеса барской породы, местный судья, спросил, о чем я буду говорить. Я ответил: о выборах депутатов и о той клевете, которой меня осыпали в мое отсутствие. Он страшно разозлился и заявил, что о депутатских выборах я могу говорить, но оправдываться в обвинениях, возведенных на меня, он мне запрещает властью судьи. О, образец судей! Обо мне он разрешал говорить и сам распространял всякие мерзости, но мне запрещает оправдываться! И это произошло не где-нибудь, а в городской ратуше, в храме правосудия! Богиня правосудия, зачем держишь ты недвижной рукой свой меч, почему не отсечешь ты ему этим мечом если не голову, то хотя бы нос или уши?

Я вышел и, стоя перед ратушей, говорил собравшемуся народу о депутатских выборах, умолчав о возведенных на меня обвинениях; последнее я сделал не вследствие запрещения судьи, а потому что хорошо видел по лицам окружающих: стоит мне только упомянуть о моих клеветниках (которые выглядывали из окна городской ратуши), как народ ворвется в ратушу и растерзает их в клочья, точно фальшивые банкноты.

Когда я еще беседовал в зале городской ратуши с достопочтенным советом, у меня нечаянно звякнула сабля, и тут же народ внизу закричал: «Беда! Обижают Петёфи!» Люди вломились в помещение и успокоились только тогда, когда убедились, что меня не тронут. И после того как я закончил свое дело в совете, народ с громкими приветствиями проводил меня на улицу, а впоследствии я узнал, что, куда я говорил с господами, многие из них стояли подле меня, открыв складные ножи... Они прослышали, что господа — или, как их называют,

фарисеи — хотят сбить меня с ног во время выступления... Тогда они решили, что первого, кто дотронется до меня, они беспощадно убьют. На счастье, никто из господ не посмел даже шевельнуться, и народное собрание разошлось в величайшем порядке; простой народ этого города присягнул мне и до нынешнего дня является моим непоколебимым сторонником.

В полдень я заехал в Сабадсалаш, чтоб ознакомиться с обстановкой. От одного из членов совета я услышал, что почти весь народ стоит за меня так же, как в Лацхазе и Фюлепхазе.

Я спокойно вернулся в Сентмиклош. У меня не было уже сомнений в том, что я стану депутатом. Бог видит мою душу и знает, почему я радовался депутатству: не из тщеславия и корысти, но только потому, что теперь смогу бороться за счастье и права народа.

Когда я возвратился в Сентмиклош, почтенные господа снова стали распространять обо мне бесчестную ложь и клевету. Между прочим, они утверждали, что свою речь к избирателям я украл из одной газеты, что сегодня после полудня меня даже не впустили в Сабадсалаш, а прогнали с окраины города, и так далее, и тому подобное...

Позавчера, во вторую половину дня, на имя моего друга, у которого я остановился, пришло письмо со штемпелем Сабадсалаша и за подписью «Судьи города Сабадсалаш». Письмо это сделало бы честь последнему свинопасу, первому иезуиту и самому Меттерниху. Содержание его, кстати, таково:

«Грозящая нам опасность исходит от безнравственности (???) желающего пролезть в депутаты бунтовщика-фанатика Петёфи. Он и у нас нашел несколько сторонников, которые, будучи одурманены,

не ведали, какую змею отогревают у себя на груди; но, слава ангелу-хранителю наций, эти граждане опомнились и готовы признать опасность, грозящую нашей дорогой нации вследствие их преступных убеждений. На вопрос одного нашего согражданина, когда наступит мир у нас в отчизне, Петёфи ответил, что никогда, если страна не перейдет во владение тех, кому она некогда принадлежала, то есть словаков; по одному этому уже видно, сколь опасно было бы, лишив сей чести отличных патриотов, избрать депутатом такую низкую личность, о которой каждый гражданин уже знает, что она готова продать нас за самую мизерную плату. Ввиду такого положения дел, созвали мы нынче общее собрание и решили через уважаемого всеми гражданином довести до сведения Петёфи, что если ему милы собственная отвага и жизнь, то пусть он поступит благоразумно и не явится в четверг на выборы представителей в Национальное собрание, ибо народ раздражен и мы не можем брать на себя ответственность за последствия справедливо разгоревшейся ярости». И так далее, и так далее...

Мой друг, к которому было обращено письмо, передал его мне. Я предполагал, что этим грозным посланием хотят меня только запугать, и решил: как бы ни был народ раздражен против меня, я, несмотря на все бесчестные обвинения, все же появлюсь на выборах, объяснюсь и успокою раздраженных. Но если б мне это даже и не удалось, я все равно буду присутствовать, иначе мои единомышленники, непоколебимо преданные мне, с полным правом возмутятся и скажут, что я покинул их.

Вчера под вечер я поехал в Сабадсалаш. Остановился у знакомого. При виде меня все его домашние пришли в ужас и едва были в силах произнести:

«Ради бога, скройтесь, уезжайте отсюда. Немедленно, сию же минуту уезжайте, не то вас избыют до полусмерти. Позавчера у господ чуть не до полуночи тянулось собрание, и они восстановили против вас весь народ. Поп, сын которого метит в депутаты, сказал, что, как только вы появитесь в городе, он ударит в набат. Скройтесь, если жизнь вам еще мила!»

Один мой родственник, запыхавшись, прибежал ко мне и рассказал то же самое; и я уже согласился было повернуть обратно, боясь не за себя, а за жену, которая была со мной. Я предполагал, что убить меня не убьют и даже не тронут, так казалось мне, но бог его знает, какие могут произойти скандальные сцены, а я не хотел, чтоб их видела и слышала моя жена. Я сказал ей, что мы поедем обратно. Но она ответила решительно, что обратно мы не поедем, а останемся здесь, что мы должны здесь остаться, даже если нас решили убить. «Пусть убивают! Пусть! Но никто не скажет, что ты отступил!»

Так говорила моя жена, и я согласился остаться. Более того, тотчас отправился в городскую ратушу. Там все оторопели от моего внезапного, никем нежданного появления. Многие просто разинули рты. Старший нотариус, мой единственный добрый знакомый в Сабадсалаше, рассказал об устроенном против меня народном собрании, на котором достопочтенный совет хотел его принудить официально опорочить, очернить меня, на что он, как честный человек, естественно, не согласился. Несколько присутствовавших при этом юнцов из всех сил оправдывались, уверяя, что они не затрагивали моей чести, а нападали только на мои принципы. Эх, вы! Знаете ли вы, что такое честь и что такое принципы?

Возвращаясь домой под вечер, я повстречал много крестьян, все они ласково приветствовали меня. «Ну, — подумал я, — все в порядке! Господа струсили, а народ благожелателен!» Вечером, часов около десяти, меня пробудили ото сна звуки музыки и шум. Чествовали поповского сынка как будущего депутата. Я выглянул из комнаты, и хозяева объяснили, что священник спаивает весь город. Так как эти подлецы и негодяи увидели, что ни клеветой, ни ложью они не оттолкнут от меня людей, они прибегли к последнему средству: пустили в ход вино и палинку, чтобы бедный, достойный жалости народ лишился разума и обратился против меня, а таким образом, против самого себя. Пьянство и крики продолжались всю ночь.

На следующий день рано утром я пошел к городской ратуше, чтобы там дожидаться народа и, когда все сойдутся на выборы, опровергнуть возведенную на меня клевету. Несколько минут я стоял в одиночестве, но вот кто-то появился рядом со мной и произнес: «Нахал!» Я обернулся, чтобы узнать, кто это сказал. Оказалось — один достойный, почтенный господин, который в дни своей молодости попросил у моего отца займа 40 форинтов, и тот дал ему. Лишь позднее мой отец узнал, что этот негодяй украл у собственного отца коня, ружье, пистолет и ускакал в степь разбойничать. Некоторое время он разбойничал, затем его схватили, а впоследствии он стал судьей в Сабадсалаше и с тех пор грабил не по соседству, а в своем родном городе. Именно этот человек, если только его можно назвать человеком, и произнес пьяным голосом: «Нахал!» Я и не подумал, что он говорит обо мне, а понял это только тогда, когда обернулся к нему и он повторил: «Да, да, нахал! Вы что здесь нахальничаете?»

Тогда я подошел к нему и сказал:

— Прошу вас осторожнее выбирать выражения.

— Я не стану выбирать, — отвечал пьяный негодяй. — Как смеете вы здесь, сударь, нахальничать?

— Я еще раз повторяю: будьте осторожнее в выражениях!

Только я это сказал, сейчас же меня окружило целое стадо озлобленных пьяниц. Сигнал был подан, ко мне бросились со всех сторон и больше сотни глоток взревело:

— Это изменник родины! Висельник! Русский шпион! Он хочет продать родину! Разорвите его на куски, убейте его!

— Подождите, граждане, — крикнул я, — дайте мне сказать, дайте мне сказать в свое оправдание!

— Не дадим говорить, убьем! — орали они, осыпая меня страшной бранью, грязной руганью. В это время меня уже втолкнули в ворота. Видя, что мне не дадут вымолвить ни слова, я спросил:

— Где судья?

— Вот я. Что вам нужно? — ответил старик, стоявший рядом со мной.

— Господин судья, — сказал я, — вы будете отвечать, если меня тронут.

— Буду отвечать, — ответил судья, — идите-ка наверх.

Он проводил меня наверх. Там я встретился с председателем комитета по депутатским выборам, человеком, которого вышибли из нотариусов; на народном собрании он заявил, что если народ не убьет меня, он сам меня пристрелит.

— Зачем вы пришли сюда? — сказал он. — Как вы посмели прийти, если народ так восстановлен против вас?

— А кто его восстановил? Я или вы? — спросил я. — А впрочем, не в этом дело! Помните, что за меня отвечаете вы и судья!

— Если вы сию же минуту не уберетесь из города, — ответил бывший нотариус, — мы не ручаемся за вашу жизнь.

— Так! Значит, мне здесь нечего делать, остается только удалиться. Но берегитесь! Вы не посмеете ни руку поднять на меня, ни очернить меня. Замечательно! Это вы так понимаете свободу? Вы позорите даже название своего города! Ведь он называется Сабадсалаш!*

— Свобода, — ответил председатель депутатской комиссии и бывший нотариус, — свобода — это когда изгоняют из города того, кто пришелся народу не по вкусу!

В это время поднялся и старый поп, который ради интересов сына за ночь благословил народ двумя дюжинами бочек вина. Он поднялся и, ободряя меня, сказал, чтобы я не боялся, ибо меня не тронут, лишь бы я покинул город.

— Не бояться? — отвечал я. — Разве я пришел сюда, если бы боялся?

Меня проводили во двор; перед городской ратушей все еще ревело пьяное стадо. Появилась вооруженная национальная гвардия и окружила меня.

— Но ведь пешком-то я не могу уйти, — сказал я. — Я должен подождать, пока не приедут за мной из Сентмиклоша.

— Ждать невозможно! — заявил бывший нотариус. — Вам надо удалиться немедленно. Мы больше не в силах сдерживать народ. Мы сами достанем

* С а б а д с а л а ш — по-венгерски означает: «Свободное пристанище».

коляску. Вот как раз стоит одна... Кучер, поезжай за нами!

И меня повели к окраине города, где я остановился. Я шел пешком, под конвоем вооруженной Национальной гвардии. Недоставало еще, чтобы мне скрутили руки.

Погрузили наши вещи; мы с женой уселись в экипаж и отправились в Сентмиклош. Уже проехав значительную часть пути, я крикнул кучеру:

— Куда же мы едем, ведь не эта дорога ведет на Сентмиклош?

— Она самая, сударь, — ответил кучер. — Только это не шоссе, на нее мы выедем у бестерской корчмы.

— А почему не едем по шоссе?

— Приказано вас по этой везти.

Я замолчал, не понимая, к чему все это... А когда мы уже отъехали далеко, я случайно посмотрел в сторону шоссе и увидел вдали телеги из Сентмиклоша и Лацхазы с моими знаменами, которые везли мои приверженцы. И тут я понял, что меня обманули, не желая, чтоб я встретился с моими избирателями. В невероятном гневе приехал я домой. К полудню вернулись сентмиклошцы и лацхазцы, такие же разгневанные, и рассказали, что с ними произошло.

Когда они уже приближались к Сабадсалашу, у бестерской корчмы навстречу им вышел человек и заявил от имени поповского сына:

— Тот, кто против Петёфи, пусть идет сюда и ест и пьет. А кто за Петёфи, пусть не суется в Сабадсалаш, — там его убьют.

Никого из моих сторонников не смутили ни приманки, ни угрозы. Подойдя к Сабадсалашу, уже на окраине они услышали от местных жителей, что

Петефи-де уехал и даже сам, молитвенно сложив руки, просил совет помочь ему уехать. Им сказали, чтоб они не вносили в город знамени, на котором стоит имя Петёфи, ибо тогда им будет крышка. Мой друг, у которого я останавливался, направился к ратуше в сопровождении еще нескольких человек, чтобы выяснить, в чем дело. Только он упомянул обо мне, как закричали, чтоб он не смел произносить моего имени, иначе его постигнет смерть. Вдруг поднялся шум; говорили, что на окраине завязалась драка между местными жителями и сентмиклошскими. Тогда вошедшие в город сентмиклошцы побежали на помощь своим товарищам, но, к счастью, слух оказался вымышленным. Посовещались о том, что делать, — входить в город или нет. Местное население было вооружено ружьями, косами и вилами. Пришла депутация из ратуши, утверждавшая, что никто не вооружен; пришла другая депутация, заявившая, что вход свободен, *так как оружие уже сложено*. Этим заявлением они признали сами, что были вооружены, а мои приверженцы, которые даже палки не прихватили с собой, решили, что, хотя те сложили оружие, опять могут за него взяться. Поэтому они повернули обратно, но с намерением нагнать меня и вместе со мною вернуться на выборы: «Вернемся, даже если всех перестреляют или изобьют до смерти». К счастью, они встретились со мной только здесь, в Сентмиклоше, где я призвал их к спокойствию, обнадеживая тем, что закон признает их правоту, в чем я и не сомневаюсь!

А в Сабадсалаше единодушно, без голосования выставили депутатом поповского сына, чванного, глупого малого, который, кроме того, был креатурой Слухи.

Так прошли депутатские выборы. Пусть бог будет столь же милостив ко мне на этом и на том свете, как я был правдив: я не солгал ни единым словом.

А те, кто так нагло восстанавливал против меня народ, неустанно твердя, будто это я восстанавливаю его против них, будто я бунтовщик... Эх, да если б я призывал народ к бунту, то тела сабадсалашских господ валялись бы уже повсюду и псы догрызали бы их кости. Мне стоило только слово сказать! Но я неизменно успокаивал народ, призывал его к порядку; я всегда предупреждал столкновения.

Никогда бесчестье не штурмовало честность и справедливость столь яростно, как на этот раз. Начали с того, что вызвали в народе ненависть ко мне из-за отпечатанного мною воззвания, уверяли, что я пролаза, расталкиваю всех локтями. Не достигнув этим успеха, прибегли к доводу, что я республиканец. «А для нас не беда, если он республиканец, — отвечал народ. — Пусть он будет нашим депутатом!» — «Этот человек, — говорили фарисеи, — враг министерства и короля». На это народ отвечал так: «А нам все равно, чьим бы врагом он ни был, — главное, что он наш друг, потому он и будет депутатом. Министры и король — великие господа, у них и без того достаточно друзей в Собрании, а вот у нас друзья то ли будут, то ли нет!» Когда все это не помогло, то, желая меня опорочить, пустили слух, что я такой человек, которому в Пеште уже и жить нельзя, которого выслали из Пешта; такой человек, что его провалу, заключению, убийству обрадуется не только министерство, но и вся нация, и будто бы я иллирийцам, русским и еще бог весть кому хочу продать Венгрию. И так как, несмотря на все эти гнусности, клеветники не были вполне уверены в своей победе, то в последнюю ночь они сползли изби-

рателей и насильственно провалили меня. Как назвать такие действия? Для этого нужно было бы изобрести новое слово! По сравнению с этим дьявольская скверна является христовой добродетелью!

Было несколько честных господ, которые, рискуя собой, оставались на моей стороне, и, следовательно, на стороне народа. Я записал их имена и не забуду их! Но я записал и ваши имена; вы — не знаю, как и назвать-то вас, — враги мои, а стало быть, и враги народа! Я скажу вам только одно — в Эрдее, у румын, я выучил два слова и эти два слова: «szine mintye»*.

И надо же было, чтобы все это произошло именно сегодня, чтобы сегодня захотел венгерский народ убить меня, как русского шпиона, как изменника родины!.. Сегодня, 15 июня, исполнилось как раз три месяца с 15 марта, когда я был первым среди тех, кто поднял свой голос за свободу венгерского народа и вступил в бой за нее!

Но не народ я проклинаяю за это, а тех, кто обманул его, свел с пути истинного. Я проклинаяю тех, кого когда-нибудь и закон и бог равно покарают. Народ для меня тем более свят, что он слаб, как женщина, как ребенок. Да славится имя народа ныне и присно и во веки веков t

19 июня 1848 года.

III. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО САБАДСАЛАШЦАМ

Сограждане! Вы подняли против меня вражескую руку, а я протягиваю вам руку друга, следуя священному писанию, которое гласит: «Дай хлеб тому, кто бросил камнем в тебя». Видит бог, я не

* «Будем помнить» (рум.).

гневался на вас даже тогда, когда вы накинулись, подобно диким зверям, чтобы растерзать меня. Тем менее сержусь на вас теперь. Я гневаюсь на тех, которые так сумели ввести вас в заблуждение, что вы ополчились против вашего лучшего друга, как против своего врага. А вас я могу только пожалеть, пожалеть от всего сердца.

Если вы еще не поняли, то поймете, что согрешили, тяжко согрешили и против меня и против самих себя, и вам придется краснеть, стыдиться за все случившееся. Вся венгерская нация пальцем покажет на вас, изгнавших меня из своего города, — и этот указующий перст покажется вам более пощечины.

Сограждане! Ежели клеветавшие на меня господи шли по честному пути, то почему же не позволили они мне произнести даже слово? А ведь я намеревался сделать так: когда вы, все выборщики, соберетесь, я выступлю перед вами и скажу: «Пусть подойдет сюда тот, кто желает меня в чем-либо обвинить, пусть он здесь, глядя мне в глаза, произнесет свое обвинение, и я отвечу ему!» Тогда выяснилось бы, кто честен и кто бесчестен. Но они не позволили мне говорить именно потому, что прекрасно знали: если я выступлю против них, они пропали. Я доказал бы, что все их обвинения — это поклепы, клевета, бессовестная ложь! Ведь если б они говорили правду, то осмелились бы высказать ее мне в глаза, а то они — трусы — срамили меня всегда за моей спиной.

В первое мгновение запальчивости я решил, что предам суду оскорбителей моей чести, но теперь я думаю иначе. Встав в одну шеренгу с этим мерзостным отродьем, я бы только опоганил себя. Это было бы похоже на то, как если б луна подала в суд на

собак, которые лают на нее. Пусть себе лают, луне это не во вред. В Венгрии нет ни одного честного человека, который сомневался бы в моей чести, а больше этого я не мог бы выиграть даже перед судом господним.

И господин Карой Надь напрасно торжествует — Национальное собрание признает эти выборы незаконными, а он из депутатского кресла будет выброшен прямо на свалку. Поделом же ему — что посеешь, то и пожнешь! А он может идти потом на все четыре стороны и лавры, которые пожал для себя и для вас, спрятать в карман. Бьюсь об заклад, что после этого он за тридевять земель будет обходить те края, где происходят выборы, чтобы даже и не слышать о них.

А вы, мои сограждане, готовьтесь к новым депутатским выборам, которые наверняка состоятся через месяц, и готовьтесь лучше, нежели к предыдущим. Коли обстоятельства позволят мне, я приеду к вам снова, хотя бы за тем, чтобы посмотреть некоторым людям в глаза. Изберите депутатом кого угодно, только не того, кто подкупает вас вином и угощением, ибо такой человек вам не друг, а злейший враг. Он стремится погубить вас, и вы от него еще поплачете, но будет уже поздно.

Я приветствую славных жителей Сентмиклоша, Фюлепсалаша и Лацхазы и прошу только бога просветить вас, чтобы впредь вы не считали врагом своего усерднейшего доброжелателя и искреннейшего друга. Больше нет нужды предупреждать вас, чтобы впредь вы не верили тем, кто вас одурачил, — вы им все равно больше не поверите. Вместо того чтобы обманывать вас, эти господа лучше бы отчитались перед вами о доходах города, которые они за свою службу разбазарили неведомо куда. Заставьте

их отчитаться, раз они уж такие честные люди. А потом, когда честь их будет чиста, пусть позорят других! Господь с вами!

IV. ПЕШТ, 27 ИЮНЯ 1848 ГОДА

Господа, которые выступили в Киш-Куншаге в роли моих Пилатов, пытаются теперь уверить народ, будто я повел депутацию, привезшую жалобу против незаконных выборов, не к министру, а к какому-то актеру или приятелю редактору, и его представил членам депутации в качестве министра. Мне это легко было бы опровергнуть, стоило бы только попросить выступить публично министра юстиции Ференца Дэака, к которому и отвезли жалобу, а он бы, конечно, не отказался. Но разве цель была бы этим достигнута? Люди, распустившие обо мне подобный слух, и без того великолепно знают, что утверждение их — гнусная ложь, а народ все равно бы ничего не узнал, ибо эти честные господа имеют обычай усердно прятать те газеты, которые способны чем-либо служить просвещению народа. Впрочем, я советую им перестать позорить меня. До сих пор я только презирал их; так пусть они поостерегутся пробудить во мне ненависть, ибо тогда я, ей-богу, сдеру с них шкуру (как бы толста у них она ни была, особенно на мордах), как содрал некогда шкуру Аполлон с Марсия.

V. ДЕПУТАТАМ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Карой Надь, *утащивший* у меня в Киш-Куншаге депутатский мандат, ухитрился *протащить* против меня статью в 99-й номер газеты «Пешти Хирлап». Статья эта вполне *достойна* его, а я, как это *подо-*

бает мне, привлек его к ответу и потребовал удовлетворения. С каким наглым *чванством* написал Карой Надь свою статью, с такой же беспримерной *трусостью* отказался он дать мне удовлетворение. Пример подобной трусости мы тщетно стали бы искать не только в биографиях мужчин, но даже в жизнеописаниях старых баб. Я предупреждаю и прошу депутатов Национального собрания не садиться в один ряд с этим *заклейменным* человеком, причем вовсе не из дружбы или любезности ко мне, а просто из уважения, с которым обязана эта корпорация относиться к самой себе.

ПИСЬМА ИЗ АРМИИ

1. РЕДАКТОРУ «ПЕШТИ ХИРЛАПА»

Эрдед, 1 октября 1848 года.

Я хотел добраться к месту своего назначения в Секейфельд через Кеварвидек, но из Надьбани вынужден был повернуть обратно. Там я встретился с кеварвидекским губернатором Шандором Телеки и с правительственным комиссаром Габором Михаи. От них я узнал следующее. Все румыны Краснайского и Кеварвидекского комитатов восстали. Центр восстания — Насод; там некие полковник Йович и подполковник Урбан раздают оружие и деньги примкнувшим к ним румынам. Повстанцев насчитывается тысяч десять; они похитили кассу Кеварвидекского комитета (18 000 пенге) и подожгли один дом. Венгерские господа, проживающие в тех краях, опасаясь за свою жизнь, переехали в Надьбаню. Повстанцы едва не схватили самого Телеки и правительственного комиссара; только обманом удалось им бежать; когда они сели в коляску и понеслись, румыны дали по ним два выстрела, но, к счастью, не попали. Многих комитатских чиновников повели в Насод закованными в кандалы; судьба их неизвестна. Сатмарский комитат предпринимает, какие только может, необходимые меры: несколько орудий и несколько сот солдат Национальной гвардии уже в пути. Я тоже следую с ними. Вчера я обратился к комитатскому голове с письмом, призывал поднять народное ополчение, так как наши отряды ничтожны в сравнении с силами противника. Надеюсь, что комитатский голова сделает это, не дожидаясь распоряжений

министра. А что творится в Пеште? Где теперь Елашич? Отступил или, напротив, продвинулся вперед? Мы ничего не знаем. Положение ужасное! Но будь отважной, нация моя, отвага, еще раз отвага, и родина будет спасена!

2. РЕДАКТОРУ «КЕЗЛЁНЯ»

Визакна, 3 февраля 1849 года.

Я в армии Бема. Во всей армии меньше всех занят сейчас я, но и у меня времени хватает только бегло изложить случившееся и то, что должно случиться впредь. После кровавой битвы, произошедшей под Себеном 21 января, в которой нас заставил отступить не враг, а судьба, — наша армия пошла на Селиндек и там дважды победоносно отразила удары императорских войск. Никогда еще доселе ни армия, ни полководец не проявили большего героизма, чем наша армия в этих двух сражениях. Покамест ограничусь только этим, позднее я постараюсь в меру своих сил обессмертить их. 31 января мы пришли из Селиндека сюда, в Визакну, сколько я понимаю, для того, чтобы прервать коммуникации императорских войск между Темешваром и Себеном. И это нам вполне удалось. Одно подразделение под командованием подполковника Кемени продвинулось к Дэве, для того чтобы соединиться с идущим из Арада майором Беке и совместно с ним перехватить отряд и боеприпасы, высланные в поддержку неприятеля из Темешвара в Себен. Сейчас это уже совершилось. Из захваченной сасшешской почты, которую Кемени переслал уже нашему генералу, выяснилось, что и жителям Себена и императорским войскам в Себене прихо-

дится туго. Войско без денег, без хлеба, без боеприпасов, а жители в страхе и отчаянии.

Из Харомсека на помощь нам выступило 8000, из Чиксека 3000 секеев, но, как только прибудет майор Беке, мы, не дожидаясь их, возьмем Себен штурмом. Все мы, начиная от Бема и кончая последним гонведом, верим, надеемся, что овладеем Себеном, а это значит, что в Эрдее будут уничтожены последние остатки реакции. Потом вместе с полководцем и армией мы выйдем на берега Тисы, чтобы показать наши победные знамена отчизне равнин... и, как некогда Бетлен, Ракоци, Телеки, мы низвергнемся, словно горные реки, и принесем на своих волнах ковчег свободы.

3. РЕДАКТОРУ «КЁЗЛЁНЯ»

Дебрецен, 15 февраля 1849 года.

Пишу эти строки не после самых счастливых, но после самых славных дней военной истории Венгрии. Я прибыл из Эрдейской армии; после перенесенных тягот мне было бы приятно немного отдохнуть и погреться у домашнего очага; но я все-таки оторву из моих драгоценных минут несколько мгновений, чтобы хоть вкратце сообщить моей родине о последних Эрдейских событиях; трусливых они, быть может, приведут в отчаяние (впрочем, это небольшой урон), а отважных еще больше воодушевят, ибо для подлинного мужчины нет ничего более воодушевляющего, чем деяния людей, не сломившихся и даже не согнувшихся в несчастье. Как я уже писал ранее, 1 февраля Бем вместе со своим войском перешел в Визакну; там мы пребывали в спокойствии до 4 февраля. 4 февраля неприятель выступил против

нас из Себена, где он сосредоточил все свои эрдейские войска. Возле Визакны он атаковал нас, в буквальном смысле этого слова, десять раз, хотя силы его в десять раз превосходили наши. После четырехчасовой битвы, которая была одной из самых кровавых битв, какие приходилось в наше время вести венгерскому войску, мы вынуждены были отступить. Под орудийной перестрелкой дошли мы до нашего первого привала — до Сердахейя; враг преследовал нас почти до самого конца. Отдохнув в Сердахейе, мы после полуночи двинулись в сторону Сасшебеша, куда добрались на рассвете. Дюлафехерварский гарнизон, извещенный уже о нашем отступлении, приветствовал нас орудийным залпом. После часовой орудийной и ружейной перестрелки мы взяли Сасшебеш штурмом. Дюлафехерварцы бежали из него, сломя голову, оставив нам в виде трофеев несколько повозок со снарядами, которые мы приняли с удовольствием. К полудню себенцы настигли нас; после многочасового сражения оттеснили наших бойцов к городу и безуспешно обстреливали нас из пушек до самой полуночи. Войска неприятеля, изрядно приумножившиеся за ночь, к утру почти совсем окружили нас. Вдруг генералу Бему сообщили, что явился парламентар. Бем ответил, чтоб его отправили обратно. Тогда рапортовавший сказал, что парламентар — поляк. «Тем более, — ответил Бем. — Я не стану разговаривать с поляком, который состоит сейчас на австрийской службе». Однако парламентаря привели, генерал сказал ему коротко: «Я не торгуюсь» — и приказал выпроводить его. А мы тем временем уходили из города, направляясь к Сасварошу. Уже с полчаса отводили мы свои войска, когда неприятель, заметив наше отступление, устремился вслед за нами

всеми своими силами. Мы шли под непрерывным орудийным обстрелом, который не нанес нам, правда, ни малейших потерь. В часе ходьбы от Сасвароша мы подожгли деревню, перерезав, таким образом, дорогу между нами и императорскими войсками. До Сасвароша мы добрались только к вечеру. Думали мирно войти в город, однако вскоре загремели пушки — так встречало нас ополчение саксонцев и румын. Сасварош тоже пришлось взять штурмом. Перед рассветом пришло донесение о том, что нас нагнали себенцы. Мы выступили им навстречу и бились часа два, бились не ради победы, которая была невозможна, а ради чести, которую через столько бедствий принесли мы в целостности и сохранности в полдень того же дня в Дэву, где мы соединились с прибывшими из Венгрии вспомогательными силами. Это было седьмого, а восьмого я покинул армию (но только на короткий срок). И что же произошло с тех пор? Этого я знать не могу. Позднее от генерала мне стало известно, что он немедленно, на другой же день, двинулся обратно, и я верю, что наши войска стоят снова если не в Себене, то уже во всяком случае под Себеном и очень скоро возьмут его. Армия, которая вела себя так во время четырехдневных, почти непрерывных боев, армия, которую ведет Бем, не может не победить. Мне хотелось бы и нации, и всему миру показать Бема во всем его величии, но для того, чтобы собрать свои душевные силы, нужно иметь больше времени, и, главное, больше спокойствия. Теперь пусть говорят о нем только эти голые, коротко изложенные факты. Какой бы ни была славной и героической наша армия, но тем, что она сохранилась единой и цельной после таких бурных дней, она всецело обязана своему генералу.

4. РЕДАКТОРУ «КЁЗЛЁНЯ»

Сасшебеш, 11 апреля 1849 года.

Проболев несколько недель, я вернулся в начале этого месяца в армию, принадлежностью к которой я горжусь, ибо полководец ее Бем; и вернулся я с радостью, потому что Бем мне отец и друг. По воле судьбы я пережил вместе с этой армией все ее трудности, опасности и беды, но не присутствовал при ее торжестве. Когда я вошел в Себен, пушки уже не гремели, штыки и сабли не бряцали, и кругом царила тишь да гладь: неприятель — немцы и русские — попрятался в Румынии. Бема я застал в Себене, пошел к нему просто, как рядовой, не питая никаких надежд, не имея никаких притязаний. А он вернул мне звание капитана и назначил своим адъютантом; первое я принял равнодушно, второе — с восторгом. На другой день мы уже выступили и направились к Дюлафехервару; в тот же день в течение трех часов обстреливали город из орудий и призывали сдаться. И на то и на другое из крепости отвечали двадцатичетырехфунтовыми снарядами. Оставив достаточно войск для окружения крепости, генерал выступил сюда, в Сасшебеш, и с тех пор мы здесь. Завтра или послезавтра направляемся в Венгрию. На днях приезжали сюда посланцы военного министра и Национального собрания, они привезли Бему орден первой степени. Вручение ордена произошло в обыкновенной комнате в присутствии нескольких офицеров — войск не было на месте, да и вообще наш полководец не привык к пышным и шумным церемониям. Этот небольшой, я бы сказал, комнатный праздник прошел сухо и официально, но был момент трогательный, потрясающий и даже

прекрасный, когда старый подполковник Немет, вручая орден нашему генералу, сказал: «Я не оратор, но, будь я даже оратором, все равно сейчас не мог бы говорить; разрешите мне поцеловать вашу правую руку, которая пролила кровь за мою родину!» И он, плача, поцеловал раненую руку генерала, заплакали и мы, все присутствующие. Но об этом надо не читать, это надо было видеть и слышать. Вчера Бем разослал ордена низших степеней лучшим воинам своей армии. В числе этих счастливых оказался и автор сих строк. Таким образом, я, наконец, вознагражден, притом даже слишком; и вовсе не тем, что я получил орден, а тем, как его вручил мне Бем. Пусть назовут это слабостью с моей стороны, но я не в силах удержаться, чтобы не описать сию сцену. Бем собственной рукой прикрепил орден к моей груди, причем левой рукой, ибо правая была на перевязи. И он сказал мне: «Левой рукой прикрепляю — она ближе к сердцу!» Он обнял меня и долго тепло прижимал к сердцу. Всем известно, что я не отличаюсь скромностью, но столько я, ей-богу, не заслужил. Я ответил ему с таким волнением, что и сейчас, когда вспоминаю об этом, душа моя трепещет. Я сказал: «Генерал, я обязан вам больше, чем родному отцу: отец подарил мне только жизнь, вы подарили мне честь».

5. РЕДАКТОРУ «КЕЗЛЁНЯ»

Караниебеш, 17 апреля 1847 года.

Мы выступили из Эрдея, причем с добрым предзнаменованием, — победа пришла к нам с первых же шагов. Неприятель поджидал нас по эту сто-

рону Вашкапу, возле пограничной деревни Вайс-словы. Мы напали и разбили его. Veni, vidi, vici.* Против нас выступило два батальона; из наших войск участвовали в боях только четыре роты 78-го секийского батальона. И после двухчасового сражения эти роты принудили двухтысячный отряд неприятеля к такому отчаянному бегству, что он не останавливался до самого Караншебеша. Оттуда он в тот же день кинулся дальше, так что вчера утром, когда мы пришли сюда, жители города встретили нас белыми флагами. Цифра потерь противника нам точно не известна, мы видели человек двадцать убитых и человек пятьдесят утонувших в реке. Эти хотели, видимо, спастись в горах и погибли, переправляясь через Тунет. А у нас — это может показаться невероятным, и, не будь я сам очевидцем, я бы тоже не поверил, — у нас не было даже ни одного раненого. Неприятель оставил нам даже две пушки; одну из них на моих глазах отвоевали с невиданной отвагой четыре секея. Наш генерал нынче наградил их за это медалями и деньгами, но они достойны того, чтобы родина знала их имена. Это были рядовые Матэ Дзак, Йожеф Надь, Имре Надь, Мартон Сабо. Вообще иметь представление о героизме секеев может лишь тот, кто сам был этому свидетелем. Они и взаправду чудесные ребята — тем более, что большая часть их на самом деле дети. Спокойно, отважно, чуть ли не размеренным шагом идут они вперед, в атаку, уверенно и безостановочно, совсем так, как идут косари на лугу, — и даже тогда поют песни, когда трещат их ружья. Однако стрельба им очень скоро надоедает, тогда они берут ружья наперевес и несутся вперед, и вместе с ними

* Пришел, увидел, победил (*лат.*).

несется погибель; врагу не остается ничего иного, как бежать или умереть. Но столь отважен секей только при одном условии: если полководец еще отважнее его, — вот почему и необходимо, чтоб их полководцем был Бем. Генерал покоряет своим грозным оружием, но несравненно сильнее покоряет он своим кротким обращением после боя. Окрестные жители, бежавшие от нас, как безумные, возвращаются обратно, увидев, что никто не тронул оставшихся дома. Но если этот несчастный народ еще раз восстанет против нас, то он заслуживает изгнания. Откуда напишу я следующее письмо? Не знаю! Быть может, оттуда, откуда я меньше всего предполагаю. Наш старый воин способен на многое!

6. РЕДАКТОРУ «КЕЗЛЁНЯ»

Заявление

Пешт, 11 июня 1849 года.

Я снова подал в отставку и теперь отказался не только от чина майора, но и навсегда от воинской службы. Недоброжелатели и непосвященные сопровождают этот мой шаг самыми возмутительными объяснениями. Мне ничего не стоило бы опровергнуть их единственным уничтожающим заявлением, но мое объяснение могло бы вызвать такие беспорядки, избегать которых сейчас велит мне долг патриота. Он всегда был для меня священным, а теперь священной в десять раз. Итак, чтоб не нарушить его, я позволяю клеветать на себя, умалять мои достоинства; позволяю до тех пор, покуда обстоятельства не изменятся и я смогу рассказать о причине своей отставки, о том, как платили мне за мои патриоти-

ческие жертвы, труды и дела. А сейчас я хочу предупредить мою нацию о том, что пока я вместе с Бемом и, награжденный Бемом, бился на Эрдейских полях сражений, мои клеветники хоронились по углам.

ПИСЬМА

1. ИМПРЕ НАДЮ

Уважаемый друг!

Вы думали получить от меня письмо из-за снежных круч Тироля? Вы будете обмануты так же, как обманула надежда и меня. Увы, мне не суждено познакомиться с этой дивной страной. Судьба не желает мне благоприятствовать, она ставит мне преграды на каждом шагу, препятствует каждому моему действию, рушит все мои надежды — словом, она мой злейший враг. Она даже Тироль сделала для меня запретным и, быть может, навеки. Мы добрались до Граца, он в 20—22 милях от Шопрона (прибыли сюда 30 числа сего месяца); здесь до нас дошло, что полк покинул Тироль и направился в хорватские города Загреб и Карлштадт. Я счел это вымыслом и все еще не терял надежды. Но, наконец, узнал, что это твердый и непреложный приказ. Завтра, то есть первого мая, полк покидает Брегенцу. Мы получили приказ прибыть в Загреб за две недели раньше полка. Таким образом, примерно до начала июня мы останемся в Граце.

Первая, вторая и третья роты направляются в Карлштадт, я следую туда же вместе с первой ротой. В Хорватии мы пробудем не более полутора лет, а дальше, надеюсь, наш путь поведет в Италию. Если это на самом деле так и произойдет, то я хоть как-нибудь забуду про Тироль. Но все это еще не наверно. Таковы мои дела. Что сказать мне о самом себе? Лишь теперь я чувствую, как низко я пал, свернув со стези науки, в круг невоспитанных, бесчувственных людей, попав в когти грубого деспота.

Только небесная, благодатная поэзия уносит меня иногда из этого ада. О, если б я не хранил ее в своей груди, меня убило бы отчаянье! Вот уже месяц я здесь, а написал еще очень мало. Да и как писать? Капрал, как только увидит перо в моей руке, начинает шуметь, браниться и тут же задает какую-нибудь работу. Так и живу и все-таки не падаю духом. Non, si male nunc, et olim sic erit *. Друг мой, как только выберете время, напишите, чтоб письмо застало меня еще в Граце. Будьте счастливы и не забывайте

своего верного друга
Петровича.

Грац, 30 апреля 1840 года.

2. ЙОЖЕФУ БАЙЗЕ

Милостивый государь, господин редактор!
Если мои ничтожные стишки достойны опубликования, прошу их принять в «Атэнэум». Предлагая и на будущее свои слабые силы, честь имею быть, милостивый государь господин редактор,
Ваш покорнейший слуга

Шандор Петрович,
учащийся.

Папа, 5 мая 1842 года.

3. ЛАЙОШУ СЕБЕРЕНИ

Милый друг Лайош!
Как мучительно ждал я, когда же мне доведется снова услышать что-нибудь о тебе, узнать, наконец,

* Если плохо сейчас, то не всегда будет также (*лат.*).

где ты находишься. И вот настал этот час! Нужно ли говорить, какая это для меня радость? Пользуюсь первой же минутой, чтоб излить свои дружеские чувства к тебе.

О твоём местопребывании я узнал от нашего друга Домановского, который ехал на каникулы вместе со своим учеником в Айку (кажется, Веспремский комитат) через Папу. Здесь и говорил я с ним. Но ты должен знать, как я приехал в Папу, как поселился здесь, ибо я уже здесь поселился. В последний раз я беседовал с тобой в Пожоне; теперь расскажу *per longum et latum* * свою повесть, если только она тебе не надоест, — расскажу, как я переехал в Пешт к своим родителям, как добирался из Пешта в Шельмец за свидетельством и как выехал обратно к родителям. Они радовались, что я освободился от солдатчины, но представь себе, друг мой, они хотят, чтобы я стал мясником. Я — мясник! Этому было две причины. Во-первых, отец мой всегда охотнее видел бы, как я режу мясо, нежели кромсаю ямбы и хореи. Во-вторых — и это поважнее! — родители мои обеднели настолько, что не в состоянии помогать мне в годы учения. Однако, как ты и сам можешь себе представить, я бы не согласился с ними, даже если б существовал еще десяток подобных же важных причин. В ожидании лучших времен я провел дома два месяца (май и июнь 1841 года), и здесь ко мне настолько привыкла та привязчивая добрая гостья, о которой Вёрёшмарти говорит: «Лицо твое, как лик луны, а стан твой, словно печь» и т. д., что мне пришлось силой от нее оторваться. Так я и сделал. Пошел в Пешт, но здесь для меня не дули и даже не веяли никакие благоприят-

* Вдоль и поперек (*лат.*).

ные ветры, и я продолжил налегке свой путь к Фюреду, а затем, переправившись через Балатон, Шомодь и Веспрем, прибыл в Толну Озору; там оказалась труппа актеров, с ними я подружился и — стал артистом. Три месяца я актерствовал, труппа наша разорилась, и я после «стольких бед и превратностей, правда похудев, но не сломившись», распрощался в Мохаче со сценой (с божьей помощью, надеюсь, не навеки) и, per varios casus et tot discrimina rerum *, через Мохач, Печ, Сигетвар, Капошвар, Кестхей, Шюмег и Сомбатхей прибыл в Шопрон. Здесь я думал учиться, но у меня не было ни гроша, а «ex nihilo nihil» **; отсюда я направился в Пожонь, — там меня ждало то же самое; потом пошел, наконец, в Папу... И тут хоть чуть-чуть засверкала моя счастливая звезда. Тарци, славный Тарци! Ему я обязан всем. Таким образом, я — в Папе, и если прозябаю, то все-таки я здесь, и питаю некоторую надежду, что dabit Deus his quoque finem ***. Охваченный сладчайшей радостью, взираю на наш все ширящийся юный кружок самообразования, а он на самом деле шириться. Ты уже, должно быть, знаешь, что в прошлом году был объявлен конкурс. В нынешнем также: на 1) лирическое стихотворение, 2) балладу, 3) новеллу и 4) научное сочинение. Награда за лучшую новеллу — три золотых, а за остальные произведения — по два золотых. Жюри: Цуцор, Пал Ковач и Игнац Штеттнер (поп-реформат). Мы уже представили свои работы на конкурс. 30 числа сего месяца состоится торжество, на нем будут продекламированы и прочитаны сочинения, заслужившие одобрение или награду. На будущий

* Изведав всякие происшествия и злоключения (лат.).

** Из ничего получается ничего (лат.).

*** Даст бог и этому конец (лат.).

год мы издадим альманах из лучших произведений. Знаешь ли ты, что к Новому году Домановски тоже приедет в Папу?

Книгу Клигля, благодаря которой я мог бы приветствовать тебя как литератора, я еще не видел. Появилось одно мое стихотворение в «Атэнэуме» под моей собственной фамилией (не знаю, читал ли ты его?). Но это первое и *последнее мое стихотворение, которое увидит свет*. Я отказываюсь, друг мой, от стихотворства, отказываюсь! Это в наше время неблагоприятное ремесло для бедняка: чертовски плохо кормит оно. Итак, я отказываюсь от стихов, друг мой, и принимаюсь за прозу! А ведь как она была мне отвратительна... Милый мой Лайош! Листок бумаги уже заполнен, а сердце мое еще полно; когда же обниму я тебя и расскажу все, о чем не мог здесь написать? Экзамены наши кончатся 21 августа; постарайся, чтоб твое письмо пришло до этого. Сентябрь и октябрь я проведу в Бекеше. Будь счастлив! Тебя целует

твой верный друг

(В настоящем) школяр *Шандор Петрович*.

(В былом) актер *Ронаи*.

(В будущем) *Шио* — актер и литератор.

4. ЛАЙОШУ СЕБЕРЕНИ

Любимый друг!

Письмо твое получил незадолго до экзаменов; не хотелось отвечать до тех пор, покуда снова не вернусь в Папу, так как страшное предзнаменование сказало мне, что моя судьба должна перемене-

Писал я в Папе 7 июля 1842 года.

ниться. И оно меня не обмануло. Друг мой, я приехал в Папу, приехал для того, чтобы навеки покинуть ее, навеки покинуть школу. Меня страшно преследует судьба. Я стою перед ужасной пропастью, которую мне надо перешагнуть, и от этого шага, быть может, разорвутся два сердца (моих родителей). И все-таки я не могу поступить иначе. Суди сам, мой друг! Я должен стать актером, иначе мне нет никакого спасения: родители не в силах мне помогать, а в Папе нет ни малейшей возможности раздобыть несчастные гроши, нужные для поддержания жизни. И вот я уже в третий раз становлюсь актером! Поглядим, что принесет рок. Нужно ли говорить, что я ищу не только хлеба насущного, — ведь я мог бы, нанявшись кучером или батраком, иметь более верный кусок хлеба; я выше стремлюсь, и эта цель никогда не померкнет перед моими глазами. Артист и поэт! Вот, друг мой, что воодушевляет меня. Но ведь уже давно решено, что я не буду заурядным человеком: *aut Caesar aut nihil* *. Не смейся, друг мой, если я говорю глупости.

Не знаю, слышал ли ты, что в прошлом году я в Папе получил за балладу одну из премий кружка самообразования; кроме того, похвалили и другую мою балладу, а также два лирических стихотворения (больше я и не представлял). Для отставного школяра и этого довольно!

Ты пишешь, чтоб мы сообщали друг другу все новорожденные творения нашего духа. Я сделаю это с величайшей охотой, удовольствием и радостью. А тебя попрошу присылать свои суждения о моих стихах (ежели они достойны этого); я же не

* Либо Цезарь, либо ничто (*лат.*).

столь высокого мнения о себе, чтоб сметь судить о твоих произведениях. Знаю, что для этого я слишком слаб. Письмо посылаю с нашим другом Домановским. Нынче же покидаю Папу. Как только найду себе где-нибудь пристанище, сразу сообщу.

Будь счастлив, люби

своего друга

Шандора Петровича.

Папа, 2 ноября 1842 года.

Вот два пустячка:

«В последнюю ночь»,

«Миллион проклятий».

В следующий раз, милый друг, напишу больше.

5. ЛАЙОШУ СЕБЕРЕНИ

Кечкемет, 5 марта 1843 года.

Милый друг!

Знаешь ли, кто я такой? Актер! Что поделаешь, naturam expellas furca etc. * Но теперь я стал им уже навеки, и мой девиз: «Да благословит иль покарает тебя рука судьбы, тебе здесь жить и умереть придется». О друг мой, многое, многое надо мне тебе поведать, и не знаю, с чего начать, что выбрать из этого великого множества? Помню, что в начале ноября я писал тебе из Папы, но совсем запамятовал о чем. Не знаю, сообщил ли тебе, как сложились мои дела и кем стану я в будущем. Так

* По-русски это соответствует пословице: «Гони природу в дверь, она влетит и окно» (лат.).

как мои планы учиться в Папе рухнули, то я с сердцем, полным печали и радости, прибыл в Фехервар и был принят в славную труппу директора Йозефа Сабо. Я поступил в нее с радостью, ибо меня ожидало поприще, ради которого я живу и дышу, но вместе с тем и с болью, так как знал, что этот шаг будет для моих родителей, словно гром с ясного неба. Я был готов ко всему. И с тех пор я актер; правда, на сцене я пока еще только ничтожное создание, но, надеюсь, что когда-нибудь буду не из последних. Не могу же я поверить, что небо не подаст руку помощи тому, кто взошел на сцену с такими священными целями, с такой решимостью и стольким пожертвовав, как я.

В Папе я провел дня два у нашего друга Домановского, от него и слышал, между прочим, что... у тебя любовные неполадки; и ты, мой друг, это скрыл от меня... но прости, прости, милый друг, что я посмел питать подобную надежду; прости, ведь я еще ничем не заслужил твоего доверия. Я согласен с тем, что ты написал в прошлом письме об искусстве актера, и буду этому следовать: *studium* *, неустанно *studium!*.. Я писал, что отказываюсь от стихотворства! «И сами не ведают, что говорят», — так, кажется, сказано в священном писании. Значит, ты все равно угадал бы автора «Пьющего», если б под ним и не стояло — «Петрович»? Ну, тогда, я надеюсь, ты еще скорее угадал, кто скрывается в том же «Атэнэуме» под именем Шандора Петёфи. На рождестве я был в Пеште и познакомился с Байзой и Вёрёшмарти. Мои стихи привлекли внимание Вёрёшмарти, и, как я слышал от Байзы, он решил, что под именем Петёфи

* Учение (*лат.*).

скрывается какой-то старый писатель. Полдня провел я в кругу этих давно почитаемых мною мужей. Счастливые часы! Мои товарищи-актеры тоже читали в «Атэнэуме» стихи Петёфи, но они не верят, что это я. А впрочем, я не очень-то обращаю на них внимание, они в большинстве *asinus ad liram* *. Друг мой любимый, порадуй меня вскорости письмом, я жду его с нетерпением. Но как можно скорее, чтобы оно еще застало меня здесь, в Кечкемете. Письмо адресуй: Кечкемет, актеру Шандору Петёфи в труппе Йожефа Сабо.

Тебя целует твой верный друг

Шандор Петёфи.

Вот два моих стихотворения, жду твоих замечаний.

«Сон»,

«Первая песня».

А тебя, милый друг, прошу прислать несколько своих стихотворений.

6. ЙОЖЕФУ БАЙЗЕ

Кечкемет, 14 марта 1843 года.

Милостивый государь, господин редактор!

Я счастлив послать вам несколько песен с нижней просьбой: после строгого отбора поместить достойное увидеть свет в «Атэнэуме», а если что останется, то сообразоволю передать в «Хондерю». Я осмеливаюсь просить вас об этом, милостивый государь, ибо не очень доверяю отбору

* Ослы относительно поэзии (*лат.*).

Петричевича и не желал бы утомлять публику пустыми произведениями. Если же не найдется ни одного достойного, — что ж, пусть все они канут в безвестность. Лучше ничего, нежели плохое. Из трех стихотворений, еще не напечатанных, стихи под названием «Мои слезы» и «Весть» прошу навсегда изъять из «Атэнзума»: великая неприязнь появилась у меня к ним. Я не знаю, насколько хороша «Первая роль», но был бы рад, если б она оказалась достойной печати; она напоминает мне о моем первом выступлении. А впрочем, во всем отдаюсь, милостивый государь, на ваш суд.

Фехервар мы покинули, прибыли в Кечкемет, где дела нашей труппы идут довольно плохо. Как актер я хоть и мало, но все же развиваюсь; я уже имел счастье, овладев вниманием публики, несколько раз вызывать у ней аплодисменты — этого для начинающего актера достаточно. 23 числа сего месяца будет мой бенефис; после великой борьбы удалось мне добиться, чтоб это был «Король Лир». Я играю в нем шута; получить сию роль стоило также немалых трудов, ибо слишком много козней среди актеров. Частенько говорю я со стоном: «Божественное искусство, отчего жрецами у тебя черти?»

Пользуясь удобным случаем (мой директор Йожеф Сабо — в Пеште), осмеливаюсь просить вас, милостивый государь, чтобы вы соизволили прислать мне те номера «Атэнзума», в которых напечатаны мои стихи: в первой половине прошлого года — в одном номере, во второй половине — в двух и в нынешнем году — снова в двух. Мои товарищи-актеры сомневаются, что я и есть тот Петёфи, стихи которого печатаются в «Атэнзуме». Пусть сомневаются! Мне безразлично, я пишу не

для них. Если вас, господин редактор, не затруднит, не откажите написать, какие из моих стихов будут напечатаны в «Атэнэуме» и какие в «Хондерю». Еще раз умоляя о величайшей строгости в отборе моих произведений, остаюсь, милостивый государь,

ваш слуга,

уважающий вас

Шандор Петёфи.

7. ЙОЖЕФУ БАЙЗЕ

Пожонь, 1 июня 1843 года.

Милостивый государь!

Если б моя судьба позволяла мне хоть чему-нибудь радоваться, я был бы рад, что могу высказать вам свое горячее уважение, тем более, что письмо мое, к счастью, попадет в ваши руки через господина Шандора Вахота. О моя судьба!.. С какими прекрасными надеждами приехал я в Пожонь, с какими видами на будущее, — и все, все пропало! Габор Фекете не принял меня в свою труппу, поскольку к моему приезду у него уже и без того были лишние актеры. Мне не оставалось ничего иного, как взяться за перо, для того чтобы обеспечить свое пребывание здесь. И вот я весь день переписываю «Ведомости сейма», редактируемые Заборским, а оплата так ничтожна, что только и хватает на хлеб насущный. К тому же глаза мои слабеют и грудь побаливает, а при столь сухих занятиях и муза меня обходит. При таких обстоятельствах я с удовольствием покинул бы Пожонь и стал искать актерскую труппу, которая приняла

бы меня, — люблю, лишь бы не тратить времени попусту; но в моем положении это невозможно: я нищий!

Простите, милостивый государь, что я докучаю вам жалобами на свою судьбу; но у меня нет никого на свете, кому бы я с доверием мог раскрыть свою душу.

Посылаю вам снова несколько стихотворений и возобновляю свою просьбу: соблаговолите отнестись к ним со всей строгостью, хотя бы только одно хорошее нашлось среди них или даже ни одного! Утешением мне будет по крайней мере то, что я не выступил перед миром с плохими стихами. Я последовал вашему совету, милостивый государь, и попытался написать народную песню «Издальёка» метрическим стихом; но едва ли достиг успеха. С Лисняи я познакомился ближе. Поручая себя в ваше и господина Вёрёшмарти любезное благорасположение,

остаюсь, милостивый государь,
вашим неизменным почитателем

Шандор Петёфи.

8. ЙОЖЕФУ БАЙЗЕ

Пожонь, 3 июня 1843 года.

Милостивый государь господин редактор!

В пору своего пребывания в Пеште я отнес Гараи четыре стихотворения с тем, чтобы он поместил их в «Регеле» за подписью «Школяра Андора». Признаюсь, что я преследовал единственную цель: удовлетворить собственное любопытство и узнать, что скажет об этих стихах Верецей? Думаю, что

молодому писателю не следует ставить в укор такое любопытство. На рукописи тоже стояла вышеупомянутая подпись — словом, я просил, чтобы никому не сообщали настоящего имени автора. Сохранить свое имя в тайне мне было важно, тем более, что я вовсе не желал становиться сотрудником журнала, который по разным причинам ставлю весьма невысоко. И вот Гараи, вопреки моей воле и неизвестно из каких соображений, подписал мою фамилию под первым же стихотворением. Это подлый обман! Покорнейше прошу вас, милостивый государь, предоставить в ближайшем номере «Атэнзума» место для нижеследующих строк, причем я оставляю вам полную свободу для внесения необходимых поправок,

с чувством почтения

имею честь, милостивый государь, быть
вашим покорным слугой

Шандор Петёфи.

САМОДУРСТВО ГАРАИ

Discite, mortales, non temerare fidem. *

Его редакторское превосходительство, господин Янош Гараи, как-то раз уже проявил свой жестокий деспотизм касательно одного из моих «собратьев по Аполлону». Теперь мне привалило счастье пасть новой жертвой во владениях «Регеле». Бедная моя головушка!

Намедни я доверчиво обратился к его деспотическому превосходительству и попросил выдать

* Учитесь, смертные, не нарушать обещания (*лат.*).

паспорт нескольким моим младенцам, которые, желая вступить в единоборство с критикой, решили инкогнито въехать в вышеупомянутые владения «Регеле». Возможно, что это желание было несколько самонадеянным... но поплатились они за него жестоко. Хотя инкогнито было *торжественно обещано*, однако маску сорвали с первого же младенца. Благодарю вас, уважаемый господин редактор, за такое благорасположение, ибо я хочу верить, что все это сделано из самых лучших побуждений. Не пожелав подвергнуть моих милых детей презрению, коему часто подвергаются инкогнито, вы решили украсить их блестящей фамильной печатью. Это превосходно, превосходно и правильно! Но вместе с тем сие благородное побуждение привело к тому, что вы *нарушили свое слово*, а это уж вряд ли можно отнести к самым блестящим чертам человеческого характера. Таким образом, не желая ни за какие блага на свете подвергнуть вашу душевную чистоту еще одному испытанию, прошу вас замкнуть ворота «Регеле» перед остальными моими детьми, которые еще не тронулись в путь. И я заверяю вас, великодушный господин редактор, что больше мы (как гласит у нас поговорка) собаке сало не поручим.

Шандор Петёфи.

9. ЛАЙОШУ СЕБЕРЕНИ

Пешт, 21 июля 1843 года.

Дорогой друг!

Покинув после пасхи Папу, — откуда я черкнул тебе несколько слов в письме нашего друга Домановского — я провел некоторое время в Пожоне.

Туда я пошел, думая выступать на сцене, но Габор Фекете не принял меня в труппу. Таким образом, я вынужден был за чудовищно низкую оплату переписывать «Ведомости сейма». Но вскоре это мне надоело хуже барщины. К счастью, я познакомился с Шандором Вахотом. Он поехал из Пожоня в Пешт навестить свою милую (которая 10 числа сего месяца стала его женой) и, пустив без моего ведома среди атэнэумовцев подписной лист, собрал для меня тридцать пенге-форинтов. В числе подписавшихся были Вёрёшмарти с супругой, Байза с супругой, Вахот с невестой и ее отцом и другие. Это и выручило меня в Пожоне. Спустя некоторое время сам Габор Фекете пригласил меня вступить в его труппу, что я и сделал немедля. Но сразу, на другой же день, получил письмо от Игнаца Нада, в котором он сообщил, что, если я приеду в Пешт, он устроит меня в Национальный театр и, кроме того, несколько месяцев я буду получать переводы от издательства «Иностранные романы». Разумеется, я сразу поехал. Три недели, как я здесь; перевел уже один роман («Сорокалетняя женщина» Карла Бернгарда) и получу за него сотню вальто-форинтов. Вчера приступил к переводу другого романа: «Робин Гуд» Джемса. Немецкий текст 900 страниц, так что это должно занять порядочно времени. До той поры я буду в Пеште. А куда поеду потом, еще не знаю. Вступить на пештскую сцену у меня не хватает духа, хотя Вёрёшмарти и уговаривает, но это такой орешек, который нелегко раскусить. А впрочем, быть может, еще и решусь. Я живу вместе с Лайошем Фекете; он кланяется тебе и удивлен, почему ты не пишешь ему, несмотря на то, что он послал тебе письмо. Вот как примерно обстоят наши

дела. А теперь дозволю задать тебе вопрос, который я считаю нужным задать. Питаешь ли ты ко мне такие горячие чувства, которые связывают сердца крепкой, священной цепью? Словом, питаешь ли ты ко мне *истинную дружбу*? Или видишь во мне только юношу, с которым, как и со многими другими, учился некогда в одной школе и в минуту воодушевления, а может быть, и по привычке, выпил на *брудершафт*? Если справедливо первое, то пиши как можно скорее и как можно больше: напиши о своих делах, судьбе, обо всем; читал ли, читаешь ли мои стихи, и если да, то выскажи о них свое мнение. Словом, ты сам знаешь, о чем писать или не писать. Если же справедливо последнее, то не отвечай на мое письмо; лучше расстанемся навеки, ибо холодная переписка не стоит ни времени, ни чернил, ни бумаги, которые мы тратим на нее. Кроме того, ни одному из нас она не доставит удовольствия, она бесполезна. Ежели будешь писать, адресуй свои письма так: Шандору Петёфи и пр. Кафе Пильвакс. Надеюсь, что ты столь же искренне будешь следовать велению сердца, сколь искренне задал я тебе этот вопрос. Господь с тобой!

Твой друг

Шандор Петёфи.

10. ШОМЕ ОРЛАИ ПЕТРИЧУ

(Дебрецен, начало октября 1843 года.)

Шома!

Приехав сюда, я отправился в театр, где повстречал много знакомых. Те сообщили Комлоши о моем приезде, и, хотя это не было в моих намере-

ниях, я остался по его настоянию. Итак, я в труппе Комлоши. Через неделю мы едем в Варад, а оттуда к началу ноября в Коложвар. Впервые я выступлю в четверг или в субботу; буду играть роли любовников. Знаю, что в иных случаях ты не прочь был бы сыграть эту роль за меня, в каких случаях, знаешь сам. Написал бы еще, да карандаш мой не пишет.

Обнимаю, целую тебя, друг моей души!

Твой *Петёфи*.

11. ЙОЖЕФУ БАЙЗЕ

Дебрецен, 28 ноября 1843 года.

Милостивый государь!

Пользуясь вашим любезным соизволением, осмеливаюсь коротко изложить обстоятельства своей жизни, хотя в данное время они чернее моих бледных чернил. И, несмотря на это, я излагаю эти обстоятельства охотно, так как охвачен сладостной надеждой, что, быть может, вы, милостивый государь, отнесетесь к моей судьбе не без сочувствия. Да будет мне дозволено надеяться на это и да буду я столь счастлив, что надежда моя осуществится. Ибо, милостивый государь, ваши, хоть и не заслуженные мною, любезность и снисходительность вели меня к высшей цели, были моей гордостью, путеводной звездой на заброшенной жизненной стезе.

Покинув Пешт, я приехал в Дебрецен и отсюда намеревался поехать дальше в Эрдей. Но по настоянию знакомых актеров, пошел к Комлоши, труппа которого в то время выступала здесь, и он сказал мне, что едет на зиму в Коложвар. Ком-

лоши принял меня сносно, так что я неделю провел в Дебрецене уже в качестве актера его труппы. Но вот как-то Комлоши снова вызвал меня к себе на длительную беседу. К моему величайшему удивлению, к этому времени он запел уже совсем на другой лад; между прочим, заявил, что в Коложваре мне придется выступать в операх. Это не понравилось мне больше всего. Выйдя от него, я повстречал по пути директора небольшой труппы. Тот пригласил меня к себе, посулив хорошие роли и хорошее жалование. Именно поэтому я и нанялся к нему, а еще больше потому, что у меня вышли все деньги и я не мог продолжать поездку. Мы отправились в степной городок Бихарского комитета — Диосег — и играли там несколько недель. Мне дали несколько недурных ролей, например роль Торнаи в «Выборах», Варнинга в пьесе «Тридцать лет, или жизнь игрока» и др., и положили пятьдесят форинтов жалования. Из Диосега мы покатали в Секейхид, там выступали три недели. 24 числа сего месяца труппа наша распалась, ибо мы хотели поехать в Надькарой и Сатмар, а директор не соглашался на это. Таким образом, мне ничего более не оставалось, как вернуться в Дебрецен. Правда, развал труппы был вовсе не единственной причиной моего возвращения — ко всему я еще захворал, и болезнь моя становится с каждым днем все тяжелее. Уже и в Секейхиде я не мог выступать, и нет надежды, что скоро опять появлюсь на сцене. Я очень ослаб, и, должно быть, понадобятся два-три месяца, чтобы силы вернулись ко мне. Я сущий скелет. Так прозябаю я в нужде, и мне придется перезимовать здесь, в Дебрецене. Пришлось прибегнуть даже к такой наглости: одолжить немного денег у господина Игнаца Надя.

Мне очень совестно, но иначе я поступить не мог. Л... на самом деле негодяй; выманил у меня восемь пенге-форинтов, когда я был в Пеште, и три до сих пор не вернул. Музы обходят меня; после отъезда из Пешта я написал всего лишь две горестные народные песни. Усердно читаю «Драматические журналы» Тика и «Der dram. Darstellung» Ретшера Кунста, — так проходят мои дни. Очень хотелось бы написать Шандору Вахоту, но не знаю, интересны ли будут ему мои письма. Есть еще люди, которых я уважаю и хотел бы просить их хоть изредка вспоминать обо мне, но я так ничтожен, что не осмеливаюсь. Простите меня, милостивый государь, что отнял у вас так много времени, и извините за мое нескладное письмо. Поручая себя в ваше любезное благорасположение, остаюсь

ваш, милостивый государь,
покорный слуга

Шандор Петёфи.

12. ИГНАЦУ НАДЮ

Дебрецен, 28 ноября 1843 года.

Милостивый государь!

Ваша любезность, отблагодарить за которую мне будет очень трудно, хоть я и не перестаю вспоминать вас с признательностью, — придает мне смелость обратиться к вам с нижайшей просьбой. Злосчастная судьба, вот уже четыре года преследующая меня с примерным постоянством, сейчас снова дала мне особенно почувствовать свою тягостную власть. Уехав из Пешта, я уже в дороге захворал, и болезнь моя все более усугубляется, — вот

уже три недели, как я не могу даже играть. Поэтому, а кроме того, еще и потому, что труппа, в которой я состоял, распалась, я вынужден был вернуться обратно в Дебрецен, где мне придется и перезимовать. Я настолько ослаб, что едва передвигаюсь; и если бы даже вскорости выздоровел, мне все равно потребовалось бы несколько месяцев покоя и отдыха. В таком положении я вынужден, милостивый государь, просить вас о любезности одолжить мне сорок пенге-форинтов. После выздоровления я не премину приложить все силы к тому, чтобы вернуть их вам. Ежели это вас, милостивый государь, не затруднит, то исполните мою нижайшую просьбу: этим вызволите меня из величайшей нужды, в какой только может пребывать человек.

В случае согласия, извольте адресовать свое любезное письмо следующим образом: «Актеру Шандору Петёфи, в доме вдовы Фогаш, неподалеку от католической больницы». Если же просьба моя не может быть выполнена, то умоляю вас не досадовать на меня за мою смелость, к которой принудила меня крайняя нужда. Остаюсь

ваш, уважаемый милостивый государь,
покорный слуга

Шандор Петёфи.

13. БЕЛЕ ТАРКАНИ

(Эгер, вторая половина февраля 1844 года.)

Уважаемый друг! (Если только я не оскорблю вас подобным обращением.)

Заходил к вам несколько раз, да все не заставал дома. Зайду завтра часам к семи утра. Буду очень

рад познакомиться с вами, хотя посещение мое объясняется и другой причиной. Я оказался в чрезвычайно стесненных обстоятельствах (завтра расскажу об этом подробнее) и очень прошу вас достать мне к тому времени что-нибудь на дорогу, дабы я мог добраться до Пешта. Пусть вас не оттолкнет этот quasi* повелительный тон. Я хоть и в большой нужде, однако ж не попрошайничаю. Подробнее обо всем завтра, а до той поры господь с вами.

Шандор Петёфи.

14. АЛЬБЕРТУ ПАКУ

Пешт, 15 апреля 1844 года.

Друг мой Фрици!

Уж не помню, о чем я писал и о чем не писал в предыдущем письме, но одно несомненно: ума не приложу, о чем буду писать *сейчас*. Правда, предметов для письма найдется немало, но не знаю, с чего начать. Итак, начну с нашего друга Абея Каяна. Ты ведь знаком с ним? Ну как же? Как раз сегодня напечатали его статью в «Элеткепеке». Захожу я поутру к Франкенбургу, и он спрашивает меня: «Кто такой этот А. К.?» Я отвечаю, что «это... как его... Адальберт Пак, мой добрый друг». Тогда Франкенбург и говорит: «Ах, так гононар его я отдам, дескать, только вам, а вы, говорит, передадите ему». — «Ладно, говорю, передам. Поручите только мне, говорю». Но потом, хорошенько пораскинув умом, я решил, что не стану передавать нашему другу Абею Каяну эти четыре пенге-

* Мнимо (лат.).

форинта, так как они мне и самому придутся очень кстати. Да и кроме того, можно ли представить себе в нашем друге Каяне столько нахальства, чтобы он взял деньги за свое первое выступление в печати. Пусть он будет благодарен уже за то, что увидел там свое имя. Друг Берти, передай, пожалуйста, об этом моем решении нашему приятелю Каяну. Если ты еще не отправил мой сундук, то отправь его поскорей. На стене висит портрет Вёрёшмарти, смотри, не забудь его там. Что же касается до меня, мой д-р-р-р-уг, что же касается до меня, то я *ухожу со сцены* (надолго или навсегда, этого, право, не знаю). Итак, я отказываюсь от театра, и знаешь, кем я стану? Вернее, кем я уже стал? Так вот: помощником редактора «Регеле!» Начиная со второй половины года буду работать у Имре Вахота. И Байза, и Вёрёшмарти, и Игнац Надь, и вообще все одобряют этот шаг. Имре Вахот сам пригласил меня. Ну, а ты, мой проницательный друг (физиономист), ты что скажешь о нем? Следующее письмо буду ждать от тебя в Дунавече, где я проведу два месяца. На пасхе я тоже прожил несколько дней дома. На-днях опять еду домой. Так что пиши как можно быстрее. Письмо адресуй: Шандору Петёфи, Дунавече, в мясной лавке. Но ты напиши больше, чем написал

твой собрат по перу

Петёфи.

15. БЕЛЕ ТАРКАНИ

Дунавече, 28 апреля 1844 года.

Admodum reverende * друг мой!

Если б ты был не самим собой, то в нетерпении своем произнес бы столько бранных слов, что блестящий Пантеон брани поднялся бы на несколько ярусов выше. Но так как ты священник, то, надеюсь, ждал прибытия моего письма с подобающим смирением. И вот срок прибытия настал. Думаю, что, когда ты будешь читать эти строки, письмо уже будет у тебя. Но почему подверг я такому испытанию твою «смирненную терпеливость» (как именуют до сих пор венгерские странствующие актеры терпение)? Не спрашивай! На это, пожалуй, и я не сразу отвечу. В оправдание свое могу сказать только одно (если это, конечно, может служить оправданием), что я ленив, как пес, когда дело доходит до писем. А впрочем, говоря по правде, я в первом же своем письме хотел подарить тебе «Легенду», но так как вдохновение до сих пор не одаряет меня ничем, то и я не могу подарить тебе вышеупомянутую вещичку. И откровенно говоря, друг мой, из этой «Легенды» вряд ли что выйдет. Ей-богу, я столько ломал над ней голову, что просто страх, да так ничего и не накропал... Положим, вру, сорок строк уже есть, но дальше ни с места. Я уже думаю о другом предмете, и ежели смогу, то изготовлю его к сроку. Ведь, кроме того, что я дал слово сотрудничать в «Орандле», мне еще было бы очень приятно выступить вместе с вами, славные ребята, горячей дружбой которых я горжусь. О друг мой,

* Высокочтимый (лат.).

Бела! Какие чудесные дни провел я в вашем кругу. Ей-богу, не забуду их никогда. Покинув вас, — уж и не помню, когда это было, — я прибыл в Пешт. Стихи свои я таскал туда-сюда, а толку добиться не мог; никто из книгоиздателей не желал их купить, утверждая, что на стихи вообще нет спроса. Дело мое казалось совсем уже безнадежным и вдруг нежданно-негаданно приняло благоприятный оборот. Вёрёшмарти поставил вопрос обо мне на обсуждение «Национального круга». «Круг» решил издать мои стихи; и будут они изданы таким образом, что откроется подписка на тысячу экземпляров, а весь доход, за вычетом типографских расходов, пойдет мне. Возможно, что сборник появится уже в начале июля. Стоить он будет один пенге. Просмотр моих стихов поручили Вёрёшмарти, Шандору Вахоту и Сиглигети, и они, друг мой, изъяли штук пятнадцать, большей частью вакхические песни. Подумай только, они хотели выкинуть и «Размышление человека, страдающего от жажды», но уж этого я не допустил. Так обстоят дела с моими стихами. Что же касается актерской карьеры, то она окончена. Да, мой друг, я отказался от сцены и с первого июля буду служить у Имре Вахота редактором «Регеле». Таким образом, впредь я буду жить одной лишь словестурой, вернее литераностью — сиречь литературой. Ежели я не ошибаюсь, ты так и советовал. Егго*, так и вышло. До середины июня останусь дома у своих родителей, куда и прошу как можно скорее писать мне. Поручая себя в любезное дружеское благорасположение твоих славных товарищей, обнимаю тебя,

твой друг

Петёфи

* Значит (лат.).

Письмо свое адресуй:

Шандору Петёфи, Дунавече,
через Пентеле у мясной лавки.
«Во время выпивки» напечатали в «Регеле», ты,
может быть, уже знаешь об этом?

16. ЭЛЕКУ ДЭМЭКУ

Пешт, числа 20 октября 1844 года.

Лексика, о мой Лексика!

С горестной миной взял я намедни письмо от почтальона, ибо пришлось мне доплатить за него семь пенге-крайцаров. Но когда я увидел, что письмо от тебя, то сразу же решил, что не жалко было бы дать за него столько же форинтов (*nota bene*), если б у меня, конечно, было столько форинтов!!

И поганые же вещи пишешь ты, дружок, в своем письме, — говорю тебе честно, — например: «Любимый друг (надеюсь, что вправе еще к тебе так обращаться)!» Так ты и написал, дружок, и могу тебе сообщить, взбесил меня до чертиков. Может быть, тебя навело на эти мысли то, что я не слал тебе писем целыми возами. О, если ты меряешь дружбу количеством писем, то я ничьим другом быть не могу, ибо не умею, не хочу и неспособен писать письма! Для меня это, выражаясь по-вёрёшмартовски, хуже смерти, хуже камеры пыток. Так что, друг мой, на это ты и впредь не питай надежд, и тем не менее я твой друг и останусь лучшим другом, чем кому-либо на свете. Если ты приедешь в Пешт (*quod Deus faxit **), то я «ворвусь и задую в объятиях», как пишет Петёфи Томпе.

* Да пошлет это бог (*лат.*).

Получен ли в ваших краях подписной лист на мои стихи? Они должны выскочить из печати и промчаться по обоим венгерским отчизнам к ноябрьской ярмарке. Другая моя вещь уже издана, и на будущей неделе ее можно будет достать. Называется она «Сельский молот» — это героический эпос. А ты ездь на охоту, читай, посещай собрания и люби, не забывай

Петёфи.

Вчера написал стихотворение, при желании можешь прочесть его на обратной стороне листа, — «Легенда».

17. АУРЕЛЮ КЕЧКЕМЕТИ

Пешт, не знаю, какого числа января 1846 года.

Милый Аурель!

Я ответил сразу же по получении твоего послания, но сунул письмо в карман и таскал его до тех пор, пока оно не... затерялось. Дурацкая штука, но кто ж виноват! Теперь уж наверстаю, как могу. Мне нетрудно было бы приврать, сказав, что письмо было на целый лист. Но к чему? Ты бы все равно не поверил. Однако твое письмо меня слегка раздосадовало, — уж больно ты несправедлив ко мне. Никто из моих друзей не вправе предъявлять ко мне претензии за то, что я написал о Йокаи. Чувство, которое я питаю к Йокаи, это, по правде сказать, даже не дружба и не братская любовь, а может быть, смесь того и другого... это нечто неопишное, и бесспорно, что такое чувство я испытывал только к нему. Однако из этого не следует, что я не люблю других, но так как ты знаешь, что сентимен-

тальные излияния мне не по душе, то я *simpliciter* * проболтаюсь, что ты тоже принадлежишь к тем, кого я люблю, люблю от всего сердца. Если ж и этого недостаточно, то собаки тебя... Понятно? А я в претензии за то, что второе письмо из Вены ты адресовал уже не ко мне. Ты ведь знаешь меня, знаешь, что я горд, и тебе должно быть ясно, что коли обошел меня однажды, то и все остальные твои письма я не приму. А впрочем, все это не так уж страшно. Послезавтра (то есть в пятницу) я снова уезжаю в деревню, где останусь до марта, до постановки моей драмы «Тигр и гиена». Вот уж посмеялся бы я, застав тебя тогда в Пеште. Выкинь такую штуку, братишка, большую радость доставишь мне, своему верному другу, который обнимает тебя, желает счастья и доброго здоровья. *Ш. П.*

18. АНТАЛУ ВАРАДИ

Колто, 28 октября 1846 года.

Мой милый Тони!

Я покинул Сатмар, и как покинул? Любимый самым славным созданием бога! Друг мой, не могу дождаться часа, когда обниму тебя и изолью радость на твоей родной груди. О, как я счастлив! Ты, должно быть, и не знаешь, где находится это Колто, откуда получишь мое письмо? Так я скажу тебе. Находится оно в Эрдее, в окрестностях Кевара, в часе езды от Надьбани. Примерно через неделю поеду отсюда в Коложвар. В Пеште буду к середине ноября. А до тех пор, обнимая и целуя тебя и твою жену, остаюсь

твоим верным другом

Шандором.

* Просто (*лат.*).

Приложенное письмо отнеси в один из базарных дней на проспект Керепеши и передай кому-нибудь из цинкотцев, чтобы тот вручил его моему отцу. Прошу тебя об этом во имя нашей дружбы.

19. ДЁРДЮ УРХАЗИ

(Колто, ноябрь 1846 года.)

Милый Дюри!

Не люблю я дурацких церемоний и поэтому обращаюсь к тебе *simpliciter* на «ты». Когда-нибудь до этого все равно дошел бы черед. Если еще не поздно, возьми это стихотворение; ежели понравится — напечатай его вместо какого-нибудь из остальных либо помести все четыре, мне все равно. Я уже направился было в Эрдей, и все же мне пришлось вернуться с дороги. Третий раз в жизни происходит со мной подобное. *Fatum* *. Но будущее лето я все-таки проведу в Эрдее. Поеду даже в том случае, если на каждом шагу будет поджидать меня какое-нибудь чудовище с угрозой не пустить дальше. Как я уже передавал тебе через Эндре Папа, ты опусти перед любовным стихотворением посвящение Юлии и название Эрдеда. Вместо заглавия поставь только дату. А кроме того, как я уже просил, полагающийся мне экземпляр «Унии» перешли Ришко, и он передаст, кому надлежит. Я провел полторы недели у моего тезки Телеки в Колто; сейчас мчусь в Пешт, так как *вынужден*! Господь с тобой и с вами, эрдейцами.

Ш. П.

(Приписка на полях.)

* Судьба (лат.).

Смотри, чтоб в мои стихи не вкрались опечатки, так как это вежа *, иногда они портят все стихотворение.

20. ШОМЕ ОРЛАИ ПЕТРИЧУ

Пешт, 26 декабря 1846 года.

Друг мой, *Rafaël en miniature!* **

Надеюсь, что мое письмо тебя поразит, ибо до сих пор я не давал права надеяться на такой скорый ответ. Но утешься! Чем больше торопился я начать это письмо, тем больше спешу его закончить.

Сейчас я в сквернейшем положении... Кроме всего прочего, у меня нет денег — впрочем будут, ежели книгопродавец захочет этого не меньше меня. В сию печальную эпоху я питаюсь только воспоминаниями о прошлом. Какие чудесные дни я пережил с тех пор, как мы, милый брат, расстались с тобой... В Сатмаре я познакомился с такой девушкой, которая была бы слишком хороша даже для Парижа, отчизны Жорж Санд, не то что для Сатмара, отчизны палок со свинцовыми набалдашниками. И я люблю эту девушку, и она любит меня, и мы счастливы и, может быть, станем еще счастливее, ибо возможно, что до скончания наступающего года мы будем уже обращаться друг к другу так: «Слышишь ли, милая жена?..» — «Слышу, милый муж!» Друг мой любимый, коли ты этому не радуешься, так пусть черти в тебя заберутся! Я-то, небось, как обрадовался, прочитав в твоём письме, что ты получил тысячу пенге, так обрадовался,

* Мучение (*лат.*).

** Рафаэль в миниатюре (*франц.*).

словно сам получил две тысячи. Шома, послушай! А вдруг мы еще когда-нибудь заживем чудесной жизнью, такой, о которой мечтали частенько, помнишь?..

Губы мои невольно скривились в горестную улыбку.

Я не стану утверждать, что у тебя не будет никогда хорошей жизни. Но у меня? Никогда! Воображение мое блуждает по равнинам Алфельда, заглядевшись на миражи и мои собственные мечты... И то и другое одинаково досягаемо...

Господь с тобой, милый друг! Коли будешь писать, то адресуй письмо только к Густаву Эмиху. Обнимаю тебя, твой верный друг

Петёфи.

21. ПАЛУ КОВАЧУ

(Пишет, конец декабря 1846 года.)

Дорогой, уважаемый друг!

С радостью готов вам служить стихами как в настоящем, так и в будущем. При первой возможности пошлю больше. Готовых есть у меня уже порядочно, но сейчас мне совершенно некогда их переписать. Хотелось бы, чтоб упомянутое стихотворение было напечатано в первом номере. С Лисния я беседовал. Передайте горячий привет вашей семье.

Обнимая вас, имею честь быть
уважающим вас другом

Петёфи.

22. ГРАФУ ШАНДОРУ ТЕЛЕКИ

Пешт, 29 декабря 1846 года.

Милый тезка!

Тебя должна постигнуть великая печаль, поэтому советую быть к ней готовым. Как неизбежна смерть, так же и тебе не избегнуть дать мне шестьсот пенге-форинтов. Впрочем, можешь дать мне в том порядке, как тебе заблагорассудится. Главное, двести пенге-форинтов отправь немедленно, можешь их послать, даже не дочитав этого письма до конца, а четыреста пенге-форинтов пришли в марте к пештской ярмарке. Возвращать же я буду их, отдавая в конце каждого года по двести пенге-форинтов, так что через три года мы будем в расчете. Милый друг, я прошу об этом серьезно, и теперь ты сможешь доказать свою человечность. Впервые в жизни обращаюсь я к магнату, и ты пощади меня, ведь если откажешь, то краска стыда изроет мое лицо хуже оспы. А впрочем, я обратился к тебе не как к магнату, а как к своему другу. Ты можешь ответить, что у тебя нет денег... Найдутся, коли захочешь! Тот, кто швыряет по тысяче форинтов цыганам, всегда сможет одолжить мне шестьсот пенге. В подарок я их все равно не приму, гордости у меня, слава богу, еще довольно. Не сомневаюсь, что просьбу мою ты выполнишь охотно, причем вышлешь мне немедленно двести пенге. Не будь у меня крайней нужды, я не стал бы прибегать к этому. Письмо с деньгами вышли прямо на скорых. Мой адрес: улица Хатвани, дом Янковича, номер 585, второй этаж. Передай привет Виктору. Твой искренний друг

Петёфи.

23. ЯНОШУ АРАНИО

Пишет, 4 февраля 1847 года.

Привет вам! Сегодня прочел я «Толди», сегодня написал это стихотворение и сегодня же отправляю его вам. Правда, оно будет напечатано в «Элетке-пеке», но я хочу как можно скорее сказать вам о той неожиданной радости, о том восторге, которые вызвало во мне ваше произведение. Что бы там ни говорили, а истинная поэзия — поэзия народная. Согласимся на том, что ее надо сделать господствующей! Если народ будет господствовать в поэзии, он приблизится и к господству в политике, а в этом — задача века; осуществить ее — цель каждой благородной души, которой уже невтерпеж стало видеть, как страдают миллионы ради того, чтобы несколько тысяч могли нежиться и наслаждаться жизнью. В небо — народ, в ад — аристократию!

Пишите мне, если вам будет не лень, пишите о себе, о чем хотите, обо всем, — сколько вам лет, женаты вы или холосты, белокуры или черноволосы, высоки ли ростом или невелики... мне все будет интересно. Господь с вами, господь с вами!

Ваш искренний друг

Шандор Петёфи.

24. ГРАФУ ШАНДОРУ ТЕЛЕКИ

Пишет, 5 февраля 1847 года.

Мой друг, достойный любви!

Не верю, что ты не получил письмо, которое я написал тебе после Нового года. Мне очень тяжело, что ты даже ухом не повел: нужно же мне знать —

пан или пропал. Не хотелось тебе исполнить моей просьбы, так написал бы, по крайней мере: не считывай на меня. Тогда я повернул бы оглобли в другую сторону. Ввиду очень стесненных обстоятельств я не могу долгое время оставаться в неведении. Надеюсь, это второе письмо ты уже не оставишь без ответа, причем без скорого, быстрого, немедленного ответа.

Мой адрес: улица Хатвани, дом Янковича, второй этаж.

Благослови тебя бог!

Твой искренний друг

Шандор Петёфи.

25. ПАЛУ КОВАЧУ

Пешт, 16 февраля 1847 года.

Милый мой Пали!

Только сейчас с величайшим удивлением заметил что в «Хазанке» помещено «Кутякапаро», вопреки тому, что я пронумеровал стихи и просил их печатать в обозначенном порядке. Признаюсь, что к этому я не привык. На сей раз готов простить подобный небольшой редакторский произвол, но на будущее должен заявить со всей решительностью, что, если вы станете таким образом поступать с моими произведениями, я буду вынужден сам исключить себя из числа сотрудников «Хазанка». Во-первых, потому, что я устанавливал порядок печатания не произвольно, не для собственного удовольствия или из ребячества, а во-вторых, и главным образом, потому, что я смертельный, страшный враг всякого произвола, всего того, что носит даже малейший оттенок деспотизма!

Палфи и Йокаи я все уговариваю писать в «Хазанк», и они будут это делать; Томпе тоже черкнул, дал знать и Керени. Можете рассчитывать на всех. Господь с вами.

Ваш искренний друг

Шандор Петёфи.

26. ПАЛУ КОВАЧУ

Пешт, 18 февраля 1847 года.

Милый друг!

Третьего дня я написал вам довольно грубое письмо; хоть бы оно пропало на почте! Но мне не пришло даже в голову, что в нашей славной, *свободной* венгерской отчизне существуют эти мерзавцы цензоры и что из-за них вы и не могли выполнить моей просьбы — печатать стихи согласно проставленной мною нумерации. «В Надькарое» и «Одно меня тревожит» будут напечатаны у меня в собрании стихотворений, потому-то и хотел я, чтобы вы поместили их первыми. Вместо этих изъятых цензором стихотворений я переписал на обратной стороне листа другие; впредь буду поступать также; вместо стихов, которые вы вернете мне с запрещением цензора, буду посылать другие. Это вполне естественно и справедливо! Не правда, что я был неподалеку от Папы. У меня даже и в мыслях этого не было. В Дёр я не мог заехать, ибо каждый божий день должен совершать паломничество в печатню. С этим чертовски громадным томом у меня неприятностей хоть отбавляй. А прогос! * А вы, однако же, натворили

* Кстати (*франц.*).

мне бед; на-днях в «Хазанке» было напечатано: «Петёфи издает Полное собрание стихотворений вместе со своим портретом». Из этого можно заключить, будто я сам издаю свой портрет. Такой поступок был бы более чем неприглядным и под стать разве только Часару. А впрочем, бог с вами!
Ваш истинный друг

Шандор Петёфи.

27. ЯНОШУ АРАНЮ

Пешт, 23 февраля 1847 года.

Душа моя, Арань! Надеюсь, не обидишься, если я перестану тебе писать на «вы»? Я такой человек, что если в какой дом зайду, то люблю в нем сразу развалиться на рундуке... А так как я к тебе постучался и ты мне отворил двери, то разреши воспользоваться всеми удобствами, тем более, что тебя я уже назвал своим другом, так же, как и ты меня, а я, со своей стороны, не привык употреблять это слово в его обыденном значении; надеюсь, что и ты не в этом смысле применил его ко мне. Правда, нужно знать характер того, кого себе выбираешь в друзья, но я подумал, что мой характер знаком тебе по моим произведениям, а я распознал твой характер по твоему «Толди». Кто так славно обрисовал сыновнюю любовь, и сам должен быть хорошим сыном, добрый же сын не может быть дурным человеком, а только прекрасной, чистой, благородной душой. Таким я считаю тебя и поэтому сразу назвал своим другом. Письмо твое только нынче бог знает через сколько рук дошло до меня, и в этом я сам виноват, — забыл написать тебе адрес, настолько был тогда вне себя от восторга.

Видишь, а кое-кто обвиняет меня в том, будто я предвзято отношусь к поэтам. Это — вежливое выражение той мысли, что я, кроме себя, никого не желаю признавать поэтом. А я, как перед богом, говорю: это самая гнусная клевета. Правда, неталантливых и полуталантливых пролаз я не люблю, не выношу и, если в силах, сметаю их с пути, но перед настоящим талантом я преклоняюсь и боготворю его! Большую, великую радость доставило мне твое письмо, а стихотворение твое я перечел уже столько раз, что выучил наизусть. Перепишу его и перешлю Томпе. Он тоже молодец парень! Да и вообще Арань, Петёфи, Томпа, ей-богу, прекрасный триумвират! И если слава наша будет не столь же велика, как у римского триумвирата, зато заслуг будет не меньше, если не больше! А награда? Одному — сельский приход, другому — сельская нотариальная контора, а мне городское... так сказать... ничто! Да не беда! Я — человек непритязательный, мне и этого достаточно; если и пропаду с голоду, так ведь жить-то все-таки буду до самой смерти, а насчет того, что будет потом, я не имею обыкновения тревожиться... о затратах на похороны пусть позаботится кто-нибудь другой... Да, убогое это ремесло — быть венгерским писателем. Какую-нибудь службу и я мог бы получить, но уж слишком отвратительно мне все это, а потому не остается ничего другого, как сказать словами поговорки: «Ешь, голубчик, было б что!» Ах, болит у меня душа, когда подумая, какой бы из меня вышел бедуин! Но я верю в своего бога, уповаю на то, что настанет время, когда и у нас получат возможность жить не только кроткие христиане, склоняющие колени перед единым истинным богом, но и поклоняю-

щиеся свободе язычники. Потому я и не женюсь, ибо может статься — а этого я очень не хотел бы, — что мне пришлось бы оставить вдову и сирот. Не женюсь, мой друг, хотя, ох! и представляю себе, как хороша семейная жизнь и как, наверно, ты счастлив в ней.

Ты спрашиваешь меня в своем письме, не химера ли — создание серьезного эпоса, написанного в народном духе и на языке народа? Я думаю, что нет; и ты хорошо сделаешь, если как можно скорее возьмешься за него. Только короля не выбирай героем, даже Матяша не надо. Он тоже был королем, а, знаешь, черная собака, белая собака — а все один пес. Если уж мы не вольны прививать народу идеи свободы, так по крайней мере не надо держать перед его глазами картины рабства, да к тому же картины рабства, расписанные заманчивыми приятными красками поэзии. О таком эпосе я тоже давно думаю, герои его Чак Матэ Тренченский и Ракоци. Но все несчастье мое в том, что и того и другого зарезала бы цензура, а я не могу писать для лучших времен, так как живу изо дня в день и не в состоянии тратить время на создание таких произведений, за которые не платят сразу. Видишь, друг мой, такова нищета! Дала бы мне нация семьсот — восемьсот пенге-форинтов на год, и я бы ей показал, что она не зря потратилась. Разумеется, я взял бы только у нации, — от частного человека я и полмира не приму в подарок. Конечно, это для нации такой пустяк, что мысль об этом ей просто не приходит в голову. Нет на земле более деспотически требовательной к детям и более неблагодарной матери, чем наша милая родина, добрая Венгрия.

Но я уже столько насплетничал, что тебе, должно быть, даже надоело; погоди же, вот попаду я в ваши

края, тогда наговоримся досыта. Возможно, будущим летом я поеду в Эрдей и тогда, так и знай, не упущу случая навестить тебя. Мне хочется повидать, обнять тебя и воскликнуть от имени музы словами матери Толди: «Души моей созданье, младенец мой прекрасный!» Хоть я и никудышный сочинитель писем, но, если тебе не надоест, с удовольствием буду карябать тебе разные глупости, а твои письма всегда приму с наслаждением. Мой адрес: улица Хатвани, дом Янковича, номер 585, второй этаж... а впрочем, коли будешь писать, адресуй, пожалуй, лучше в кафе Пильвакс; там я их получу скорее, так как дома бываю редко. Собрание моих стихотворений выйдет к мартовской ярмарке; если б я знал, каким путем доставить их тебе, то выслал бы экземпляр.

Ты ведь переписываешься с Пиштой Силади? Напиши ему, что я любил его и раньше, а теперь, узнав, что это он побуждал тебя писать, люблю его еще больше. Он был орудием в руках провидения, которое если и прячет свои жемчужины, то создает также ловцов, которые выносят их на поверхность. Ты — новое свидетельство моего старого утверждения, что никакие таланты на свете не пропадают. Природа не так безумна, чтоб создавать что-либо напрасно. Если она что создает, то только для того, чтоб извлечь пользу. Итак, благоволити тебя господь, и если твоя супруга еще не забыла меня, передай ей самый горячий привет. А тебя обнимает твой истинный друг

Шандор Петёфи.

Я слышал, что ты просил вернуть тебе «Голди» и будто бы для того, чтобы внести в него поправки. Зачем это нужно? Но если ты уже взял, то постарайся вернуть скорей, чтобы его как можно быстрее напечатали на удивление обеих наших стран!

28. ЯНОШУ АРАНЮ

Пешт, 31 марта 1847 года.

Арань, * мой Арань, золото мое золотое. Хотел я обозначить даже, какой пробы, да вот не знаю, какой пробы золото ценится выше всего, — давненько не имею я дела с золотыми, за что собственно кори не меня, так как это не моя вина. Мой друг Габор Эгреси поехал на гастроли в Секеш-Фехервар, пригласил и меня, и мы вернулись только вчера. Сообщаю об этом из тех соображений, чтобы ты знал, почему я не писал до сей поры. А вообще-то ты доживешь и до более длительных пауз; сейчас я точен только для того, чтобы не опровергнуть пословицы: «Новая метла чисто метет». Впрочем, когда наступят периоды молчания, ты не осуждай меня... сердце мое, как и сердце любого смертного, бьется непрестанно, и в биенье его будет звучать и твое имя, даже если я буду писать реже.

Но, милый, дорогой мой братец! Оставь ты эти похвалы! Когда я читаю их, то пламенею, как подожженный город, и если бы в такое мгновенье заглянул в зеркало, мне могло бы показаться, что я вижу нос Игнаца Надя. А потом краснею уже оттого, что покраснел. Чрезмерной скромностью

* А р а н ь — по-венгерски золото.

я не отличаюсь, в этом не обвинят меня даже самые мои заклятые враги; я искренне признаю, что достоин похвал; но когда меня хвалят в глаза, то, чёрт его знает, я как-то странно себя чувствую; будто на меня напала чесотка, а почесаться нельзя. Сравнение, что и говорить, далеко не эстетичное, зато очень правильное, а я такой человек, что ради правды готов даже красотой пожертвовать. Многие были недовольны мной за это, но пусть еще больше будут недовольны, мне и это нипочем. Что правдиво — то естественно, что естественно — то и хорошо и, по-моему, красиво: вот моя эстетика. Тебя еще многие оплюют за то, что у твоего спящего Толди изо рта слюна течет, но я тебя за это расцелую. Кстати, пес тебя дерит, как смеешь ты думать, что я о Доже иного мнения, нежели ты? Я считаю Дожу одним из самых славных героев венгерской истории и свято верю, что настанет время (если венгерская нация будет жива), когда Доже поставят великолепный памятник и, быть может, рядом с ним будет... и мой.

Но что я прочел в «Пешти Диватлапе»?! Что ты взялся сотрудничать исключительно для них. Несчастный! Послушай меня. В начале 1845 года Имре Вахот с месяц уговаривал меня сотрудничать только в его журнале. В конце концов я согласился и целый год все свои стихи отдавал только ему. За это остальные два литературных журнала ополчились против меня — один открыто, другой исподтишка, и меня щипали, пинали, оплевывали со всех сторон, что вряд ли они стали бы делать, если б я печатался и у них. Эти оскорбления продолжались до тех пор, покамест я не поссорился как следует с Лази Хорватом и Франкенбургом — с первым публично, со вторым приватно. Так прошел год.

Я попросил Вахота повысить оплату за стихи, поскольку до той поры он платил мне гроши. А он, вместо того чтобы дать больше, заявил, что будет печатать мои стихи не в каждом номере «Пешти Диватлапа», а через номер. В итоге за каждое стихотворение я получал чуть больше, но в целом за три месяца стал получать меньше прежнего. Тут Вахот заявил, что я могу печататься и в других журналах. Merci, monsieur! * После того как я посообщился с остальными редакторами, я должен пойти к ним на поклон и сказать: «Господа, я пришел, примите меня!» И это посмел предложить тот, из-за кого я рассорился со всеми. Но я не сказал ни слова, промолчал и только бранился, как гром небесный, до тех пор, покуда не забыл обо всем. Вскоре Вахот заявил, что он будет редактором журнала только до середины года... «Ладно, — отвечаю я, — я тоже буду сотрудничать до тех пор, а потом совсем отойду от журналистики». Об этом я сообщил и другим, и все сказали, что они намерены поступить также, — вот и создалось «Товарищество десяти». Настает середина года, мы из журнала уходим, но оказывается, что Вахот уже давным-давно отказался от своих намерений. И тут он нападает на меня, говорит, что я негодяй, ибо не только сам его покинул, но лишил и других сотрудников *et caetera* **, обвиняет меня в вопиющей неблагодарности, говорит, что это он поднял меня из грязи, он сделал меня человеком, он создал меня. (Ты не улыбаешься? Не смеешься? Не хохочешь? Не ржешь?) И такое должен был я выслушать от человека, который сам признался, что большей частью подписчиков обязан мне,

* Благодарствую, сударь! (*франц.*).

** И так далее (*лат.*).

а я обязан ему той неприязнью, с какой все нападали на меня. Но и это бы еще куда ни шло. «Товарищество десяти» возникло первого июля прошлого гола, и сразу же в первом июльском номере «Пешти Диватлапа» я вижу вместе со стихами остальных членов «Товарищества десяти» и свое стихотворение. Тогда я сказал Вахоту, что выступлю против этого публично. Он же ответил, что если я всерьез посмею выступить, то он меня уничтожит. («Посмею», «уничтожит» — слышал ли ты что-нибудь подобное?) Я написал статью и в ней *simpliciter* доказал, что напечатанное стихотворение Вахот украл у меня. Прочитав мою статью, он швырнул ее обратно, заявив, что печатать ее не станет, и назвал меня с глазу на глаз подлецом. На это я мог ответить только острием клинка или пулей. Я послал к нему секундантов, но он после полутора суток оттяжки, наконец, решительно заявил, что ни в коем случае не станет драться. Напоследок я ему сказал: «Оказывается, ты не только подлец, но и трус». И теперь посуди сам: достоин ли такой человек не только того, чтоб кто-нибудь сотрудничал исключительно в его журнале, но даже того, чтоб раз в году печатался у него? Так поступал он со всеми, так поступил и со мной, и неужели ты думаешь, что с тобой он поступит иначе? Восхваляет тебя, возносит до небес (особенно ежели ты скромн в своих денежных требованиях), а потом дает тебе ногой в з... и трезвонит на весь мир, что он создал тебя. В лучшем же случае напишет о тебе так, как пишет сейчас обо мне: «Янош Арань уже некоторое время не нуждается в наших похвалах...», то есть: «Помни, что некогда ты в них нуждался». Возможно, что я не прав, а впрочем, сомневаюсь в этом. Он такой же, каким и был, и таким же останется. Все это я написал

хладнокровно, а не в запальчивости, ибо ненависть моя столь же драгоценна, как моя любовь, и я не намерен метать ее перед свиньями. Жду письма. Обнимаю тебя, твою жену, детей, всех вас, милые мои!

Твой верный друг

Шандор Петёфи.

29. ПАЛУ КОВАЧУ

Пешт, 1 апреля 1847 года.

Милый Пали!

С удовольствием принял и деньги и обращение на «ты». Спасибо. Прошу тебя об одном, напиши мне название стихотворений, которые лежат у тебя, чтобы я по ошибке не отдал какое-нибудь из них Франкенбургу. Совсем запамятовал, какие послал тебе. И еще одно: будь добр, пересылай с первого апреля полагающийся мне экземпляр «Хазанка» моему брату по следующему адресу: Иштвану Петёфи, Палота, Веспремская почта. Брат — подручный мясника, но большой любитель чтения. Мои «Элеткепек» я тоже переписал на его имя. Я-то ведь могу прочесть «Хазанк» где угодно, к тому ж еще в этом месяце уезжаю из Пешта. Да, кстати! Чуть не забыл о самом главном. Остерегайся печатать такую жалкую, вопиющую дребедень, как намеренные стихи Бувеского и Халки, или как их там зовут... Только я прочел их, как на меня напала чахотка и трижды хватил удар. Если тебе мила моя жизнь, отбирай стихи как следует. Лучше уж ничего, чем плохие стихи. Господь с тобой.

Тебя целует

твой верный друг

Шандор Петёфи.

30. МАРИ ТЕРЕИ

Пешт. 6 апреля 1847 года.

Уважаемая барышня!

Прошу прощения за беспокойство, но я не нашел лучшего и более верного пути для передачи этой книги в руки барышни Юлии С. Прошу вашу милость соблаговолить передать это ей и одновременно пожелать от моего имени очень, очень счастливой семейной жизни, ибо я слышал, что она выходит замуж. Целую вашу руку, поручая себя в ваше любезное благорасположение, честь имею быть покорным слугой уважаемой барышни.

Шандор Петёфи.

31. КАРОЮ ШАШУ

Пешт, 20 апреля 1847 года.

Милый Карой!

Прошу вручить письмо лично в руки — ты знаешь кому, — и скажи, что экземпляр моего собрания стихотворений я уже неделю или полторы тому назад передал в дом Карои. Оттуда его переправят в Надькарой барышне Марии Тереи, от которой она и может получить; если ей вздумается ответить на мое письмо, то пусть ответ передаст тебе, а ты отправь его мне, вложив в письмо к своему брату, ибо ко дню святого Дёрдя я переменю местожительство, и куда поеду еще, право, не знаю. Пишта мне передаст. Ты пиши тоже, особенно о ней, все, что знаешь; меня интересует все касающееся ее. Господь с тобой!

Твой верный друг

Шандор Петёфи.

32. ШОМЕ ОРЛАИ ПЕТРИЧУ

Пешт, 24 апреля 1847 года.

Милый мой братец!

«Писание писем это на самом деле страшное бедствие для человечества», — говорил когда-то Шамуель Петрич, в юности мечтавший стать новеллистом, и я подтверждаю, что он был совершенно прав. А потому пусть тебя ни капельки не удивит, если письмо мое будет коротко, как заячий хвост. Впрочем, какое бы длинное письмо я ни вырубил, все равно священное писание гласит, что у всех слов один конец. Я влюблен, денег у меня нет... Такова моя биография. Седьмого мая снова помчусь в Сатмар, к моей черноволосой девочке, оттуда слетаю в Земплен, затем заскочу в Гемер и Ноград, потом поеду обратно. Так проведу я весну и лето. Как только вернусь из странствий, сразу дам тебе знать. Если ты за это время переменишь местожительство, сообщи мне. Письмо адресуй в книжную лавку Г. Эмиха, где по возвращении я получу его, либо, если тебе это больше нравится, оно будет получено мной. Видишь, братец, так обычно и исписывают бумагу... А-на-на!.. Это я зевнул, и знай, что рот мой распахнулся шире Иерусалимских ворот. Удивительного мало... Вот уже больше недели я ложусь в два часа ночи, да и сегодня, как погляжу, вот-вот наступит завтра... А-на-на!.. Ах, снова зевнул. Кончаю строчить, а то, пожалуй, еще и ты гомеопатически зевнешь — да так, что у тебя отвалится челюсть. Дай тебе господь денег и славы... Последней я уже сыт по горло, и мне нужно только первое. Препротивная штука — слава... Коли она осчастливит тебя, смотри не обжирайся ею, и без того будет тошнить. *Experto crede Rupere*

to *. Представь себе, вот и сейчас, только я начал писать это письмо, как ко мне постучались в дверь. Входит молодой человек и говорит, что он мой почитатель, завтра покидает Пешт и перед отъездом хотел повидать меня, так как до сих пор ему такое счастье не представилось. Случилось это примерно в полночь. «Чтоб ты провалился вместе со своим почитанием», — подумал я про себя и постарался как можно быстрее избавиться от него. Видишь, славе обязан я тем, что у меня очень много почитателей... и очень мало денег. Господь с тобой! Тебя обнимает и целует мечтающий броситься в твои объятия, а сейчас броситься в постель
твой друг

Шандор Петёфи.

33. ЖИГМОНДУ ПАПУ

Сатмар, 28 мая 1847 года.

Милый братец!

Послезавтра еду в Пешт, а поэтому пришли свой портрет не сюда, а в Пешт, как я тебе уже говорил, в книжную лавку Густава Эмиха. Но постарайся доставить его непременно к 15 июня, я хочу взять его с собой в Лондон и Париж, чтобы мы с ним вместе путешествовали за границей... Сын мой, не пугайся того, что я тебе скажу. Ведь то, что мне кажется блаженством рая для тебя, насколько мне известно, страшнее ада... В конце августа я приеду к вам и в сентябре состоится *свадьба*. Прощай, братишка! Тебя обнимает счастливейший на свете человек.

Шандор Петёфи.

* Верь опытному Руперто (*лат.*).

34. ЯНОШУ АРАНЮ

Пешт, 18 июня 1847 года.

Обожаемый Янко! Твоя душа была некогда душой Христа. Но хватит об этом. Господина Ийеша я прогнал за грубость еще возле Тура и доехал до Пешта в дождь и ветер за четыре дня. Но плюнь на это, как плюнул я, ведь *vidi alios ego jam ventos* *. Из-за «Толди» я избегался, пока, наконец, не получил его. Мне дали десять экземпляров. Шесть я оставляю у себя, четыре перешлю тебе с ближайшей оказией. За границу я уже не еду; душа не позволяет мне уехать так далеко от Юлишки. Мочи нет! Кроме того, и Эмих дает совсем ничтожную сумму за стихи, которые я намеревался продать ему в полную собственность. Знал бы я, что не поеду, мог бы еще задержаться у тебя. Но кто же знал?.. Все время вспоминаю вас, мои любимые, и думаю: «О, если бы и моя семейная жизнь сложилась так же счастливо, как ваша. Ведь счастливей ее и быть не может». Расцелуй за меня куму, детишек и самого себя. Лаци скажи, чтоб не плакал, не то я тут же приеду и шлепну его по заду посильней, чем на медни. И тогда уж будет из-за чего плакать. Ответил ли мой милостивый брат Михай Томпа, и что он ответил? Сейчас я напишу и ему касательно дел «Элеткепека». А что ты скажешь по поводу послания Вахота к нему? Это уж венец глупости, *atque* подлости. Не напиши он ни словом больше, и этого довольно, чтобы разглядеть его до самых печенок. Письма твои я получаю с радостью, с восторгом, но только тогда, когда ты посылаешь их не франкиро-

* Я видел уже и другие бури (*лат.*).

ванными *. Оставь эту дурацкую, деревенскую привычку. Мне стыдно заходить на почту и ждать, пока до меня дойдет черед платить. Бог с тобой, господь с вами! Твой верный друг

Шандор Петёфи.

35. ПАЛУ КОВАЧУ

Пешт, 19 июня 1847 года.

Милый Пали!

Посылаю на следующие три месяца шесть стихотворений. Прошу сразу же выслать за них деньги, ибо у меня в них большая нужда. Ежели пошлешь по почте, то адресуй: улица Хатвани, дом Янковича, второй этаж. Скоро получишь и новеллу. А так как в сентябре я женюсь, то вынужден просить тебя определить на будущий год более кругленькую сумму: то есть вместо сорока пяти пятьдесят форинтов на три месяца. Таким образом, вместо ста восьмидесяти — двести форинтов на год. А потом пусть так и останется на все время. Разница невелика, с Йокаи я уже договорился об этом, надеюсь, что и с тобой мы не вцепимся друг другу в волосы. С Яношем Аранем я беседовал. В случае надобности он тоже отдаст свои стихи тебе. С Йокаи он уже условился на такую же сумму, как и я, с тою разницей, что вместо трех он будет давать в месяц одно стихотворение. Советую не упустить его, он *большой* поэт, можешь поверить моему слову. Условился ли ты с Томпой? Милый Пали, прошу тебя выслать причитающиеся мне деньги незамедлительно, как только получишь мое письмо. Обнимаю тебя, твой верный друг

Петёфи.

* Франкированные письма — письма, за которые определенную часть расходов по доставке берет на себя отправитель.

36. ЯНОШУ АРАНЮ

Лондон... вернее, Бейе, 5 июля 1847 года.

Обожаемый Янко! Ты уже мог заметить по вышеозначенной строчке, что я пишу не из Лондона, как обещался, а из Бейе. Впрочем, разница невелика, только что Лондон большой город, а Бейе маленькая деревушка; Лондон находится в Англии, а Бейе в Антицире, или Кревинкеле, или, что еще хуже, в Венгрии. Denique, я сказал тебе уже там в Салонте, что вряд ли буду качаться на морских волнах, если эти вздохи будут так продолжаться, а они длятся до нынешнего дня. Мне опасно было бы сейчас ездить по морю, ибо эти вздохи могли бы сойти за ураган... выражаясь в стиле Лисняи. Уж третий день пребываю я у мастера Томпы. Грыземся, как черти; тебе известен мой кроткий, миролюбивый, ангельский характер, но этот задиристый скверный патер Томпа вечно выводит меня из себя. Завтра отправляемся в Шарошпатак... Вот добраться бы нам только до Тисы и Бодрога, и уж я столкну в реку его преподобие. Из Патака я помчусь в Сатмар, вернее — в Эрдед. Очень ждут меня там, вот я и тороплюсь. Тороплюсь же я не только в Эрдед, но спешу и закончить это письмо, а посему прощай, целую тебя и всю твою семью, особенно куму, Юльчу, Лаци, тебя... конечно, только мысленно. Как женюсь, сразу же сообщу тебе, на каком я небе. А до тех пор господь с нами! Верный, истинный и т. д. друг твой

Шандор Петёфи.

37. ПАЛУ КОВАЧУ

Сатмар, 22 июля 1847 года.

Милый Пали!

Эти письма я отдам тебе на следующих условиях: 1) Ежели ты заплатишь за каждое письмо по золотому. 2) Ежели напечатаешь все слово в слово. (Я не говорю о тех местах, которые может вычеркнуть цензор, но таких, по-моему, и нет.) Коли ты на это согласен, то так и быть, пошлю тебе еще восемь штук. В них рассказывается о поездке по Ноградскому, Гемерскому, Боршодскому, Земпленскому, Унгскому и Берегскому комитатам. Ежели письма тебе не пригодятся, сохрани их до моего возвращения в Пешт; я заберу их тогда у тебя. Станешь ли печатать их или нет, во всяком случае верни мне рукопись в целости и сохранности, ибо у меня нет переписанного экземпляра. Поэтому прошу, береги ее. Напиши при первой возможности, нужны тебе письма или нет, чтобы я знал, чего мне держаться. Ответ отправь Эндре Папу в Сатмар, он передаст мне. Восьмого сентября женюсь. Будь так же счастлив, как и я. Господь с тобой!

Тебя целует
твой верный друг

Шандор Петёфи.

38. ПАЛУ КОВАЧУ

Сатмар, 10 августа 1847 года.

Милый Пали!

Получил твое письмо и, между прочим, извлек из него урок: все редакторы в большей или меньшей степени трусы. Ведь я же, чёрт возьми, не задеваю ни одного честного человека, только негодный и

гнусный сброд, и ты все-таки боишься напечатать их имена в своем журнале!.. А теперь приступаю к еще более неприятному делу, то есть начну торговаться. Мне во всяком случае это неприятнее всего, ведь я не еврей-мешочник, который, запрашивая 6 форинтов за отрез на брюки, отдает его за 25 грошей. Я знаю цену своим произведениям и считаю делом совести не запрашивать за них больше, чем они стоят. Если ты думаешь, что это слишком дорого, вернее, если твой журнал недостаточно богат для этого, то скажи, что они тебе не нужны. Не бойся, я не рассержусь, не такой уж я мелочной малый.

Итак: восемь уже ранее отосланных писем, шесть только что отправленных и еще два-три письма, подлежащих отправке, я отдам за 60 форинтов, но только при том условии, что ты вышлешь немедленно причитающиеся мне за три месяца тридцать пенге и сорок пять пенге за стихи (всего 75 пенге-форинтов). В этом случае я разрешу тебе вычеркнуть из моих писем имена людей, которых ты боишься, страшишься обидеть. А стихи у меня готовы, и коли нужно, я вышлю тебе их немедленно вместе с распиской. Не будь я накануне женитьбы и не нуждайся, причем безотлагательно, в изрядном количестве денег, я никогда не разрешил бы выбросить эти имена. Но это я сказал вовсе не затем, чтобы ты, милый друг, непременно принял мои условия. Мне этого совсем не хочется, тем более что, слава богу, у меня есть еще и другие пути, и мне было бы крайне обидно, если б ты пошел ради меня на какую-либо жертву. Нужно так нужно, а нет, так не надо. Только сообщи тотчас же, на чем мы с тобой порешили. Получил ли ты на-днях мое письмо со стихотворением? Пиши на тот же адрес, как и наперед,

simpliciter мне в Сатмар. Да благословит тебя господь множеством читателей и хороших сотрудников.

Тебя целует
твой верный друг

Шандор Петёфи.

Прошу тебя: рукопись мою сохрани. Ежели будешь печатать письма, то отдай их кому-нибудь переписать за мой счет. И уже из этого экземпляра вычеркни имена, которые ты не хочешь опубликовать. Но только те, о которых ты мне писал. Я желаю получить свой экземпляр в чистом виде.

39. ЯНОШУ АРАНЮ

Сатмар, 17 августа 1847 года.

Златоустый друг мой, святой Янош! С великой радостью получил я два твоих письма, из которых узнал много диковинного, но всего чудесней было то, что наш ученый священник, господин Михай Томпа, на самом деле лютеранин. Это хорошо и еще раз хорошо. Кто бы поверил, что я охладею, вынужден буду охладеть и к этому человеку?.. Ведь я могу дружить только с теми, у кого есть характер, и притом сильный характер. «Болят мое сердце, болят». То он заявляет, что, будучи новым хозяином, не может работать за 7 форинтов 30 крайцаров, то говорит, что у него сложные отношения с Вахотом, а кроме того, он уже дал слово мне. Сложные отношения мне всегда и при всех обстоятельствах бесконечно подозрительны; а кроме того, посмотрел бы я, как бы он получил эти 7 форинтов 30 край-

царов, если бы я не потребовал от Йокаи платить нам троим поровну? Но пусть он получал бы даже в двадцать раз больше. Когда дело требует жертв, надо жертвовать. Подлец тот, кто встает под святое зная ради выгоды. На это хватит и любого мерзавца. Мне Имре Вахот обещал четыреста форинтов. Лази Хорват дал бы столько же. Больше того, оба они готовы платить мне по четыреста пенге в год, а я на это не иду. Но ко мне-то, конечно, и со службы, и из имений, и отовсюду деньги валом валят; кроме как о себе самом, мне больше не о ком заботиться, вот только жену и родителей надо содержать да помогать брату, так что мне, вестимо, легко рассуждать!

Продумав все это хорошенько, я готов признать, что наш друг Мишка никак не может пойти на жертву. Denique, поп всегда останется попом и «ненасытная поповская мошна» вовсе не химера. Да и ты в последнем письме написал титаническую глупость, заявив, что примкнул к Йокаи только ради меня. Qui jure * ради меня? Ради меня, милый братец, ты ни на какие жертвы не иди, а уж тем более на такие. Если ты совершил это только ради меня, то можешь считать себя свободным от каких-либо обязательств. Тут речь идет о гораздо большем, чем о желаниях моей почтенной особы, это не так уж трудно было бы тебе понять после всех моих речей. Я стремился объединить представителей народной поэзии. Почему вокруг «Элеткепека»? Да потому что у него наиболее широкий круг читателей, потому что вокруг него сплотился самый лучший народ и потому что редактор его один из выдающихся людей молодой Венгрии. К молодой Венгрии

* По какому праву (лат.).

я отношу всех истинно свободомыслящих, великодушных, отважных людей, которые стремятся к высоким целям и не желают вечно латать сношенные лапти родины, так чтобы заплатка сидела на заплате, а хотят с ног до головы нарядить ее в новую одежду. Словом, «Элеткепек» наиболее подходящий для нас орган. Если ты, мой друг, не видишь, что я потому и пригласил тебя в «Элеткепек», тогда изволь оставаться в Кревинкле, оставаться у Вахота.

Впрочем, разреши после сих неприятных вещей перейти к еще более неприятным: жениховство мое проходит прескверно. Тесть настолько не любит меня, что *formaliter* запретил приезжать к ним. Правда, я уже несколько раз нарушил этот запрет — и на свою же голову: в последний мой приезд он в присутствии десятка гостей был холоден со мной, как полярный медведь, и я в конце концов превратился бы в сосульку, если б не солнечные взоры моей невесты. Мы усиленно переписываемся друг с другом, и иногда она приезжает в Сатмар — это и спасает мою душу от голодной смерти. Но ведь три недели не вечность. С тобой мы увидимся не скоро, однако передай моей милой куме, чтобы она ни за какие сокровища мира не приходила в отчаяние, ибо:

И дождемся и дождемся
Мы времен еще таких,
Что родится благодарность
На устах у всех троих!

А до той поры терпенье! Прибегнем же к достоинствам баранов и ослов. Скажи, Янко, можешь ли ты писать мне столь часто и столь длинные письма, чтоб они мне надоели? Ставлю сто тысяч форинтов

на поэмы Ференца Часара, что не можешь. Однако ж попытайся. А теперь пусть вас благословит мой бог ныне, присно и во веки веков... Он щедрей большинства богов, потому я и обращаюсь к нему. Эх, славный парень мой бог, ей-богу славный. Целую, обнимаю вас et caetera, и остаюсь вашим
вечно гневливым

Шандором Петёфи.

40. АНТАЛУ ВАРАДИ

Колто, 26 августа 1847 года.

Очаровательный Тонеле!

...Что-то я вас не пойму! С прошлой почтой я получил от Марци письмо, в котором он обещается выехать второго сентября, а теперь ты пишешь, что готов выехать хоть сейчас, да он не хочет. Что за чертовщина такая? Порой я восхищаюсь очковтирательством, но сейчас не дурачьте меня, а оба напишите ясно, приедете вы или нет? Должен же я знать, чего мне держаться. Ведь если вы не приедете, то я и здесь найду культурного человека, который сможет вписать свою фамилию в матрикул, календарь или, как там именуют, этот поповский протокол. Как только вы промчитесь глазами по этим строчкам, отвечайте немедленно и решительно, так как времени мало... О, хотя бы его было еще меньше, ведь мне, ей-богу, надоел этот великий пост, называемый жениховством. Больше писать нечего, приедете — поговорим подробнее. Иде я целую теперь уже только ручку, ибо моя невеста прямой потомок Отелло, а тебя целую в очаровательные губки, обнимаю твой геркулесов стан, жму твою самсонову руку и честь имею быть

твоим верным другом

Шандором Петёфи.

Сатмар, 9 сентября 1847 года.

Очаровательный Янко! По правде сказать, сейчас еще только 29 августа, но так как ты велел мне написать 9 сентября, то я эту дату и указываю. Да благословит тебя Иисус, прости, друг, что я пишу тебе раньше означенного времени... Но вот я тебе не прощу, что ты не собственноручно надписал адрес на конверте своего письма! Женский почерк, черная печать... «Ну, пес его дери, этого человека, видно, дьявол забрал, надорвался, бедняга, от стихов и помер!» — подумал я, с трепетом распечатывая твое письмо. Подобных глупостей больше не делай. Я не часто пугаюсь, но уж раз пугаюсь, то почти до смерти. Когда помрешь, тогда и можешь ставить черную печать, но адрес все равно соблаговоли надписать собственноручно.

А Томпу ты напрасно оправдываешь. Если уж я сам не сумел его оправдать, то никто не оправдает. Раз он надолго связался с Вахотом, то мог бы сказать мне об этом, а вместо этого он трусливо и лицемерно обещался сотрудничать в «Элеткепекке». Эх!

Я вполне верю тебе на слово, что стихи, которые ты написал, жалки, однако ж ты перепиши их, братец, и пришли, ведь двум носам виднее t Ты не лишен мудрости, что пишешь баллады, ибо у нас их не только не густо, но и вовсе нет. Мне давно хотелось попытаться, да, бог его знает, не чувствую в себе призвания. Хоть дух из тебя вон, но «Вечер Толди» ты должен закончить к 10 октября. К тому времени напишу, куда его переслать. Я закончил «Марию Сечи»... Не падай в обморок со страху,

на конкурс я ее не представлю. Отдам либо в «Элеткепек», либо в «Сепек Кёнъве».

Ближайшая почта от Колто — Надьбаня. Туда и отправь в паломничество следующее свое письмо. Мы прибудем в Колто 8 сентября к вечеру, и, если от тебя придет письмо, не бойся, я прочту его даже в первый день женитьбы. Хочешь верь, хочешь нет, но это вовсе не относится к письмам других.

Шестой раз читаю «Голди». Это и на самом деле скверная, топорная работа. В нынешнем году прочту его еще раз шесть, чтоб как можно лучше разобраться в его убожестве.

Вчера я был снова у своей Юлишки. Езжу к ней дважды в неделю и дважды в неделю получаю письма от нее. И какие письма! Последнее она закончила так: «Я рабыня твоя, потому что люблю тебя, я твоя королева, потому что ты меня любишь. Как рабыня, я преклоняюсь перед тобой, как королева принимаю тебя в свои объятия. И во всем этом я вижу больше счастья, чем властвовать даже над миром, быть божеством».

Очень рассчитываю на то, что ты скоро приедешь погостить ко мне в Пешт. Я и до сих пор был бедняком, а теперь вдвоем мы будем еще беднее. Однако ж как ни тесно, а все-таки поместимся, пусть даже втроем будем спать в одной постели и втроем есть из двух тарелок. А уж коль еды не хватит на троих, то я скажу, что не голоден или заболел. И вы будете сыты. *Denique* *, не волнуйся ни на грош.

Но я уж лучше в пурпур и бархат тебя обряжу, только писать дальше не буду. Довольно с меня и этого. «Довольно, даже слишком!» — как весьма поэтично выражается в одном стихотворении Шандор Вахот. Целую, обнимаю всех вас до единого, *atque* остаюсь твоим другом

Шандор Петёфи.

* Итак (*лат.*).

42. ЯНОШУ АРАНЮ

Колто, 17 сентября 1847 года.

Любимый Фаянко! * Письмо твое получил. Очень мило с твоей стороны, что много пишешь; и впредь поступай так же, только не требуй этого от меня. С тех пор как я женился, я ленив, как турецкий паша, даже стихов не пишу, где уж тут думать о другом. Тебя уважает и обнимает, atque всех вас целует твой друг

Шандор П.

Примерно к концу октября будем у вас.

43. ПАЛУ КОВАЧУ

Колто, 11 октября 1847 года.

Милый Пали!

Пишу на пятой неделе женитьбы и прошу тебя, присылай нам «Хазанк» до 15 числа сего месяца, а потом не надо. Числа 20-го я выеду и в конце месяца буду в Пеште. Поселюсь на улице Дохань, в доме Шиллера, куда и отправь мне деньги *circiter* ** 2 или 3 ноября. Я в самом веселом расположении духа, и тревожит меня только этот чертовски долгий путь, так как жена моя миниатюрнее яйца колибри. Ну да ничего, как-нибудь доедем. Вместо того чтобы попрощаться, довожу до твоего сведения, что «Отрывки из дневника», написанные моей женой, уже переписаны набело, и мы вышлем их «Хазанку». Думаю, что это достаточно душещипатель-

* Ф а я н к о — деревянный болванчик (*венг.*).

** Приблизительно (*лат.*).

ные слова на прощание, после которых кланяюсь вместе с женой твоей семье, обнимаю, целую тебя и т. д. и остаюсь

твоим верным другом

Шандором Петёфи.

Н. В. Задержи у себя номера «Хазанка» до начала ноября и вышли их все вместе для моей жены на квартиру к нам, туда посылай их и в дальнейшем. «Дневник» прошу тебя поместить не продолжениями, а в одном номере.

44. ШОМЕ ОРЛАИ ПЕТРИЧУ

Пешт, 17 ноября 1847 года.

My dear Samuel! *

Сегодня получил твое письмо. Спешу ответить. Я не был здесь буквально полгода, отсюда и мое долгое молчание. Завтра две недели, как я прибыл из Эрдея... вместе с женой. Сегодня исполнилось десять недель со дня моей женитьбы. Вот так-то, братец. Описывать мое счастье слишком долго, и по описанию все равно его не представишь, покуда не увидишь мою жену собственными глазами. Поторопись приехать, — она достойна того, чтобы ты с ней познакомился. Боюсь, что ты не женишься никогда, уж слишком долго готовишься к женитьбе... а это, чтобы вышло удачно, надо делать *ex tempore* **, видишь, я никогда не готовился, *denique* — премного счастлив. Второе издание моих стихов уже в печати, экземпляры вышлю тебе немедленно,

* Дорогой Сэмуэль (англ.).

** Немедленно (лат.).

из первого издания не удалось послать, так как у меня расхватали экземпляры. Письма твои всегда получаю с радостью и жду с нетерпением. Мой адрес: улица Дохань, номер 373. Неистово рисуй и бешено люби любящего тебя старшего, а быть может, и младшего брата

Шандора Петёфи.

45. ТИРОЛЕРУ

Пешт, 27 ноября 1847 года.

Дорогой господин фон Тиролер!

Очень жаль, что не могу навестить вас лично: я болен, как чёрт. Если письмо мое придет без запоздания, то будьте добры сделать мне бороду так, как я нарисовал на этой картинке собственноручно, ибо в последнее время я отрастил себе именно такую бороду. А в остальном прошу ни в чем не следовать этому портрету и меньше всего, что касается носа. Прошу вас также не делать мне чрезмерно густой и темной бороды, поскольку моя борода вовсе не такая. По выздоровлении я вас навещу.

Будьте здоровы.

Уважающий

вас

Ш. Петёфи.

Адрес: господину Тиролеру, граверу по меди и стали.

Пишет, декабрь 1847 года.

Дорогой друг Stibli! И рассеян же ты, видно, — все перепутал, письмо свое намотал на ногу, а мне вместо письма прислал портянку. Ведь это же воистину не письмо, а портянка. Приветствую тебя, второй... разочарованный муж Гуннии. Счастье твое, что я не король и руки у меня короткие, до Салонты не дотянутся, а то бы давным-давно тебя отдубасил. Когда-нибудь ты еще попадешься мне в руки, и тогда, бьюсь об заклад, вместо эпоса ты запоешь у меня элегию. Путешествие наше прошло весело и счастливо, ибо романтическая дорога в окрестностях Тура переломила нам обоим всего лишь каких-нибудь шестьдесят ребер, и после путешествия жена моя кашляла не дольше трех недель, причем грудь у нее не треснула, хотя бедняжка была уже близка к этому. А я намедни был не только огне-сердным, но одновременно и огнеглоточным Петёфи, такое страшное было у меня воспаление горла. Но продолжалось оно только неделю. Bagatelle. * Теперь мы уже оба крепки, как дубовые жёлуди! Да, кстати! Жена моя без конца ломает голову, вспоминая анекдот, который ты рассказал, и никак не может припомнить. Если вспомнишь его, напиши. Ты рассказывал его за обедом, но это не тот, о чернилах, выпитых крестьянином. Надеюсь, даже верю, что в ближайшем письме ты раскаешься в своих дурацких разговорах относительно неумения писать стихи и сообщишь, что и «Осада Муранья» и «Вечер Толди» окончательно готовы. Жду этого от

* Пустяк (*франц.*).

тебя и на сем кончаю письмо. Так как ты заставил меня долго ждать, я в отместку решил написать тебе как можно короче.

Целую, обнимаю вас справа, слева, в хвост и в гриву, спереди и сзади и остаюсь твоим достойным другом

лорд *Артур Картошка*.

Стихи можешь уже понемножку отсылать в «Элеткепек».

47. ЯНОШУ АРАНЮ

Пешт, 2 января 1848 года.

Прославленный Янко! Снова никаких видов на длинное письмо. Письмо напишу маленькое, зато на большом листе, — пусть тебе это будет утешением. А оставшиеся пустоты ты сам заполни моими мыслями. Это уже нетрудно, поскольку ведь *magna convenia ingenium* *. Что же касается «Осады Мураня», то я мог бы воздать ей должное, только имея китовую пасть, а поэтому не берусь даже за похвалы и скажу лишь одно, что все мы трое (я, супруга Петёфи и Йокаи) были очарованы поэмой. Будь спокоен, ты останешься моим другом и впредь, ибо, выражаясь на манер Лисняи, ты пришвартовался к пристани славы уже не шелковинкой, а прочным канатом... Аллилуя! Это все касается материальной стороны вопроса. Что же касается его поэтической стороны, то я понес поэму к Эмиху, тот согласен ее купить, но предложил такую ничтожную сумму (100 пенге-форинтов), что я не стал с ним

* Шуточная перестановка приставок; при обратной перестановке фраза означает: «великим гениям положено» (лат.).

даже торговаться. Этим ты обязан товариществу Кишфалуди, которое продает «Толди» по столь высокой цене, что его никто не покупает. Книгопродавец ценит произведение не по его достоинству, а по спросу на него; и за это нельзя даже сетовать на торговца. Так вот я и надумал, что лучше всего будет поэму не продавать, а отпечатать, тогда она пусть даже за более длительное время, но даст вдвое или втрое больше дохода. Это советует и сам Эмих; на твои остальные произведения он готов торговаться позднее, исходя из того, как разойдется «Осада Мураня». Эмих берется отпечатать поэму при том условии, что она пойдет к нему на комиссию. Разумеется, расходы по изданию он вычтет потом из дохода. По-моему, так будет лучше всего. Если тебе деньги нужны немедленно, я пойду и к остальным книгоиздателям, если же нет, то порешим на этом. Я уже имел дело со всеми издателями и заверяю тебя, что Эмих самый честный; тебе лучше всего связаться с ним. Итак, срочно напиши, что мне делать. Коли этот план будет приведен в исполнение, то правильнее всего остановиться на формате и цене «*Витязя Яноша*». А впрочем, если хочешь, Эмих оформит книгу роскошно. Это как тебе будет угодно. Согласно твоей воле я и буду действовать. Но напиши ясно обо всем, чтобы потом ты со мной не поссорился, чтобы не прервалась наша дружба и чтоб мы не изрубили друг друга на гуляш. С твоего милостивого соизволения Йокаи вскоре напечатает отрывок из твоей поэмы. Читал ли ты «*Марию Сечи*» Томпы? Да разве это Мария Сечи, это ж Панни Паньо! Видит бог, что я говорю не из зависти и не от злорадства, но он захотел состязаться со мной и потерпел такой крах, какой может потерпеть только дом Ротшильда, хотя Мишка и сказал

Боди Адорьяну, что моя Марча «весьма посредственна». Увидишь, что Томпу убьет соперничество; он любой ценой хочет состязаться со мной в беге, — дай-то бог, чтоб опередил, но боюсь, что только надорвется. Имре Вахот пытается в своем журнале противопоставить его мне. «Семле» тоже ставит его выше меня. Гемерский комитат считает его звездой Европы... и бедный Мишка... Ей-богу, мне жаль его. Любое соперничество в литературе ничтожно и смешно. Ведь я-то никогда не говорил так: «Тот или другой бежит до такого-то места, значит, я должен проскочить на одну милю дальше». Я решил, что постараюсь дойти до такого-то места, а остальное не мое дело, — ни налево, ни направо я оглядываться не стану. Конченный человек тот, кого подгоняет только желание состязаться, а не вихрь души. Мне хочется, чтобы ты передал ему это слово в слово. Сам я этого делать не стану, ибо он написал Йокаи, что если Петёфи напишет ему несколько строк, то и он черкнет несколько строк Петёфи! Благодарю покорно!

А ваших милостей пусть в новом году отец небесный благословит всяческой телесной и духовной благодатью, что по-французски звучит так: «Будьте так же счастливы, как и мы». Если же господь этого не выполнит, то я при первом же удобном случае вызову его на дуэль и буду биться не на живот, а на смерть. Приветствуем, целуем вас всех по очереди!

Остаюсь

таким же, каким был в прошлом году.

А письмо вышло все-таки длинное!.. Но есть в нем и мякина, и кочерыжка, и солома, и пр.

Перевожу «Кориолана», на-днях заканчиваю первое действие.

Пешт, 29 января 1848 года.

Комета нашей отчизны, мой высокочтимый друг! Раскрой свои величественные уши и слушай внимательно. Пишу тебе по невероятно важному и *detto* * срочному делу... В Европе царит страшная суматоха, и только ты один можешь навести порядок. Спорят *pro et contra* **, и иные утверждают, будто ты воспел в «Толди» осла, одетого в львиную шкуру: львиная шкура его называется — «Толди», а природную именуют Шеделем. Друг мой, чтобы положить конец нещадной брани, щипкам, пощечинам, пинкам в бок и в зад, различным колотушкам и чтобы спасти свою нацию от гражданской войны дожистей дожевской, ты как можно скорее заяви во всех венгерских, китайских и готтентотских газетах, что ты воспел не ученого Толди, вернее не Толди — члена ученого общества. Сделай это, друг мой, прошу тебя, сделай во имя отчизны и человечества. Будь ангелом-хранителем мира, и будущие столетия тебя благословят.

Это единственно заставило меня взяться за перо, вернее не за перо, а за деревянную палочку с заостренным, раздвоенным кончиком из стали или меди... Но поскольку сей инструмент у меня уже в руках, да и бумаги хватит еще на несколько строк, то прости меня, о краса Салонты, что я буду продолжать, испытывая твое терпение, прости, тем более, что в дальнейшем мое письмо будет не столь интересным, как вначале.

* Равно (*итал.*).

** За и против (*лат.*).

Вешеленевская «Осада Мураня» трепыхается в чарующих когтях цензора — до восьмого февраля она будет там попискивать, а затем я заберу ее и немедленно сдам в печать, если, конечно, его вездесущая светлость, господин цензор, не узрит в ней оскорбления величества и не поставит на ней крест, чего, впрочем, бояться не следует. А вот посвящение снимими... Э-э! Лучше посвети поэму слуге Вешелени либо его свинопасу, это мне все равно; ведь каким бы Вешелени ни был порядочным человеком, однако же он вельможа, а поэт не должен посвящать вельможам ничего и меньше всего свои стихи. А уж тем более, эти стихи, — ведь Вешелени вряд ли стал бы гордиться своим предком, дравшимся на стороне императора. Впрочем, сие замечание принадлежит Анталу Ченгери, которому я рассказал обо всем, и замечание это верное.

Как поживает моя милая кумушка? Твоей милой кумушке живется хорошо, и она от всего сердца желает того же моей кумушке, и желает она ей всего хорошего, и ежели господь даст, все будет хорошо, но перечислять все это не очень хорошо, поелику скучно, так же как всякие «приветствую», «целую» и т. д. А ты, мой очаровательный Янко, прислал Йокаи прекрасное стихотворение «Зимой». Старайся, старайся, я же всегда говорил, что из тебя выйдет толк! Сейчас я пишу «Лехела», поэму о нем, короткую, но она будет охватывать всю его жизнь от Азии до виселицы. Пишу таким же александрийским стихом, восьмистрочной строфой, какими ты написал своего Шеделя, вернее Толди. Ох, этот Шедель, ох, этот Шедель, он меня еще в гроб вгонит. Нынче вечером (сейчас уже ночь) Габор Эгреши подарил нам очень вкусную свежую буханку хлеба. Приезжай, Янко, мы поделимся с то-

бой. Но до чего скверно это перо, может представить себе только тот, кто видит, как оно пишет... Вот как швырну его об пол!.. Прячься, Янко, ибо будет война, она уже здесь, по соседству, в Италии... И как же мне хотелось бы видеть тебя в твоей круглой шляпе на коне. Да, кстати! Пригляди какую-нибудь оказию, ибо здесь лежит для тебя пакет. Не знаю, от кого, и не знаю, что в нем? Напиши, каким образом тебе его переслать. Впрочем, можешь не писать, я не отдам его до тех пор, покуда ты сам не приедешь за ним... Вот это хорошая мысль. Самая лучшая во всем письме. Ничего не могу поделаться с этим проклятым пером! Приветы, поцелуй налево и направо, всем старым и малым! Письмо твое я жду, вернее мы ждем каждый миг!

Обожающий тебя друг

Ш. П.

49. ЯНОШУ АРАНЮ

Пешт, 10 февраля 1848 года.

Милый Янко! Дождь идет, снег тает, к тому же еще грязь несусветная. Прости меня, что в сей дождь и грязь покончил я с «Досадой», я хотел сказать — с «Осадой Мураня». Цензор пытался казнить те три строфы, в которых ты говоришь, вернее заставляешь говорить Марию, чтобы мы посмотрели на бедного гибнущего соседа-чеха и пр. Цензору показалось сие приближением к нынешней политической ситуации, но я заверил его, что этого никак не может быть, ибо автор произведения — тупая деревенщина, не имеющая никакого представления о политике и политических ситуациях, *denique* я затупил его убийственный кинжал на наждачном

камне уговоров, и твое милое детище живо и здорово. Его не то что не убили, но даже в еврея не превратили, я хочу сказать, не обрезали. Этим ты обязан мне, ибо цензором был старик Режета, а с ним умею договариваться только я. От него я направился в типографию и там устроил все. Будет напечатано в таком же формате, как первое издание *«Витязя Яноша»*, за 22 пенге лист, на превосходной веленовой бумаге, в 1000 экземплярах. Типографские расходы обойдутся всего лишь в 130 пенге, цена будет 40 пенге-крайцаров, таким образом, в случае распродажи тысячи экземпляров ты, за вычетом типографских расходов и комиссионного процента книгопродавцу, получишь 400 пенге чистого дохода. Если хочешь, я при ближайшей возможности пошлю тебе эти четыреста пенге из своего кармана, но для этого ты должен мне немедленно обеспечить главный выигрыш в лотерее.

Мы с Вёрёшмарти усиленно переводим Шекспира, я в этом месяце закончу *«Кориолана»* — подхожу уже к концу четвертого действия. Вёрёшмарти заканчивает *«Лира»*. Кроме *«Кориолана»*, я непременно переведу *«Ромео»*, *«Отелло»*, *«Ричарда III»*, *«Тимона Афинского»*, *«Цимбелина»*, а может быть, и *«Генриха IV»* и *«Зимнюю сказку»*. Вёрёшмарти, кроме *«Лира»*, переведет *«Макбета»*, *«Гамлета»*, *«Двенадцатую ночь»*, *«Сон в летнюю ночь»* и еще не знаю что. Сообщали, будто *«Товарищество книгопродавцев»* покупает наши переводы, но это неправда. Сперва так оно и было, говорили, что купят, но потом, как и полагается доброму венгерскому товариществу, передумали. Теперь предложили нам отпечатать переводы и продавать их без комиссионных (расходы за печать они вычтут, конечно, потом). Посмотрим, что-то выйдет теперь. Как подвинулся

ты с «Виндзорскими кумушками»? Чертовски тяжелая работа, не правда ли? Пришли мне при первой возможности отрывок из «Короля Джона» *, я тоже пошлю тебе на другом листке отрывок из «Кориолана». Увидишь, какие я позволяю себе вольности как в форме, так и в содержании; думаю, что от венгерского языка большего нельзя и требовать, уже и это большое дело. В иных местах у меня выходит на строчку длинней, но подобное позволяет себе и знаменитый Шлегель, а он немец и переводить с английского на немецкий, по сравнению с переводом на венгерский — детские игрушки.

С «Лехелем» я буду молчать до тех пор, покуда не закончу «Кориолана», — тогда схвачусь за него что есть силы; готово уже 37 строф по 8 строк.

Ты не ответил еще на мое предыдущее письмо. Это, быть может, первый случай, что я пишу кому-нибудь два раза подряд.

Как вы живете? Хорошо, конечно. Мы тоже живем славно, счастливы необычайно, однако же не забываем и о Салонте? А вы о Пеште? Эй, готов ли уже Толди? Ты старайся, а не то, как приедешь в Пешт, я стукну тебя что есть силы. А кумушка уже готовит тебе припасы на дорогу? Благослови вас господь, милая кумушка, поторапливайтесь с жареной гусятиной, ветчиной и коржиками... А ты, Лаци, не хнычь, когда отец уедет... Видишь, Юльча-то не плачет. Ничего дурного с вашим отцом здесь не случится, в худшем случае у него вытащат деньги из кармана. С такой тупой деревенщиной это может статься. Поэтому, братец Янко, много денег с собой не бери, хватит с тебя и нескольких сотен пенге. Благослови вас господь! Твой друг

Шандор П.

* Если я не ошибаюсь, ты его переводил. (Прим. автора.)

Пишет, 21 марта 1848 года.

Братец Янко! Признаться, напрасно утруждал ты себя перепиской чужого письма и пересылкой его мне. Ежели думаешь, что я люблю сплетни, то титанически ошибаешься! Поэтому *semper pro semper* * оставим сплетни. Особенно в такие времена! В дни революции! Ведь у нас революция, друг мой! Можешь себе представить, насколько я в своей стихии! Многие хотят отнять это имя у нашего движения. А почему? Потому, что кровь не пролилась? От этого только слава всему делу, а сущность не меняется. Я считаю революцией всякое насильственное переустройство, а мы насильно отвоевали свободу печати и свободу Танчичу. Отсутствие сопротивления говорит лишь о том, что враг либо понял свое бессилие, слабость, либо струсил и не посмел напасть на нас. Ха! Если бы ты только видел, как побледнел и задрожал всемилостивейший наместнический совет, когда из «*Comité du salut public*» ** появилась депутация в сопровождении тысяч и тысяч людей со своими требованиями.

Но мне сейчас некогда длинно писать — сообщая тебе только о том, что мой «Кориолан» уже печатается и титул выглядит так: «Собрание сочинений Шекспира в переводах Араня, Петёфи, Вёрёшмарти». Вот так и знай! Подготовь либо «Короля Джона», либо «Виндзорских кумушек», чтобы выслать их в случае нужды. Почему не прислал ты отрывок из «Короля Джона»? И вообще почему ты не пишешь?

* Раз и навсегда (*лат.*).

** «Комитет общественного спасения» (*франц.*).

Эй! О дальнейших переводах поговорим позднее. Приветствуем, целуем вас. Милый друг, храни тебя господь от всяких бед в уголке за печкой. Пиши как можно скорее! Твой верный друг

Шандор Петёфи.

Притиска. Прилагаемое стихотворение было первым напечатано свободной венгерской печатью. Спрячь этот экземпляр на память.

51. ЯНОШУ АРАНЮ

Пешт, 18 апреля 1848 года.

Милый Янко! Слышал, будто до тебя дошла весть, что я арестован. Доброхотов, желающих от души, чтоб меня до конца дней содержали за казенный счет, у меня, как известно, достаточно. Но подобные их мечты по сей день только *pium desiderium* *. А поэтому перестань лить слезы и печалиться обо мне, я и без того достаточно печалюсь из-за твоей дурьей башки. Ей-богу, я это говорю не в виде похвалы (ты же знаешь, что хвалить в глаза я не люблю), но я не могу умолчать, что ты великий осел. Кой чёрт тебя дернул сказать, что «Вечер Толди» твое последнее произведение? Братец, в голове твоей еще много дури, и если ты не выпустишь ее по доброй воле, так и знай, я выколочу ее из тебя дубинкой или молотком, что тебе больше по душе придется. А мне подобной ерунды не пиши, все письма, полные такой чепухи, я буду отсылать обратно, не распечатывая. Прежде всего возьмиись опять за Толди; коли ты уж

* Благое пожелание (*лат.*).

вылепил руки и ноги, то обязан вылепить и торс — иначе согрешишь и против бога и против людей. Хоть трижды помри, но сделай это непременно. Сплавь все в единое прекрасное целое. То, что история не дает тебе фактов, не беда, так оно даже лучше, вольнее сможешь творить. Протащи Толди по всем перипетиям частной и общественной жизни, и если ты это завершишь, то и Гомер и Оссиан почтут за счастье, коли ты им руку подашь. Это говорю тебе я, а я ведь никогда не вру. Мишка Томпа был здесь, а может, и до сей поры тут, не знаю. Я встречался с ним несколько раз, но за последнее время не вижу его. У него есть одно оригинальное свойство: он предпочитает развлекаться с любимыми проходимцами, нежели со своими друзьями. А впрочем, я могу себе даже представить, что он уехал не попрощавшись. За все время, что мы провели с ним вместе, в глазах его не блеснул даже хоть скольконибудь теплый лучик. Он пропал, он в высшей степени *malcontentus* *, не доволен ни собой, ни друзьями. Это так и прет из каждого его слова, из каждого его взгляда, и мне жаль его от души; жаль с двух точек зрения: и как друга и как поэта. Ландерер будет издавать «Народную газету», он уже до объявления собрал 4500 подписчиков. Для разработки плана назначен комитет, в который вошел и я; на заседании я заявил, что никого, кроме тебя, не считаю подходящим для редактирования газеты. Я бы взялся сам, да у меня есть уже договор с «Элеткепек», с Йокаи. Напиши немедленно, на каких условиях возьмешься ты за редактирование, перебравшись, конечно, на жительство в Пешт. Скажем, если б мы обеспечили тебя на пять лет по 2000 фори́нтов

* Неудовлетворен (лат.).

в год? Верно? Пиши немедленно, тебе лучше знать, какие условия считаешь ты для себя подходящими; сколько тебе нужно — меньше или больше. Янко, подумай, вот была бы жизнь, если б ты приехал! Господь тебя благослови, приезжай! Мы живем не хуже Христа, хоть и бедновато. Приветствуем, целуем вас всех, больших и малых, — я такой же, как и был, и останусь таким же, как сейчас. Твой верный друг

Шандор Петёфи.

Приписка на полях. «Осада Мураня» вышла давным-давно, «Вечер Толди» я предложил «Товариществу книгоиздателей», но оно прекращает свою деятельность до июля. Теперь я не знаю, что делать до тех пор с твоей книгой. Ну да что-нибудь придумаем. Обнимаю тебя 10000000000000000000 раз.

52. ЯНОШУ АРАНИУ

Пешт, 5 мая 1848 года.

Золото мое, милый друг мой Янош! Пишу коротко, но ясно. Вчера состоялось заседание комитета, учрежденного для издания «Народной газеты», — члены его: Вёрёшмарти, Танчич, Шюкеи, Пал Няри, Элек Фенеш, Петёфи и др. Прежде всего ты должен знать, что газету эту издает не книгопродавец, а пештский центральный комитет при денежном содействии министерства. Главным редактором газеты будет венгерец; ему дадут пять помощников, для перевода венгерского текста на немецкий, словацкий, румынский и сербский языки. Таким образом, газета будет выходить на пяти языках. А теперь

раскрой все свои шестеро ушей, чтобы понять меня, ибо я больно плохо объясняю. Пештский комитет при содействии министерства платит этому редактору шестьсот форинтов в год и бесплатно отпечатывает 1000 экземпляров для себя, то есть для редактора, что составит 2000 пенге в год даже в том случае, если подписная плата будет только два форинта. Прибавив шестьсот пенге наличными — получаем 2600 пенге в год. Такова гарантия, но если распродается больше тысячи экземпляров, то, за вычетом типографских расходов, весь дополнительный доход, до последнего гроша, будет принадлежать редактору даже при тех условиях, если газета наберет 50 000 подписчиков. Кроме того, редактор получает 2000 пенге в год на уплату гонораров за статьи; поскольку все статьи, помещенные в газете, подлежат оплате, думаю, что на лист падет 40 пенге гонорара. Газета должна выходить размером в один лист раз в неделю. Само собой разумеется, если редактор написал что-нибудь, то он и самому себе уплатит по сорок форинтов за лист; за год он даже левой рукой может написать 10 листов, что составит 400 пенге. Таким образом, верный годовой доход редактора будет 3000 пенге-форинтов... Конечно, может быть и вдвое, но четыреста уж наверняка. Братец Янко! Когда дело дошло до избрания редактора, первым взял слово я и сказал: «Предлагаю Яноша Араня». Предложение свое мне не пришлось ни повторять, ни разъяснять, весь комитет согласился, никто не выступил против. Пишу об этом для того, чтобы ты не подумал, будто я нивесь сколько трудился, потел, ораторствовал и, может быть, даже бранился, пока тебя не выдвинул редактором. А ведь подобные мысли могли возникнуть в дурей башке вашей милости. Не я тебя произвел в

редакторы, ты сам сделался им; а поэтому, если ты когда-нибудь посмеешь благодарить меня (в прошлом письме у тебя уже хватило на это нахальства), то я тебя пристукну. Не сомневаюсь ни секунды, что ты покинешь Салонту. Но выехать должен немедленно; если бы ты был здесь, то мог бы уже двинуть газету. Как только получишь мое письмо, немедленно садись в коляску, телегу, либо à la господин Иштван Зайтаи на коня и мчись сюда. Выехать сразу со всей семьей было бы трудно, хотя бы даже из-за квартиры. Дома наладь все свои дела и приезжай только один, а потом мы здесь сообразим, когда и как приедут остальные. Друг мой, бывают обстоятельства, которые если упустишь, то даже бог не воссоздаст их вновь... думаю, что это именно такой случай. Надеюсь, что ты его не упустишь. Торопись, торопись, торопись! Обнимаем, целуем вас.

Твой друг

Шандор Петёфи.

Приписка на полях. Приезжай так, чтобы тебе не пришлось больше возвращаться обратно. Письма от тебя уже не жду, — надеюсь, что ты сам опередишь письмо. Пусть салонтовцы позаботятся о другом нотариусе, будто ты умер. Это их дело.

53. КАРОЮ БАНКОШУ

Пешт, 25 мая 1848 года.

Друг мой Карой!

Мне хотелось бы стать депутатом будущего Национального собрания, хотелось бы, конечно, ежели меня изберут. Я могу обратиться в разные

края, но стучусь прямо в двери своей родины Киш-Куншага. Думаю, мой друг, ты будешь столь любезен написать мне немедленно, где состоятся выборы кун-сентмиклошцев, на месте или еще где-нибудь? Надеюсь, что вы изберете меня и, таким образом, не навлечете позора на свою голову. Видит бог, что не из-за тщеславия или самолюбия стремлюсь я стать депутатом, а единственно с той целью, чтобы служить родине в меру сил своих. Не сомневаюсь, что в Национальном собрании будет достаточно умных людей, но будут ли люди, полные воодушевления и способные вдохновлять, это еще вопрос. А ведь по теперешним временам больше всего нужны именно такие люди... нужно фанатическое воодушевление, чтоб оно освещало дорогу нации так же, как огненный столп светил в пустыне изгнанному народу Моисея. Еще раз прошу тебя, ответь немедленно, так как время не терпит. Мой адрес: улица Дохань, 373. Привет всем друзьям, обнимаю тебя, остаюсь твоим искренним другом.

Шандор Петёфи.

54. ЯНОШУ БАЧО

Пешт, 30 июня 1848 года.

Милый друг!

Оба твоих письма получил, а также и вложенный золотой, за который немедленно высылаю причитающийся экземпляр. В переплете он стоит примерно золотой, может разве на несколько крайцаров больше или меньше. Так что убыток или прибыль невелики. Это я счел необходимым сказать тебе, ибо в денежных делах я чрезвычайно щепетилен. А за то, что не отвечал на твои письма,

ты, мой друг, не сердись: я никогда не был охотником до писем, а в такие смутные времена, когда ума не приложишь за что и взяться, у меня еще меньше к ним охоты. Не знал я, что ты живешь сейчас в Фюлепсалаше, очень, очень обидно. Знал бы, навестил наверняка. Хотел я из Сентмиклоша перебраться туда, но подумал: «К кому же я поеду, коли и меня там ни души знакомой». Да, тогда во всяком случае многое пошло бы по-иному; но теперь уже все кончено, а потом как-никак образуется. Верификационный комитет непременно выгонит Кароя Надя, и тогда, я убежден, что при вторичных выборах депутатом изберут меня. Мои финансовые дела вряд ли позволят мне снова выехать к вам, но я надеюсь на вас, друзья мои, надеюсь, что вы сделаете для меня все, что потребуют справедливость и ваши права. Если приедешь в Пешт, всегда буду рад тебя видеть. Мой адрес: ул. Дохань, 373. Господь с тобой.

Твой искренний друг

Шандор Петёфи.

55. ЯНОШУ АРАНЮ

Пешт, 1 июля 1848 года.

Мой милый Янко! Письмо твое не только прочел, но и получил. Вместо того чтобы найти утешение в том, что *dulce est socios habuisse malorum* *, именно это и можно было извлечь из письма, — я еще пуще предался отчаянию. Свинство то, что выделывают эти люди по всей стране, свинство! Правда, в Национальное собрание попадут и славные ребята,

* Приятно иметь товарищей по несчастью (*лат.*).

но самые пламенные и самые бескорыстные друзья народа все отстранены. Да здравствует народное представительство!.. Ты хоть кое-как можешь примириться с выборами, насколько мне известно, ваш депутат честный и умный человек... А я? Мой победоносный соперник — такой прекрасный цветок, что мог бы служить наиболее ярким украшением авгиевой конюшни. Обидно не то, что я не прошел депутатом, а то, что стал им человек, недостойный даже веревки, на которой его когда-нибудь повесят.

Но если верификационный комитет и не сразу его прогонит, то все равно ему не удастся продепутатствовать три года... Ого! Через три года совсем иные депутаты будут представлять нацию... то будет настоящее Национальное собрание. Не бойся, братишка, мы тоже войдем в него. Сейчас говорят: «Он республиканец, не нужно его!», а на тех, новых выборах скажут: «Этот не республиканец — значит не нужен!» или: «Этот республиканец — значит он должен быть депутатом». Каким прекрасным предстает будущее, друг мой, каким прекрасным! Этого ты не можешь даже вообразить, это знаю только я, потому что вижу его так же ясно, как твой портрет на одной стене и портрет Марата на другой... не икнулось ли тебе со страху, что я помянул тебя заодно с Маратом. Но чёрт побрал бы эту политику, я и без того с утра до ночи занят ею, лучше оставим ее. Сегодня Геребен Ваш сказал мне, что уже в этом году газета дала вам каждому по 600 пенге дохода. В деревне это хватило бы тебе на восемь лет! Тем не менее ты мог бы швырнуть «Элеткепеку» хоть какое-нибудь захудалое творение своего духа. Йокаи уже злится, а я хоть и хладнокровный человек, однако ж не нынче завтра тоже

скину с себя флегму... Твое стихотворение о Ракоци осталось здесь, послать мне его или у тебя и дома есть экземпляр? Что же касается «Вечера Толди», то я поговорю с Йокаи, но ты напиши сперва, сколько хочешь получить за него, — ведь, если я, скажем, хочу купить штиблеты, то не я предлагаю первым: «Даю за них столько-то и столько-то», а сапожник говорит мне: «Прошу столько-то». Впрочем, этим я вовсе не хочу сказать, что ты штиблетина, а «Вечер Толди» сапожник. Эх, эх, Янко, какая же обида, что ты не стал депутатом. Это настоящий удар если не для родины, то, по крайней мере, для меня, так как я рассчитывал, что ты дашь мне свой билет и я хоть с галерки смогу наблюдать за Национальным собранием. Ха-ха-ха! Значит, меня-таки вытеснили на галерку! Меня — на галерку! Бедный народ, бедный народ, твой самый фанатичный друг только издали будет слушать, как решается твоя судьба, а если ему там, наверху, случится кашлянуть, то и оттуда его выгонят. Бедный народ! Но ты не печалься, это было последним содроганием твоих врагов. Конвульсивным движением им удалось отшвырнуть меня, и тем не менее это было их последним содроганием... Еще один щелчок им по голове, и тогда шах и мат! Прощай Янко, я и моя жена приветствуем и целуем вас, причем очень крепко. Господь с вами! Твой друг

Шандор Петёфи.

Пешт, 9 июля 1848 года.

Милый друг!

Ты, должно быть, уже читал в газетах о героическом поведении Кароя Надя, этой гордости Киш-Куншага. Никогда еще Киш-Куншаг не выставлял себя так на позор, как с этим жалким ублюдком. На заседания Карой Надь уже не ходит и вообще в публичных местах не появляется. Если б я вызвал на дуэль самого ничтожного брадобрея, то и он не стал бы так гнусно отступать, как этот господин. Когда я впервые направил к нему своих секундантов, он не только не принял вызова, но тут же побежал к Морицу Перцелю, как к начальнику полиции, и попросил взять его под защиту, так как я будто бы желаю незаконным путем получить от него удовлетворение. Уже после этого беспримерно трусливого поступка я мог счесть себя свободным от каких-либо обязательств чести, больше не было необходимости ни дать, ни требовать удовлетворения — оставалось только надавать ему пощечин или отхлестать кнутом. И все-таки, когда на следующий день разнесся слух, что он готов принять вызов, я снова послал к нему секундантов, вернее не к нему, а к его секунданту, который заявил, что согласен драться только на саблях, а на пистолетах не желает... Так заявил он от имени человека, который за несколько дней перед этим посмел публично написать, что если я имею что-нибудь против него, то должен выступить с поднятым забралом, так как он *не отступит передо мной ни на шаг*. Трусливый пес! Мои секунданты настаивали на пистолетах, ибо каждый вправе выбрать более опасное оружие и тогда противник обязан на это согласиться. Более

того, они предлагали, чтобы в случае промаха мы продолжали поединок до тех пор, покамест один из нас не протянет ножки. Можешь себе представить, как опешил секундант моего противника, а тем более сам противник!.. Я придерживаюсь принципа никогда не драться понапрасну, а уж если драться, то не на живот, а на смерть, ибо дуэль — не шутка. Да и дерусь я только с тем, кто оскорбил меня так, как этот прохвост. Я дерусь, чтобы с наслаждением всадить в него пулю, как в бешеного пса, который кидается на меня. Но довольно о нем. Он не заслужил так много слов. И подумать только, что я возился с человеком, с которого ни всемирный потоп, ни вечность не смоют позора! А впрочем, еще об одном: депутаты, незнакомые с ним лично, знают его только по моему описанию, и теперь в Собрании все опасаются сесть рядом с любимым высоким брюнетом, боясь очутиться подле этой позорной личности. Для расследования этого дела на вчерашнем заседании назначили трех депутатов, которые и поедут к вам. Назначили Пала Асталоса, Яноша Бесе и Шаму Бониша. Я очень доволен этим, — они уж кого надо выведут на чистую воду. Но и ты вызови народ, чтоб он дал необходимые показания, и сам тоже выступи в качестве свидетеля. Если б в этом Карое Наде не погасла последняя искорка чести, то теперь и все это расследование было бы ни к чему. Он сломя голову умчался бы навсегда из Пешта, зная наперед, что, куда бы он ни обратился, ему везде плюнут в глаза или надают пощечин, при этом вовсе не остерегаясь того, что придется дать удовлетворение. Господь с тобой. Коли приедешь, жду тебя в гости,
твой искренний друг

Шандор Петёфи.

Написал же я, чтобы меня не трогали, а то я в конце концов выступлю и сдеру с них шкуру, как Аполлон с Марсия. А я верен слову. Предложи им это учеть.

57. ЯНОШУ АРАНЮ

Пешт, 14 июля 1848 года.

Милый братишка! Янко! О! Как раз нынче, 14 июля, исполняется пятьдесят девять лет с того дня, как французский народ штурмовал и захватил Бастилию. В такой знаменательный день я тоже решился совершить что-нибудь знаменательное. И совершил! Взял займы у Яноша Араня сто восемь пенге-форинтов. Верь не верь, но это так. Вот они, комментарии.

На-днях мне пришлось уплатить по двухсот-восьмифоринтовому векселю. Я пошел к Хеккенасту, чтоб получить двести форинтов авансом за редактирование «Элеткепека», но этот жалкий субъект дал мне только сто пенге, сказав, что у него нет денег. Ну, говорю я, не беда, сто пенге у меня есть, остальные получу с Эмиха, он должен мне согласно контракту столько же... Разыскиваю Эмиха, но узнаю, что он уехал куда-то на воды в Штирию и вернется только через несколько недель. Это было уже хуже и много хуже. С таким неприятным чувством пошел я в Национальное собрание. Там я встретился с Геребенем Вашем, который сообщил мне, что тебе уже полагается из доходов газеты 3000 форинтов банкнотами. От этих слов в потемневшем храме моей души зажегся розовый бенгальский огонь. Я подумал: из 3000 форинтов и на мою долю могут выпасть 108 пенге,

и я попросил их у Геребена Ваша. На-днях он передаст мне эту сумму из положенных тебе денег. А теперь, братишка, хоть плачь и вопи, как гибнущий Иерусалим, — мне все равно, лишь бы деньги были у меня в руках. Когда-то ты успеешь написать Геребену Вашу, чтобы он ни за какие сокровища мира не давал мне ни одного филлера, а я уже просадил все деньги. Ха-ха-ха! Из всего этого один краткий и важный урок: не зевай.

А говоря всерьез, быть может, и безобразие, что я именно тебя схватил за глотку; ты, наверно, нуждаешься в деньгах так же, как и я, но я подумал: мне не миновать чьего-нибудь гнева, так пусть уж лучше гневаешься ты, чем кто-нибудь другой. Ты не живешь в Пеште и даже наездами бываешь редко, а потому и мне не придется дрожать ежеминутно, что вот-вот я встречу со своим кредитором. С замиранием сердца жду твой мечущий молнии громовой ответ и уже мечтаю о том, чтобы гроза поскорее пронеслась. Господь с вами... Не стану сейчас желать вам ничего хорошего и даже прощаться не стану, чтобы ты не подумал, будто я хочу тебя задобрить. Нет! Я мужчина и отважно смотрю в глаза беде. Так-то вот!

Шандор Петёфи.

58. ЯНОШУ БАЧО

Пешт, 16 июля 1848 года.

Друг мой Янчи!

Я не люблю писать письма, да и некогда мне, а кроме того, как раз сегодня отправил тебе одно письмо; однако твое нынешнее послание я не могу оставить без ответа. Что касается первой части его, то среди множества неверных положений ты высказываешь

и много правильного. Верно, народ именно таков, каким ты его рисуешь, но ты ошибаешься, думая, что я представляю его какой-то идеальной корпорацией. Нет, друг мой, я не представляю его более идеальным, нежели ты, ничуть! Но главное стремление моей жизни в том, чтобы он не оставался таким, как ныне. Облагородить и просветить народ, по мнению многих, — сизифов труд; а я думаю иначе, и как раз поэтому достаёт у меня сил не покладая рук бороться за интересы народа. Если я не доживу до лучших времен, доживут другие; пусть даже след моих трудов исчезнет в этой огромной работе, пусть не помянут моего имени среди преобразователей народа, — все-таки я умру счастливым, с радостью сознавая, что и из моей души тоже капнула росинка в ту святую воду, которой будут заново крестить человечество.

А теперь о второй части твоего письма, касающейся дуэли: я могу сказать, что гнушаюсь дуэли не меньше тебя, считаю ее глупостью и бессмыслицей. Знаю, что чести меня никто не лишит, не может лишить, а если б это и случилось, то дуэлью ее все равно не вернешь, но здесь речь шла вовсе не о моей чести! Я должен был блестяще засвидетельствовать свою храбрость, чтобы каждый подлец и проходимец не считал себя вправе позорить и чернить меня. Карой Надь написал в своей грязной статье: если я имею что-нибудь против него, то обязан выступить с поднятым забралом, и он не отступит ни на шаг. Меня заставили прибегнуть к дуэли вовсе не провал на выборах и не площадные ругательства в статье Кароя Надя, а эти слова, их вызывающая хвастливость. Это был публичный вызов на дуэль, и если бы я отступил, вернее не выступил, то меня вправе был бы оплевать любой,

да так и поступили бы к торжеству Кароя Надя. А этого со мной не сделать не только тому, кого кличут Надь *, а даже и тому, для которого *надь* служит эпитетом.

Никогда не был я настолько обязан выступить в защиту себя, как после его заявления; и я сделал это через Йокаи и Палфи, вызвав Надя на дуэль. Они пошли к нему, передали вызов, однако он ни под каким видом не желал принять его, а после того как мои секунданты удалились, Надь помчался к Перцелю и выдал нас. Перцель посмеялся над ним... Я встретился с Перцелем как раз вслед за тем, как от него ушел Карой Надь, и Перцель, смеясь, рассказал мне обо всей произошедшей у него сцене. Тогда я и написал то заявление в несколько строк, которое появилось в «Пешти Хирлапе» и других газетах. В заявлении я рассказал о трусливом отступлении Кароя Надя. На другой день разнесся слух, что он готов принять вызов, и я из чрезмерного рыцарства немедленно направил своих секундантов к его секунданту Селешу. Селеш заявил от имени Надя, что он согласен драться только на шпагах. На это мои секунданты не пошли, предложив, в согласии с правилами дуэлей, пистолеты как более сильное оружие. Мне не хотелось пустого парада, пустого бряцания шпагами или, в худшем случае, нескольких царапин, — я желал поставить жизнь на карту в надежде, что пристрелю этого жалкого ублюдка, который набрался храбрости и кинулся на меня, как бешеная собака; несколько дней назад он, бахвалясь, угрожал мне перед публикой, а теперь трусливо отпрянул от пистолета. Вот и весь случай! Относительно себя, я свои обязанности выпол-

* Надь — по-венгерски означает: большой, великий.

нил, а он к своим прекрасным эпитетам прибавил еще один — «трусливый». Пощечин я ему не надавал, но этим он обязан только тому, что мне не хотелось марать руки об его грязную морду... А что сделают с ним другие, до этого мне нет никакого дела, — я никого не утихомириваю и никого не науськиваю на него. Кто поведает тебе об этом столько же, сколько рассказал я, скажет правду, а кто расскажет больше или меньше, тому не верь, тот врет. Наконец что касается депутатства, то ради него я никогда в жизни не сделаю больше ни одного шага. Ежели во всей нашей Венгрии ни в одной округе не обнаружат столько чувства чести, или в сущности ума, чтобы избрать меня депутатом, то, ей-богу, Венгрия не заслуживает того, чтоб я представлял ее!

Господь с тобой.

Твой искренный друг

Шандор Петёфи.

59. ЯНОШУ АРАНЮ

Пишет, 16 августа 1848 года.

Милый друг! Читал ли ты Тацита? Если нет — прочти, и тогда ты узнаешь, что мы с ним очень сходны (во всяком случае в вопросе писания писем), — оба пишем кратко.

Ты до сих пор не написал, сколько гонорара просишь от «Элеткепека» за «Вечер Толди».

Каким путем переслать тебе экземпляры твоего портрета? Судя по твоему последнему дурацкому письму, можно было подумать, что ты поехал куда-то к буньевцам и усердно... прячешься в куку-

рузнике. Потому я и не писал тебе до сих пор. Мой новый адрес: Улица Левес, 391.

Из всех наших газет «Друг народа» самая предательская, — подразумеваю под этим роялистские министерские статьи твоего коллеги. Я знал с самого начала, вернее предчувствовал заранее, и даже тебе сказал, что Г. Ваш если и не подлец, то во всяком случае какой-то недоросль. Правда, в его безграничную честность я тоже не верю, а потому, если сочтешь нужным, напиши мне ясно в ближайшем письме, что просишь меня заставить его отчитаться в финансовых делах газеты. Я считаю это нужным. Я был по твоему делу у Эмиха, и он ответил, что только в апреле будущего года сможет сказать, сколько разошлось экземпляров «Осады Мураня», ибо лишь тогда произведет он расчеты с провинциальными книгопродавцами. Но одно он сказал и сейчас, что если и в провинции был на книгу такой же спрос, как здесь, то половина типографских расходов уже возмещена.

Намедни я закончил длинную поэму (примерно 3400 строк), называется она «Апостол».

Мы живем хорошо, отсутствием здоровья и обилием денег не страдаем. Но родина в скверном состоянии; либо придет революция, которая все перевернет, но и все спасет, либо мы погибнем, и так позорно, как не погибала еще ни одна нация. Мне кажется, что мы накануне грандиозной революции, ты же знаешь, что у меня не бывает напрасных предчувствий. А тогда мы первым делом воздвигнем большую виселицу и вздернем на нее девять человек!

Господь с вами со всеми. Обнимаем, целуем вас!

Твой друг

Напиши как можно скорее.

Ш. П.

Пешт, 18 августа 1848 года.

Друг мой Карой!

От тебя я получил всего только три письма. Первые два поместил в «Элеткепеке», третье пришло только сегодня, его я тоже напечатаю. Знал бы ты мои обстоятельства, так не сетовал бы на молчание. Мне мешала не столько занятость, сколько то, что делает меня непригодным к любым занятиям, — рассеянность, происходящая от нашего ненормального, отчаянного положения. Плохи у нас дела! Никогда еще не существовало Национального собрания и министерства более беспомощных и жалких, чем наши. Вы, несчастные министропклонники! Глаза-то у вас уже прозрели? Видите ли вы теперь, что я не был несправедлив в самых своих горьких излияниях против министерства; напротив, высказывался слишком кротко и смиренно. Как раз сейчас начались прения, в Собрании развернулась борьба не на живот, а на смерть по вопросу о новой армии, которую этот безумец Месарош... хочет насильно создать по немецкому образцу. Видал ли ты когда-нибудь более мерзкое предательство родины, больший позор, и это навлекли на венгерскую нацию по глупости или подлости?! погоди, я только что вспомнил, что ты писал в своем последнем письме о Месароше... так пади же пред ним ниц, целуй ему ноги — его ноги, которые так гнусно лягают независимость Венгрии и достоинство венгерской нации. Если б я рассказал обо всем, то все вы, проживающие там, внизу, примчались бы сюда и для начала истребили бы министерство и Национальное собрание, ибо самые матерые враги нашей свободы и будущего величия находятся здесь, в

Пеште. Не встречал ли ты моего братишку Пишту? Он служит в 4-й роте 6-го батальона. Всегда рад твоим письмам, больше того, прошу тебя писать чаще! Господь с тобой.

Твой истинный друг

Шандор Петёфи.

61. ВДОВЕ ЙОКАИ

Пишт, 6 сентября 1848 года.

Уважаемая тетушка!

Посылку вашу получили, сердечно за нее благодарны. О Морице Лаборфалви я мало что знаю, — наша старая дружба порвалась, и порвалась навеки. Мориц вел себя в отношении меня так безобразно, так подло, что я больше не хочу видеть его. Услышав, что он вернулся из деревни уже женатым человеком, я пошел к Эмеди и вызвал его (как и делал обычно прежде, поскольку к Розе Л. я не ходил никогда), но Мориц, вместо того чтобы выйти, грубо передал мне, чтобы я сам вошел к нему, если у меня есть дело; тогда я разозлился и пошел домой. На другой день я послал к нему слугу с просьбой прийти ко мне, ибо у меня к нему очень важное дело; он точно так же подло и грубо, как и накануне, просил передать мне, что я живу от него на таком же расстоянии, как и он от меня, и если у меня есть к нему дело, то я сам могу соизволить прогуляться. Уразумев, наконец, каковы наши отношения, я написал письмо, которое было моим последним письмом к нему в жизни. В этом письме я горько упрекал его в недостойном отношении ко мне и особенно упрекнул за недоверчивость, за то, что касательно его женитьбы я никогда не слышал от него ни одного искреннего слова. За это письмо и тем более за

то, что я разыскивал его тогда и в городе и в горах, он решил мне отомстить! И как отомстить? Омерзительно! Поместил в «Элеткепеке» без моего ведома гнусную статью против меня, в которой, между прочим, обвинил меня в неблагодарности по отношению к Вёрёшмарти и т. д. А ведь Мориц обязан мне гораздо большим, чем я Вёрёшмарти. Ну, да бог с ним! Теперь уже все кончено, и жалеть об этом будет он, а не я. У меня после разрыва с ним остались еще друзья, но его единственным настоящим другом был я. Я считал Морица слабым человеком, но был к нему снисходителен, относя эту слабость за счет молодости, и надеялся, что со временем он станет человеком. Повторяю, я считал его слабым, но никогда не предполагал, что он низкий человек, а сейчас он это доказал совершенно ясно. И вы, тетушка, впредь не спрашивайте меня о нем, поскольку я ровным счетом ничего о нем не знаю и знать не хочу. Он не заслужил даже моего минутного внимания. В конце декабря кончается срок нашего контракта, до тех пор я не могу отказаться от редактирования «Элеткепека», а тогда я откажусь немедленно. Это, конечно, слабое утешение! Могу вас, тетушка, утешить только тем, что вы хоть и потеряли сына, однако потеряли очень, очень дурного сына, который недостоин того, чтобы из-за него горевали. Вместе с женой остаюсь уважающим вас

искренним доброжелателем.

Шандор Петёфи.

62. МИХАЮ ЭТВЕШУ,
САТМАРСКОМУ КОМИТАТСКОМУ ГОЛОВЕ

Синфалу, 30 сентября 1848 года.

Уважаемый господин комитатский голова!

Я прибыл из Надьбани. Собирался проехать в Секейфельд до некоторой степени по государственному поручению, но из Надьбани пришлось повернуть обратно, ибо мне стало известно из достоверных источников, что для венгерца такая поездка по Кеварвидеку сопряжена с опасностью. Восстало 10 000 румын, которые начали враждебные действия с того, что ограбили кеварвидекскую кассу и увезли 18 000 пенге. Вчера в одном месте они уже совершили поджог. Кеварвидекского комитатского голову Шандора Телеки и правительственного комиссара Михаи арестовали, и им только хитростью удалось бежать. Когда они уже вскочили в коляску и понеслись, то по ним дали два выстрела и вслед им бросили железные вилы. К счастью, ни то, ни другое не попало в них. Все это мне известно от самого Телеки и правительственного комиссара. Они находятся в Надьбане вместе со многими господами из Кеварвидека, которым также пришлось бежать из дому ввиду создавшегося небезопасного положения.

Уважаемый господин комитатский голова! Опасность велика, а через несколько дней она может стать огромной! Не я прошу вас, а родина требует, чтобы вы приняли все необходимые меры для устранения опасности. По-моему, тех нескольких сот солдат Национальной гвардии, которые идут сюда, недостаточно; вы должны в своем комитате поднять народное ополчение, а главное — распоря-

даться, чтобы все орудия были на своих местах. Зная ваш энергичный характер, не сомневаюсь, что все будет сделано в кратчайший срок и вы будете вознаграждены благодарностью родины и края, которому угрожает опасность.

Я считаю священной задачей патриота остаться здесь и биться под вашим стягом. Вместе с войсками я отбуду в Надьбаню. А до тех пор господь с вами.

Уважающий вас согражданин

Шандор Петёфи.

63. ЯНОШУ АРАНЮ

Эрдед, 18 октября 1848 года.

Сын мой Янко! Целый месяц понадобился бы для того, чтобы я хоть вкратце описал события последнего месяца. Я объездил Толну, Бараню. Уезжал из Пешта, возвращался в Пешт и оттуда приехал сюда. Дело окончилось тем, что я стал солдатом и теперь приехал сюда попрощаться с моей Юлишкой. 23 числа сего месяца я буду в Дебрецене, куда, надеюсь, и ты заедешь проститься со мной, ибо кто знает, куда меня закинет судьба и когда мы еще увидимся. А ты знай, что я очень люблю тебя и мне хотелось бы тебя крепко обнять перед этой, возможно долгой, разлукой. Поэтому — до встречи в Дебрецене двадцать третьего! Ищи меня у книгопродавца Телегди. Я буду ждать тебя en pleine parade *, в новеньком с иголки капитанском мундире. Хоть ради этого приезжай... Приветствуем, целуем всех вас оптом. Твой друг

Шандор Петёфи.

* В полном параде (франц.).

Если не сможешь приехать к 23-му, то приезжай потом как можно скорее.

64. ШОМЕ ОРЛАИ ПЕТРИЧУ

Эрдед, 18 октября 1848 года.

Братишка Шаму!

Прибыл благополучно. Всех нашел в полном здравии. Останусь здесь четыре дня, потом поеду в свой батальон в Дебрецен. Ты, смотри, непременно нарисуй мне Эрдед. Черкни немедленно, если узнаешь что-нибудь о моем отце, и напиши о последних новостях. Вложи в свое письмо два письма моей жены, которые уже должны прибыть. Адресуй письмо на мое имя в Дебрецен, *poste restante* *, я сам зайду за ними. Спроси Добшу, получил ли он деньги от М.? Напиши мне и об этом. Так как я уволил старого хитреца Дёрдя, то думаю, что ты наймешь себе какого-нибудь парнишку. Он и маме сможет топить печь, принесет иногда воды и еще чем-нибудь поможет, чтобы ей не было так трудно. Пиши как можно скорее обо всем, о чем я просил, иначе тебе не сдобровать. Матери моей кланяйся, целую и ее и мою Юлишку. Да, кстати! Письма, прибывающие на мое имя, распечатывай и, коли они пригодны для журнала, отсылай их Йокаи, если же они написаны лично мне, то вложи их в конверт и перешли в Дебрецен. Господь с тобой!

Твой друг, родственник
и прочее

Шандор Петёфи.

* До востребования (*франц.*).

Да, вот еще! Зайди в издательство «Элеткепек» (в печатню Ландерера и Хеккенаста) и скажи экспедитору журнала, что в этом месяце номера не прибыли сюда и пусть он дошлет их; а также пусть распорядится, чтобы моя жена получала «Элеткепек» регулярно. И еще: жена адресовала одно письмо моему отцу; так ты сорви наружный конверт и перешли мне это письмо вместе с другим.

65. ЯНОШУ АРАНЮ

Дебрецен, 31 октября 1848 года.

О Янко! Писал же я тебе намедни из Эрдеда, чтоб ты прискакал сюда в Дебрецен, а ты не прискакал. Письма моего, что ли, не получил или упрямишься, о Янко? Чертушка, да неужели ты смеешь упрячиться? Нет, этого предположить о тебе я не могу, предпочитаю думать, что письмо мое пропало. В нем было все чин по чину написано, что я здесь, в Дебрецене, в 28-м батальоне, и чтобы ты как можно скорее сунул сюда... сунул сюда свою обожаемую морду, которую мне хотелось бы еще раз повидать перед тем, так водоворот боев увлечет меня, словно сорванную незабудку, за тридевять земель. Хочу видеть тебя, чтобы привыкнуть к чудовищам. О Янко, поторапливайся! Твой Толди тоже здесь, но он слишком уж стар для того, чтобы быть мне боевым товарищем. Ему будет лучше в Салонте, где-нибудь в уголочке. А поэтому поторапливайся, рекомендую тебе, поторапливайся. Если приедешь, ищи меня у книгопродавца Телегди. Приветствую достойных приветствия, целую твой хобот — сие

подобие вавилонской башни, и остаюсь по гроб жизни твоим верным Бенце.

*Шандор Петёфи,
capitaneus*

66. ШОМЕ ОРЛАИ ПЕТРИЧУ

Дебрецен, 3 ноября 1848 года.

Братишка Шаму!

Получил от тебя пакет с письмами. Давно пора было его прислать. То, что ты сделал для Пака, очень хорошо. Ободряй этих ребят также и от моего имени. Мне хотелось бы получить твою композицию, но, кроме скорых, я другой оказии не знаю. Здоровье мое в полном порядке. Но сколько же у меня дел! Это может себе представить только тот, кто знает, что такое переделать сто крестьян в сотню солдат. Пойди в редакцию «Кошут Хирлап» и попроси у Байзы (если, конечно, он не желает поместить в своей газете) мое стихотворение «Старый знаменосец», передай его Йокаи. Одновременно спроси Йокаи, сколько еще должен я дать в этом году стихотворений в «Элеткепек» кроме тех, которые уже находятся у него. Тысячи поклонов и поцелуев моим родителям. Коли у них деньги на исходе, пусть срочно напишут, и я распоряжусь. Сколько возможно, берегитесь холеры. А ты пиши как можно чаще. Долго ли мы еще останемся в Дебреcene, не знаю. Ежели Дёрдь притащится сюда, скажи ему, что я его возьму, и если он до скончания жизни будет вести себя честно, то он и до скончания жизни сможет остаться у меня. Господь с тобой!

Твой искренний друг

Шандор Петёфи.

67. ЯНОШУ АРАНЮ

Эрдед, 22 ноября 1848 года.

Цвет героев, Янко! Расслышишь ли ты на Чимборассо своей воинской стези кроткого соловья эрдедского захолустья. Я уединился на несколько месяцев в Эрдеде, ты знаешь почему или во всяком случае догадывается. «Голди» я оставил здесь, в Дебрецене, у старшего городского нотариуса Лайоша Киша. Если ты поедешь или пришлешь кого-нибудь за ним, а Лайоша Киша не случится дома, то скажи либо передай кому-нибудь из его домашних, что тебе надо, и они сразу же отдадут книгу. Напиши уже, наконец, какое-нибудь дурацкое, вернее яношараневское, письмо, тогда и я последую твоему примеру. Пусть ты даже в аду, но напиши, где ты. Привет. Цел. в. об.

Тв. др.

Ш. П.

68. ШОМЕ ОРЛАИ ПЕТРИЧУ

Эрдед, 22 ноября 1848 года.

Братишка Шаму!

Передай эти 40 пенге-форинтов Лайошу Добше, заberi от него мой вексель и разорви; таким образом, я полностью расплатился с долгами. Расписку, которую я вложил в письмо к родителям, ты отнеси В..., получи по ней деньги и немедленно передай их моим родителям. Если отец с матерью не нуждаются во всей сумме, то оставь двадцать пенге у себя до тех пор, покамест они моим старикам не понадобятся. Тебе же они, быть может, пригодятся. Только постарайся вернуть их в этом случае свое-

временно. Черкни как можно скорее и напиши, наконец, о чем-нибудь интересном. Сейчас уже Дёрдь мне вряд ли понадобится.

Господь с тобой!

Твой друг

Шандор.

69. ЯНОШУ АРАНЮ

Дебрецен, 1 декабря 1848 года.

Тезка отца Матяша Хуняди и одного лакея в здешней гостинице «Бык»! Перо Салонты и штык Марса! И, видит бог, наш добрый друг! Письмо начну с того же, с чего начинал уже два письма: «Я снова в Дебрецене». Приехал из Эрдеда со всей семьей, ибо окрестные румыны слишком уж влюбленно поглядывали на тамошние амбары и погреба, а я не хотел, чтобы моя семья становилась им поперек пути. Впрочем, они изрядно пристрастились и к кровопролитиям. Этому они научились у Национальной гвардии и добровольцев сатмарского комитата, которые неделю тому назад одержали такую победу над солдатами Урбана, что урбановцы пустились в бегство у Дежа и «до Тисы не остановились», хотя их, бедняжек, было всего лишь пятнадцать тысяч, а тех по меньшей мере семьсот человек. И это не считай, дружок мой, преувеличением, бернатгаживской гиперолой — это было буквально так. Смейся, смейся до упаду, как смеялся и я, ибо, поверь мне, такой возможности посмеяться у тебя не было, да и вряд ли представится еще.

В Дебрецен я прибыл вчера вечером, нынче от зари до зари носился и сейчас взялся за перо вовсе не для того, чтобы написать сатирико-философско-

политический трактат, а для того, чтобы сообщить тебе: «Впредь пиши сюда!» А впрочем, гром разрази твои письма, приезжай лучше сам. Я страстно желаю видеть твои уши, увенчанные дубовым венком; к тому же ваша крестница, либо крестник, тоже прибудет к 15-му. Могла бы приехать и моя кума, ибо твоей куме это было бы очень желательно. Да благословит ее бог, пусть уж она приедет. Яношка, ты кроткий буйвол, послушайся меня, приезжай. А об остальном тебе расскажет на словах твой друг, погрузившийся по самую шею в удивленное созерцание твоих героических поступков,

Шандор Петёфи.

70. ШОМЕ ОРЛАИ ПЕТРИЧУ

Дебрецен, 12 декабря 1848 года.

Дружок Шаму, вчера получил твое письмо, и этот В... привел меня в неистовство. Если он уже отдал деньги, то письмо порви, а если он до сих пор не заплатил, то передай ему немедленно; знаю, что, прочитав сие послание, он заплатит тут же. Получили ли вы мое письмо, в которое я вложил 20 пенге-форинтов? Оно уже давно должно было прибыть. Если же В... не заплатит и после этого письма, а письмо с двадцатью форинтами еще, паче чаяния, не прибыло, то ступай немедленно к Вёрёш-марти и одолжи у него от моего имени столько, сколько нужно моим родителям. Расскажи ему обо всем, и он даст наверняка. Что правда, то правда, из батальона я уехал без спроса, так как разрешения мне не давали, но при этом не было никакой необхо-

димости предавать меня суду, ибо я сам немедленно сообщил обо всем в Комитет защиты отечества. Если меня лишат за это капитанского звания, то бьюсь об заклад, что я moraliter * лишу их звания живых.

Дела мои запутаны необычайно, и мне надо было бы любой ценой выбраться в Пешт; но дорога сейчас так плоха, что на поездку туда и обратно потребовалось бы по меньшей мере десять дней; а покинуть на такой длительный срок жену чуть ли не на кануне родов я не могу. От Комитета защиты отечества я до сих пор не получил никакого ответа, справляйся о моем деле и, если услышишь что-нибудь, напиши. Пиши как можно скорей и ясней, чтоб мы, наконец, знали, что к чему. Оба кланяемся нашим милым родителям и целуем их. Жена шлет тебе привет, а я тебя обнимаю.

Твой друг

Шандор Петёфи.

71. ЯНОШУ АРАНЮ

Дебрецен, 15 декабря 1848 года.

Милый друг! Напишу только два слова: я отец! Остальное тебе доскажет белая бумага. Ты все сможешь прочесть по ней столь же прекрасно, как если б я написал обо всем сам. Мой сын, которого послезавтра будут крестить, родился сегодня в полдень. Крестным отцом и крестной матерью будут обязательно Янош Арань и его супруга. Мальчика назовут Золтаном. Обнимаю вас. Твой любящий друг

Шандор Петёфи.

* Нравственно (лат.).

Дебрецен (à la Салонта), 7 января 1849 года.

Милый Яношка! Ты написал мне на большом листе бумаги, а я возьму лист еще больше; ты написал мало, я напишу еще меньше. Не чаял я, что нам придется когда-нибудь переписываться друг с другом, ибо был уверен, что тебя Виндишгрец схватил в Пеште и зачислил в солдаты. Слава богу, этого не произошло. Родина, правда, погибла, но хоть ты уцелел. Да, *ad vocem*, чёрт побери, милый друг, сссобачье у нас положение... но ты не горюй, я еще жив и еще не выхватил своей сабли из ножен, а когда выхвачу, то кто его знает, что еще я вытащу из ножен вместе с саблей и какие победы засверкают на ее острие? Но прежде чем спасти родину, я должен спасти свою семью, а этого я, думается, не смогу сделать без твоей помощи. Поэтому слушай внимательно. Я тебя не прошу: ты истинный друг и все зависящее от тебя сделаешь без всякой моей просьбы; а если ты мне не друг, то тут и просьба не поможет. Я не только верю, но и знаю, что ты мой друг, а поэтому без всяких околичностей напишу тебе прямо о своих намерениях. Жену свою, как только она немного поправится, я до наступления лучших дней переправлю к тебе вместе с ребенком, поручив их целиком вашим заботам. Думаю, что здесь никакие трудности не встретятся, это можно будет сделать. Но главное следует дальше. Может быть, не сегодня-завтра, точно еще не знаю когда, мне придется уехать. Теща моя тоже поедет домой, ибо вчера мы так поссорились, что дело дошло чуть ли не до пощечин и даже еще дальше. Таким образом, жена моя может оказаться одна с ребенком. Оба

они равно беспомощны, а в Дебрецене у них не будет никого. Поэтому, если вам позволят обстоятельства, привези или пришли сюда куму; пусть она недели две побудет с моей женой; а потом они вдвоем, даже втроем, вернее вдвоем с половиной, могут поехать в Салонту. Если вы не приедете, не стану возмущаться, — стало быть, это совершенно невозможно. Я-то ведь знаю вас. Больше того, если ваш приезд сопряжен с большими жертвами, не приезжайте. Я не знаю, удастся ли мне когда-нибудь отблагодарить вас за такие большие жертвы. В лучшем случае могу пообещать, что вычту ваши расходы на поездку из тех денег, которые я вам должен. Больше об этом ни слова! Что я получил двадцать пять пенге, это неправда. Я их, конечно, получил, но признаваться в этом не желаю. Даже и слыхом не слыхал о твоём письме, в котором были эти деньги. Мой сын Золтан целует свою крестную, а на милого крестного чихает... А я прошу передать милому крестному, что, если его дажехватила подагра или летаргия, пусть он все равно как можно скорее напишет стихотворение о своём крестнике. Господь с вами со всеми! Приветствуем вас и целуем как полагается и ждем либо вас, либо письма, уж как выйдет. Остаюсь твоим кумом

Шандор Петёфи.

73. ЛАЙОШУ КОШУТУ

Дебрецен, 13 января 1849 года.

Уважаемый согражданин!

Простите, что я второй раз беспокою вас, второй — и последний раз. Прежде всего прошу вас: окажите любезность дочитать мое письмо до конца —

это крайне важно не только для меня, но, может быть, и для родины. Постараюсь быть как можно более кратким. Моя просьба относится, пожалуй, скорее к генералу Веттеру, нежели к вам, но с этим человеком я уже разговаривал и говорить больше не стану: не хочу разувериться в своем убеждении, что самые нецивилизованные люди на свете баконьские свинопасы. История доказывает, что участь некоторых людей такова: чем больше делают они для родины, тем больше претерпевают унижений и несправедливостей. Я принадлежу к этим людям. Думаю, что имею право с некоторым сознанием своих заслуг оглянуться на пройденный путь, потому что мои песни были первыми уроками свободы для венгерского народа. И это не претензия, а факт: до их появления народ ничего не знал о той идее, за которую он сейчас воюет. В награду я не получал ничего, кроме постоянных унижений, но никто никогда не обращался со мной так гнусно, как Веттер. Виндишгрец и то вел себя лучше.

Поэтому я обращаюсь к вам; если выслушаете меня — хорошо, а не выслушаете, то и бог не захочет, чтобы я продолжал ходить из дома в дом и умолял, добиваясь разрешения применить силу своих рук и ума на благо родины. Я больше не прошу повышения в звании и не буду просить до тех пор, пока этого не потребуют мои воинские заслуги, я прошу вас только о том, чтобы вы перевели меня из 28-го батальона к генералу Бему. Если мне не удастся достигнуть славы на войне, то и бесчестья не хочу я навлечь на свое имя; а по нынешним временам можно избежать позора только возле Бема. Если это невыполнимо, если там, например, нет вакантной капитанской должности или встретится какое-либо иное препятствие, тогда еще одна

просьба. Демократы — самые бедные люди Венгрии; я среди них самый бедный, потому что с первого своего выступления был в числе непоколебимых демократов, и мне даже родине нечего пожертвовать, поэтому пусть правительство от имени народа даст мне небольшую сумму, *хотя бы* столько, сколько стоят мои стихи, которые, могу сказать, не будучи нескромным, являются не последним сокровищем родины. Эту маленькую сумму я прошу не в виде награды или подарка, а только взаймы, чтобы я мог с ней пойти в армию Бема и, как частное лицо, изучить возле него военное искусство. А когда я изучу его, то делами своими рассчитаюсь с долгом, так как убежден, что буду одним из спасителей родины. Быть может, эта моя вера — безумие, но если и так, то — священное безумие, за которое я заслуживаю хотя бы пощады от каждого истинного патриота. Было бы желательнее всего разрешить с вами это дело при личном свидании. Назначьте мне час, когда бы я к вам явился. А впрочем, как угодно. Бог с вами!

Уважающий вас ваш согражданин

Шандор Петёфи.

74. ЯНОШУ АРАНЮ

Дебрецен, 14 февраля 1849 года.

Милый братишка, вернее старший брат! Жив ли ты еще? Я еще жив, хотя и побывал там, где смерть действовала всеми четырьмя лапами, а люди падали ей в пасть, как двугривенные в контрабас. Я перевелся в армию Бема, и Бем назначил меня своим адъютантом. Только тот знает, что такое сражение,

кто, как я, бок о бок с Бемом принимал участие в пяти кровопролитных битвах. О своих воинских деяниях скромно умолчу, скажу только одно — действовал достойно самого себя. Думаю, что этого достаточно. Сейчас я приехал в Дебрецен в качестве гонца и через несколько дней помчусь обратно. Перед отъездом в Эрдей, я хотел завезти к вам жену и сына, и только в последний день мы решили остаться вместе в Дебрецене. Это и оказалось нашим спасением: по дороге к Салонте они замерзли бы оба. Здесь они живут у Вёрёшмарти. Оба здоровы. Не сердитесь на жену за то, что она не написала. Бедняжка с горя ни за что и взяться не могла. Можете себе представить, какие дни она здесь пережила, пока я был на поле битвы. За мое молчание вы тоже не будете на меня в обиде, как только узнаете, что я даже жене своей написал всего одно письмо, столько событий столкнулось сразу. Как ни коротко будет это письмо, однако оно тоже свидетельство моей любви к вам. Ведь не шутка — вырвать даже несколько минут из моего времени, которое на крыльях счастья летит с такой быстротой. Ты знаешь, что семейная жизнь всегда была мне мила, но никогда не была так мила, как сейчас, когда после миновавших битв и перед лицом новых я могу обнять свою жену и сына. Господь с вами! Обнимаем, целуем вас! Написал ли ты уже стихотворение для своего крестника? Пиши. Господь с тобой. Твой истинный друг

Шандор Петёфи.

75. ЛАЗАРИЮ МЕСАРОШУ

Уважаемый господин военный министр!

Дело, из-за которого вы меня к себе вызывали, я обдумал и, исходя из этого, рапортую вам, что снял с себя капитанскую форму, поскольку ее нельзя носить без галстука, а претерпевать из-за этого нравоучения или, больше того, принуждения мне не хочется. Я достаточно послужил родине, чтобы мне можно было разрешить защищать ее без галстука; если вы держитесь иного мнения — воля ваша. Впрочем, вы можете сорвать с меня военную форму, но не можете вырвать саблю из рук моих! Я буду выполнять свой долг патриота даже в простом гражданском платье и в роли рядового. Я только беру на себя смелость предупредить вас, чтобы вы не очень старались срывать форму гонимых с тех офицеров, которые всеми силами стремятся вернуть этому одеянию его утраченную славу: ведь таких людей не слишком много!

А в остальном остаюсь с почтением к вам, господин военный министр,

ваш согражданин

Шандор Петёфи.

Дебрецен, 17 февраля 1849 года.

76. ЯНОШУ АРАНИУ

Дебрецен, 22 февраля 1849 года.

Милый кум! Письмо мое будет кратким, но чрезвычайно важным. Жена моя должна любой ценой поехать к вам. Хотелось самому сопровождать ее до Салонты, но завтра она еще не может выехать, а я

завтра же должен отправляться в Эрдей. Если у вас сохранилась хоть капля дружеских чувств к нам, то, получив это письмо, вы сразу же приедете сюда и увезете мою жену и ребенка. Очень, очень прошу тебя об этом. Просить вас позаботиться о них потом — излишне. Я возвращаюсь обратно к Бему. Приветствуем вас, целуем.

До скорого свидания, твой друг

Шандор Петёфи.

Если приедете, то привезите с собой столько шуб, сколько раздобудете.

77. ЯНОШУ АРАНЮ

Лугош, 21 апреля 1849 года.

Милый друг! Вчера и третьего дня я писал жене, попроси ее хорошенько, но не от моего, а от своего имени вот о чем: пусть она простит, что, воспользовавшись третьим представившимся случаем, я пишу тебе, а не ей. Ведь хочется мне поговорить и с тобой. Но суть не в этом, а в том, что я начал письмо и не знаю, о чем писать. Вот уже несколько дней, как на море войны стоит полное затишье: сидим и скучаем. Здесь мы должны подождать часть, притом большую часть нашей армии; только соединившись с ней, начнем мы снова драться, если, конечно, будет с кем, ибо неприятель повсюду *infamiter* * удирает от нас. Янко, ты позаботься немного о моих; *nequid respublica detrimenti capiat* **, я разрешаю даже по-

* Позорно (*лат.*).

** Чтоб государство не понесло никакого ущерба (*лат.*).

целовать их от моего имени, только береги их. А впрочем, я же знаю тебя, ты такой неуклюжий fellow *, что скорее им придется заботиться о тебе. Написал ли ты уже своему крестнику стихотворение? Не могу продолжать дальше, вызывают к генералу. Приветствую достойных приветствия. Господь с вами! Твой друг

Шандор Петёфи.

78. ЯНОШУ АРАНЮ

Дебрецен, 6 мая 1849 года.

Милый друг! Отсюда мы должны направиться прямо в Пешт; выезжаем завтра спозаранку. Причин у нас на это много и самая главная, что умер мой добрый отец, а о матери я ничего не знаю. Мне необходимо привести в порядок расстроенные семейные дела. Соберите все наши вещи, и пусть они будут наготове к тому времени, как мы вернемся за ними сами или кого-нибудь пришлем. Нет надобности просить вас о том, чтобы вы были родителями моему сыночку, покамест он снова не попадет в родительские руки. Подробнее поговорим обо всем при свидании, когда вы приедете в Пешт. Куй железо, пока горячо, куй сразу, чтобы не опоздать. По твоему делу мне удастся выполнить только очень немного, но нечего и говорить, что все зависящее от меня будет сделано. Господь с вами! Твой друг

Петёфи.

* Парень (*англ.*)

79. ГЕНЕРАЛУ ДЕРДЮ КЛАПКЕ

Уважаемый господин военный министр!

Ввиду ухудшения моего здоровья я официально отказываюсь от звания майора.

Шандор Петёфи.

Дебрецен, 6 мая 1849 года.

80. ГЕНЕРАЛУ ДЕРДЮ КЛАПКЕ

Солнок, 8 мая 1849 года.

Господин военный министр!

1) В некоторых случаях вы не сочли достаточным мое честное слово; 2) вы предположили, что я, не будучи представлен к званию, ношу форму майора; 3) вы хотели разрешить мне отпуск только после представления врачебной справки и 4) вы запретили мне писать. Все это коротко сводится к следующему: 1) Петёфи — нечестный человек; 2) Петёфи — наглый и тщеславный обманщик; 3) Петёфи — дурной патриот, так как уходит с поля битвы, ссылаясь на мнимую болезнь; 4) вы — неограниченный властитель Петёфи, такой же, какими были для нации Габсбурги, которые все подвергали предварительной цензуре.

Милостивый государь, за все это в мирное время я потребовал бы удовлетворения и, быть может, подстрелил вас, как воробья, так как я стреляю лично; теперь же, когда нам нужно бороться не друг с другом, а с неприятелем, я избрал иной путь, на который меня привела любовь к отчизне. Я безмолвно, скромно оставил ту армию, в которой министр не верит честному слову своих офицеров,

хотя полагается верить даже честному слову схваченного офицера черно-желтой армии.

Пока все в порядке, но на этом дело кончиться не может, если я только не пожелаю погубить себя в глазах общественного мнения, — а я это делать не намерен, ибо имя мое мне дорого и я не могу позволить легкомысленно швырнуть его в грязь. Если я сейчас буду молчать о причинах моей отставки, то публика, не зная, в чем дело, основываясь лишь на случайных слухах, искажающих истину, будет изрыгать всякие гадости. Чтоб этого не случилось, мне нужно в свое оправдание точно рассказать о моей встрече и беседе с вами, а если я об этом напишу, то напишу остро, ибо перо мое остро, как солдатская сабля. И, ей-богу, не знаю, какие это будет иметь последствия. Если они даже будут самыми малыми, то все же вы перед всей венгерской нацией потеряете право претендовать на звание гуманного и вежливого человека. Я пишу не в запальчивости, а после спокойного раздумья, и вы, поразмыслив, сами поймете, что так оно и будет.

Мне надо непременно сказать свое слово людям. Вот уж прошел год с тех пор, как я стал грузчиком, поденщиком нации, пожертвовал для родины хлебом насущным, счастьем, семьей и всем, — и вот уж год, как в награду за все свои жертвы я вижу только вопиюще несправедливое отношение к себе; вот уж год, как ногами топчут мою гордую, заслуженно гордую голову. До сих пор я терпел во имя родины, но дольше при всем своем желании не могу сносить этого. Я должен говорить, я буду говорить со всей горечью и страстью оскорбленной души, а если современники не выслушают меня, я подымусь на трибуну истории и оттуда провозглашу свои обвинения. Справедливое потомство услышит меня.

Желаете вы этого? Если да, пусть так и будет, если не желаете, то есть еще способ предотвратить печальную огласку. Опубликуйте в «Кёзлёне» мое назначение майором, пришлите мне приказ об этом и разрешение на отпуск, так как мое расстроенное здоровье все равно некоторое время не позволит мне служить, если я, конечно, не хочу погибнуть. Все люди, даже те, с которыми у меня были такие же столкновения, как с вами, поняли бы, что я прошу возвратить мое заявление об отставке не потому, что я вновь хочу стать майором. Я и раньше не добивался этого звания и теперь легко могу обойтись без него. Причина этого желания только одна: если вы возьмете обратно свои, мягко выражаясь, беспощадные слова, направленные против меня, это будет для меня моральным удовлетворением. В случае вашего согласия документы передайте мне через пештского правительственного комиссара Даниэля Ирани. В противном случае я буду вынужден действовать другим путем.

Ваш покорный слуга,

господин военный министр,

Шандор Петёфи.

81. ЯНОШУ АРАНЮ

Пешт, 17 мая 1849 года.

Милый друг, меня постигают такие удары, которые могли бы меня даже уничтожить, если б я был только сыном и не был бы еще мужем и отцом. Не прошло недели, как я узнал о смерти отца, а завтра мы уже хороним мать; лучшей матери господь еще не создавал никогда, и я любил ее так, как никто

никогда еще не любил матери. Ни отца, ни матери у меня больше нет! И эти удары последовали так внезапно друг за другом. Здоров ли мой сын? Напиши об этом с первой почтой. Письмо свое адресуй в пештское командование: Проспект Керепеши, гостиница Матяша. Наши штурмуют Буду, но еще не овладели ею. Мой отказ от звания майора не приняли, дали мне три недели отпуска. Здесь ли я проведу его или еще где-нибудь, пока не знаю. Сейчас я вообще ничего не знаю. Пусть мой конюх вместе с конем остается в Салонте до моих дальнейших распоряжений. Дай конюху шесть пенгефоринтов. А ты устроил что-нибудь в министерстве? Напиши и об этом. Я для тебя не мог сделать ничего, ибо понял, что я в опале. Об этом подробнее в другой раз. Господь с вами! Обнимаем вас, целуем. Пиши немедленно! Твой друг

Шандор Петёфи.

82. ГЕНЕРАЛУ ИОСИФУ БЕМУ

Пешт, 17 мая 1849 года.

Господин генерал!

Разрешите рассказать вам обо всех огорчениях и злключениях, которые пришлось мне перешить с того дня, как печальная необходимость принудила меня расстаться с вами, с человеком, внушающим мне глубокое почтение и сыновнюю любовь.

Приехав в Дебрецен, я явился к господину Кошуту с вашим письмом. Он принял меня весьма холодно, пожалуй, даже более, чем холодно. Я был удивлен и не мог понять такого странного отношения к себе, потому что привык к ласковому приему с его стороны. Я спросил, как ему будет угодно рас-

порядиться моим будущим? Он ответил кратко, что его это не касается, что мне следует обратиться к военному министру.

Я ушел и едва только собрался пойти к министру по своему делу, как получил приказ явиться к нему, что я и не замедлил исполнить. Временно исполняющий обязанности военного министра генерал Клапка был со мной еще холоднее. Да что я говорю — холоднее! Он был просто неучтив, непозволительно груб! Судите сами, господин генерал. Позволю себе дословно передать часть нашей беседы:

«— В газете «Гонвед» опубликовано письмо генерала Бема касательно дела генерала Вечеи. Кто это сделал?

— Я.

— Как вы посмели?

— Мне приказали.

— Кто?

— Генерал Бем.

— Неправда!

— Нет, правда, господин министр. Я не привык лгать ни вам, ни кому бы то ни было.

— Все говорят, что вы опубликовали это письмо по собственному почину, что генерал Бем ничего вам не приказывал.

— Я не ответственен за уличные толки.

— Вы останетесь в Дебрецене до тех пор, пока не придет ответ генерала Бема по этому поводу.

— Я бы остался охотно, но у меня важные дела в Пеште, и мне необходимо уехать завтра. Надеюсь, достаточно моего честного слова.

— Нет, не достаточно! и т. д. и т. д.»

Вот как обошлись со мной, господин генерал, и этим оскорблением дело не ограничилось. Военный

министр говорил в таком духе больше часа, и я бы не стал терпеть, если бы не страдал за вас, мой благодетель и спаситель моего отечества!

После такой сцены единственное, что мне оставалось, — снова подать в отставку, ибо я не хотел и не мог состоять в армии, во главе которой стоит министр, не доверяющий честному слову офицера. Он принял мою отставку. Из Солнока я послал ему достойное его поведения письмо — уже в качестве человека штатского, а не военного; тем не менее он приказал задержать меня здесь и имел бесстыдство отрицать, что принял мою отставку, при этом он заявил, что я еще ему подвластен и, не будь я Петёфи, он за такое письмо велел бы повесить меня в двадцать четыре часа! И т. д. и т. д.

Вот как родина благодарит меня за семилетние непрестанные труды! И в чьем лице? В лице подлых проходимцев, которые не были еще ничем, когда я был уже чем-то, и ничем не будут, когда я еще чем-то останусь!

Не знаю, что буду делать дальше, душа моя возмущена и потрясена, с одной стороны, этими вопиющими оскорблениями, с другой — скоропостижной смертью моего глубокоочтимого отца и моей любимой матери, к которым я питал одинаковое чувство благоговейного обожания. Неделю назад я узнал о кончине отца, а сегодня скончалась матушка. Бедный поэт! Так вы называли меня иногда. В самом деле — бедный поэт!

Простите, уважаемый господин генерал, эти подробности, возможно, мало интересны для вас, но, изливаясь перед вами, я облегчаю свое наболевшее сердце. Вы выказывали мне всегда столько доброты; кому же мне открыть душу, как не вам?

Благослови вас господь!

Я никогда вас не забуду, а вас прошу не забывать мою несчастную родину: ведь вы являетесь ее главной, а быть может, и единственной опорой. Прощайте, господин генерал, прощайте, отец мой!

Ваш благодарный сын

Александр Петёфи.

83. ГЕНЕРАЛУ ИОСИФУ БЕМУ

(Отрывок)

Салонта, 1849.

После взятия Буды я приехал в Салонту к семье и на-днях с нею вместе навсегда уеду в Пешт. Я подал повторное прошение об отставке. Я хочу жить в Пеште, вдали от общественной жизни, замкнувшись в одиночестве, пока моя наболевшая душа не залечит раны, нанесенные ей моими соотечественниками и богом, недавно отнявшим у меня глубокочтимого отца и любимую мать, которых я любил и к которым питал одинаковое благоговейное обожание.

Еще одно слово, господин генерал. Моего коня, который был мне так дорог, потому что вы подарили мне его, я вынужден теперь продать — признаюсь в этом со слезами, но иначе мне не на что будет купить хлеба, когда я лишусь офицерского жалованья. Сообщаю вам об этом не для того, чтобы разжалобить вас, а чтобы вы знали, какие веские основания заставляют меня продать ваш драгоценный подарок.

Салонта, 27 мая 1849 года.

Милый друг! Я снова здесь, в Салонте, а через несколько дней буду со всеми своими пожитками опять в Пеште. Поселюсь на проспекте Керепеши в доме Марцибани, неподалеку от венгерского театра. Там живет и Габор Эгреша. Он снял пять комнат, но ему нужны только три. Поэтому две из них он сдаст (при них есть и кухня). Эти две комнаты и предназначили мы для вас. Я сообщил обо всем куме, но она не желает вмешиваться, предоставляет решать тебе. Если ты согласен, то немедленно напиши Эгреша, что оставляешь эти комнаты за собой. Могу сказать о них только одно, что более дешевого жилья ты не сыщешь во всем Пеште, а к тому же оно еще и в хорошем месте. Но если ты хочешь взять эти комнаты, то напиши Эгреша тотчас же, чтобы их никто не перехватил. Приложенное прошение об отставке от военной службы отнеси в министерство военных дел и скажи подполковнику Корпонаи, чтобы он передал тебе письменное согласие на отставку и документы на мой орден; ты привезешь потом их в Пешт.

Пойди к плац-коменданту Сентпали и попроси его хорошенько от моего имени, чтобы он продал моего коня с аукциона. На аукционе присутствуй и ты. Можешь сказать покупателям, что это был боевой конь Бема, что Бем подарил его Петёфи, а Петёфи продает его сейчас потому, что ему не на что хлеба купить.

Деньги получи и захвати с собой в Пешт. Сделай это одолжение, милый друг, даже в том случае, если оно тебя несколько затрудняет. Очень выручишь

меня этим. Напиши мне обо всем в Пешт. Письмо адресуй по упомянутому адресу Габору Эгреси. Господь с тобой. Обнимаю тебя. Твой друг

Шандор Петёфи.

85. БЕРТАЛАНУ СЕМЕРЕ

(Черновое)

Пешт, первая половина июня 1849 года.

Уважаемый господин премьер-министр!

Вчера я поручил Ченгери и Жигмонду Кеменю переговорить с вами об одном моем стихотворении, предназначенном для армии. Если я верно понял Ченгери, то все дело затянулось из-за того, что я не оставил самого стихотворения. Итак, я прилагаю его к настоящему письму, но условия (не знаю, сообщили ли их вам почтенные господа Ченгери и Кемень) — условия изменились. Стихотворение я отпечатаю за свой счет, а вас прошу и призываю, в интересах нации, заказать определенное количество экземпляров из напечатанных. Стихотворение мое таково, что каждому гонведу будет не лишним иметь его, и я думаю, что родина могла бы заказать пятьдесят тысяч экземпляров, тем более что экземпляр будет стоить всего лишь один грош. Таким образом, с одной стороны, быть может, усилится воодушевление армии, а с другой — будет оказана помощь писателю, который за свои усердные и неустанные патриотические труды не получил еще в награду ничего, кроме душевных ран и ежедневных забот о том, чем будет завтра кормиться он сам и его семья. Не примите мое заявление за попрошайничество, для этого я слишком высоко держу

голову, да и спину не привык гнуть. Если вы не считаете мои стихи полезными для армии, то бросьте их, невзирая на меня. Бедность уже так давно преследует меня, что мы с ней привыкли друг к другу и почти подружились. Не сочтите также за нескромность мое предложение: будь я сыном другой нации, мне не пришлось бы делать такого предложения, нация сделала бы мне его сама.

Ежели ответ ваш не будет отрицательным, то соблаговолите прислать мне его в письменной форме, чтобы я мог согласно с ним распорядиться о печатанье, к которому приступлю немедленно.

Примите уверения в уважении, господин премьер-министр,

Ваш согражданин *Шандор Петёфи*.

86. ЛАЙОШУ ТЕЛЕГДИ

Пешт, 18 июня 1849 года.

Уважаемый друг!

Посылаю вам 5000 (пять тысяч) экземпляров моего стихотворения «Гонвед». Наживайтесь на нем, богатейте... Цена его enormis *: три вальтокрайцара, как это и напечатано на листках. Я отдаю их из расчета 25 процентов; когда все распродадите, пришлите деньги, и я вышлю вам еще экземпляры. Если вы пришлете деньги до 1 июля, то получите 50 процентов, то есть половину цены. Правительство купило 25 000 экземпляров для армии. Если вам потребуется написать, адресуйте письмо на мое имя *poste restante*; я посылаю на почту ежедневно.

Господь с вами.

Ваш друг *Шандор Петёфи*.

* Непомерна (*лат.*).

Пешт, 20 июня 1849 года.

Господин генерал!

Сегодня я получил письмо господина Курца, в котором вы благоволили вспомнить меня и посылаете мне 200 форинтов на дорогу. Вы добры, вы великодушны, как всегда, обожаемый мой генерал, и я преклоняюсь перед благородством вашей прекрасной души. Однако (хотя благодеяния ваши уже значительно превысили мои заслуги, если таковые у меня имеются) прошу вас оказать мне еще одну милость и простить меня за то, что я отвергаю вашу трогательную и деликатную помощь. Вы знаете, должны знать, как я люблю вас, тому порукой горькие слезы, которые я проливал уезжая, и вам должно быть понятно, что самое горячее мое желание — ехать к вам, постоянно быть подле вас, мой отец! Но, увы, по воле судьбы это совершенно невозможно. Всего несколько дней назад я сообщил в газетах, что окончательно, навсегда покидаю военную службу, и вернуться в армию значило бы грубо нарушить собственное слово. Кроме того, в этом мундире я безвинно претерпел такие вопиющие обиды и поношения, что не мог бы носить его далее, не краснея от ярости и не чувствуя, как вновь раскрываются раны, причинившие мне смертельные страдания.

Буду впредь служить отечеству пером, а не саблей, той саблей, которую я, быть может, не прославил, но и не запятнал ничем и которую вырвали у меня из рук. Я не могу оставаться солдатом главным образом потому, что меня оскорбили из мести, из подлой, обдуманной мести, и пока я буду солдатом, мне не перестанут мстить, а возможно, и вы навле-

чете на себя неприятности, покровительствуя мне. Этого совесть моя велит мне избежать всеми силами. Примите же, пожалуйста, деньги, которые вы были так добры прислать мне на дорогу, и оставьте меня в моем мирном уединении, где я буду жить ради трех целей: служить в тиши моей родине, лелеять мое маленькое семейство и хранить вечную признательную память о ваших отеческих благодеяниях мне и моей родине. Свои дела я кое-как уладил в дружбе со старым своим спутником — бедностью. Если вы пожелаете обогатить меня, озарите время от времени мою душу лучами воспоминания... я почувствую себя богачом. Защищайте дело моей родины и, прошу вас, не забывайте молодого человека, которому глубокое уважение и нерушимая любовь к вам позволяют назваться

вашим сыном

Александром Петёфи.

88. ЯНОШУ АРАНЮ

Мезеберень, 11 июля 1849 года.

Милый друг! В тот день, когда мы по подстрекательству Кошута назначили народное собрание, чтобы поднять народ Пешта на кровавый решающий бой, в котором примет участие и сам Кошут, а если нужно, как он говорил сам, падет под развалинами Пешта, — в тот же день правительство довело, конечно под сурдинку, до сведения столицы, что оно и не думает драться на подступах к Пешту и тем более не согласно оставить там свои почтенные зубы. Правительство дало также понять, что при первом же шорохе убежит на край света, туда, где

враг не бывал уже со времен Арпада, ибо столь спасительная для родины правительственная шкура будет там в большей безопасности. Эта гнусность привела меня в гнев, соответствующий моим силе и таланту. Я вспомнил о нанесенных мне прежде обидах, собрал свои пожитки и на другой же день мирно удалился с семьей в Бекеш. Удалился с единственным желанием, чтобы судьба никогда больше не заставляла меня вступать даже на порог общественной жизни. И теперь мы здесь, и в те мгновения, когда я забываю совсем, что у меня есть родина, я совершенно счастлив. А вы что делаете, а вы как поживаете? Сообщите мне об этом, а также и о том, что происходит в последнее время в мире и в Венгрии, ибо с тех пор, как я покинул Пешт, я ничего не знаю, а ты все же ближе к событиям, во всяком случае к вестям. Ближайшая почта здесь — Дюла и Чаба. Господь с вами, обнимаем вас! Твой друг

Шандор Петёфи.

89. ЖЕНЕ ШАНДОРА ПЁТЕФИ

Марошвашиархей, 22 июля 1849 года.

Душа моя Юлишка, сейчас поздний вечер. Мы только что прибыли сюда. Завтра спозаранку отправляемся в Удвархей. Последнее свое письмо Бем прислал сюда три дня назад из местечка, находящегося в полуднях ходьбы от Брашшо. Не знаю, где мы получим его? Может быть, в Брашшо, а может быть, уже и дальше.

Привет Миклошу и его семье.

Целую вас, родные мои.

Буду писать каждый раз, как только смогу.
Будь, насколько можешь, спокойной и терпеливой.

Верь!

Надейся!

Люби!

До гроба и даже за гробом,
навек преданный тебе твой муж

Шандор.

90. ЖЕНЕ ШАНДОРА ПЁТЕФИ

Марошвашархей, 29 июля 1849 года.

Милая, дорогая моя Юлишка! Сию секунду вернулся я сюда после шести дней непрерывной езды. Я устал, руки дрожат так, что едва держат перо. Получила ли ты два моих предыдущих письма? Одно я написал отсюда, другое из Кездивашархейя. Коротко опишу свой путь. Здесь дошло до нас, что Бем двинулся с одним отрядом в Молдавию. Мы отправились вслед за ним в сторону Удвархейя, Чиксереды, Кездивашархейя и Берецка; там я и встретился с ним. Он уже вернулся из Молдавии, куда повез свои воззвания и где, кроме того, жестоко расколотил с одним батальоном четырехтысячный русский отряд. В Берецке ему сообщили, что наших разбили у Сасрегена и они в страхе разбежались. Тогда он кинулся туда через Кездивашархей, Шепшисентдёрдь, Эрдевидек и Удвархей, чтобы наладить наши дела. Я поскакал вместе с ним. Мчались мы почти безостановочно. Дорога была ужасающей. Сейчас, может быть, двое суток задержимся здесь, покамест он приведет в некоторый порядок войско. Что будет делать затем, знает только он. В предыдущем письме

я писал тебе, что окрестности Чиксереды и Кездивашархей прекрасны. Шепшисентдёрдевские, быть может, еще лучше, да и город мне понравился больше. Мы осмотрим их подробнее, когда, как ласточки, стремящиеся свить гнездо, вместе объедем Харомсек. С Бемом я встретился в Берецке, остановился возле его экипажа, поклонился ему; он бросил взгляд в мою сторону, узнал меня, вскрикнул и протянул ко мне руки. Я подбежал к нему, упал ему на грудь, мы обнимались, целовались. «*Mon fils, mon fils, mon fils!*» * — повторял старик плача. Народ, столпившийся вокруг, спрашивал Габора Эгреша: «Это что, сын генерала?» Сейчас он относится ко мне еще ласковей, еще нежней, еще более отечески, чем раньше. Сегодня он сказал другому своему адъютанту: «*Melden sie dem Kriegsministerium, aber geben sie Acht, melden sie wörtlich: Mein Adjutant der Major Petöfi, welcher abgedankt hat wegen der schändlichen Behandlung des Generals Klapka, ist wieder in Dienst getreten*» **. Сегодня же в дороге сказал мне, чтобы я привез тебя сюда, и мы устроим вас в Марошвашархейе. Это моя самая заветная мечта, но покамест мы не укрепим свои позиции против русских, которые стоят здесь по соседству, до тех пор я не смею прибегнуть к этому шагу. Неприятель всего лишь в двух милях отсюда, и местные жители разбежались наемдни, точно цыплята. Но как только место станет здесь более или менее надежным, ты можешь быть совершенно уверена, что это будет моим первейшим шагом. Как вы живете, милые, любимые мои? Хоть бы что-нибудь

* Мой сын (*франц.*).

** Доложите военному министерству, но осторожно, доложите слово в слово: «Мой адъютант Шандор Петёфи, подававший в отставку вследствие позорного обращения с ним генерала Клапка, снова приступил к своей службе» (*нем.*).

услышать о вас! Если удастся, если сможешь как-нибудь, напиши мне, ангел мой, хоть одно словечко напиши. А я-то уж воспользуюсь первой же представившейся оказией. Как мой сын? Все ли еще сосет? Отними его поскорее от груди и научи говорить, — пусть он преподнесет мне такой сюрприз. Целую, обнимаю вас миллион раз, бессчетно.

Обожающий тебя муж

Шандор.

КОММЕНТАРИИ

ПУТЕВЫЕ ДНЕВНИКИ

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ

Напечатаны впервые в 1845 году в журнале «Элеткепек».

Стр. 7. *Жил да был на свете помощник редактора...* — С весны 1844 по 1 апреля 1845 года Петёфи служил помощником редактора в журнале Имре Вахота «Пешти Диватлап» («Пештский журнал мод»). Не выдержав кабальных условий, созданных ему буржуазным предпринимателем Вахотом, Петёфи оставил службу и отправился путешествовать по Венгрии. Благодаря огромной популярности поэта путешествие это превратилось для него в триумфальную поездку, — передовая молодежь повсюду встречала Петёфи музыкой, устраивала в честь него факельные шествия, различные празднества и пр. ... *если, например, тебя намалюют Барабаш...* — Барабаш, Миклош (1810—1898) — выдающийся венгерский живописец, его кисти принадлежит широко известный портрет Петёфи... *обеих венгерских отчизн...* — Речь идет о Венгрии и Эрдее (Трансильвании), который входил в то время в Австрийскую монархию в качестве отдельного владения Габсбургской короны.

Стр. 8. *Я задолжал Гашпару Тоту...* — См. прим. к стих. «Перед розыгрышем», т. 1, стр. 608. *Аттила* — род мужской одежды. *Ведь до нас дошло, что стихи новых поэтов проходили через твои руки.* — Имре Вахот, владелец журнала «Пешти Диватлап», пишет в своих «Воспоминаниях»: «Разбор стихов, присылаемых в журнал, я возложил целиком на него (Петёфи. — *А. К.*); а так как ко мне в эту пору стучалось много стихотворцев, то он, как полноправный наместник по стихам, служил для меня воистину громоотводом; вследствие своих строгих суждений он приобрел больше врагов, нежели друзей».

Стр. 10. *Мой учитель...* — См. стих. «Первая клятва». Собр. соч., т. 1, стр. 447.

Стр. 11. *Сам я тоже выступал когда-то...* — О своем первом выступлении в качестве актера Петёфи вспоминает также в стихотворении «Письмо приятелю актеру» (см. Собр. соч., т. 1, стр. 184). Первая его поездка со странствующей труппой продолжалась с июня по сентябрь 1841 года. В это время Петёфи выступал под псевдонимом Ронаи.

Стр. 12. *В Эперьеше я остановился у Фридеша Керени...* — Керени, Фридеш. См. прим. к стих. «Лесное жильё», т. 1,

стр. 606. *Томпа тоже был в Эперьеше.* — Томпа в это время служил в Эперьеше воспитателем в частном доме. История отношений Томпы и Петёфи изложена в письмах Петёфи к Араню (см. настоящий том, стр. 324, 334—336). *Бурная поступь времени стала тяжкой для тебя!* — первая строчка поэмы Михая Вёрешмарты «Эгер».

Стр. 15. *Оттуда в былые времена пушки Караффы рычали...* — Караффа, Антони — граф, генерал австрийской армии, жестоко подавивший антигабсбургское восстание 1678—1685 годов, руководимое Текели. Петёфи начал писать пьесу о Караффе, которая осталась незаконченной. *В часе ходьбы от Эперьеша грустят руины Шароша, былого гнездовья Ракоци.* — Петёфи питал особое пристрастие к развалинам старинных замков, видя в них остатки былой славы своей родины. Еще в 1839 году составил он краткий обзор руин замков Венгрии. Развалины Шароша произвели на Петёфи особенно сильное впечатление, так как замок этот принадлежал некогда Ференцу II Ракоци. *Об этом замке и написано мое стихотворение «Жалобы руины».* — Стихотворение не могло быть напечатано тогда по цензурным условиям, впоследствии оно затерялось.

Стр. 17. *... в пурпурных залах которого родился некогда Запоя.* — Запоя, Янош (1487—1540) — властитель Эрдея, подавивший крестьянское восстание Дёрдя Дожи, позднее венгерский король.

Стр. 18. *... профессора Пала Хунфалви, любимого всеми его учениками.* — Хунфалви, Пал (1810—1891) — профессор, один из основоположников венгерской лингвистики. *Мы осматрели замок Текели.* — Текели, Имре (1657—1705) — властитель Эрдея, руководитель антигабсбургского восстания 1678—1685 годов.

Стр. 18. *... что Obscurides Simplicius Гаала мог бы сказать...* — Гаал, Йожеф (1811—1866) — венгерский писатель-юморист. Obscurides Simplicius — умничающий латинист, действующее лицо в комедии Гаала «Любовь и шампанское».

Стр. 21. *... где написал столько превосходных песен Янош Эрдеи.* — Эрдеи, Янош (1818—1868) — известный венгерский поэт и фольклорист.

Стр. 23. *Ишток Кирибица, Шуянки, Бадачони* — бездарные поэты, современники Петёфи.

Стр. 25. *... роль нотариуса в пьесе Сиглигети...* — Сиглигети, Эде (1814—1878) — венгерский драматург, автор популярных пьес. *Но даже Лендваи...* — Лендваи, Мартон (1807—1858) — известный венгерский актер. *... я завязал дружбу с двумя молодыми гемерчанами — Лайошем С... и Янчи Х...*

— Лайош С. — Сеплаки, Лайош — гемерский комитатский чиновник. Янчи Х. — Хуст, Янош — адвокат, писал стихи.

Стр. 28. ... в прокурорную комнату к Боди Адорьяну и к огнебородому Руди Кубини. — Адорьян, Боди — Адорьян, Болдижар — см. прим. к стих. «В альбом к Б. А.», т. 1, стр. 245. Кубини, Руди — Кубини, Рудольф (1815—1896) — провинциальный помещик, любитель поэзии, автор ряда критических статей.

Стр. 29. Цыганская банда Йошки Чомаи исполняла чудесные песни Лавотты, Чермака и других. — «Цыганской бандой» называли в Венгрии цыганский оркестр. Лавотта (1764—1820) — композитор и скрипач, автор знаменитой песни «Любовь Лавотты». Чермак, Антал — венгерский композитор и скрипач.

Стр. 36. В смятении я вырубил стихотворение «Приветствие Пешту». — «Вырубил», «сделал» стихотворение — любимые выражения Петёфи. Стихотворение «Приветствие Пешту» не сохранилось.

ПУТЕВЫЕ ПИСЬМА

Напечатаны впервые в дёрском прогрессивном журнале «Хазанк», выходявшем под редакцией писателя Пала Ковача.

I ПИСЬМО

Напечатано впервые 26 августа 1847 года.

Стр. 37. ...господа гневаятся из-за моего стихотворения «В Надькарое». — См. Собр. соч., т. 1, стр. 367.

Стр. 38. «О любовь, о блаженство моей души!»... — цитата из второй песни поэмы Вёрёшмарти «Эгер». «Сепиродалми семле» («Беллетристическое обозрение») — журнал консервативного литературного общества Кишфалуди, выходивший в 1847 году под редакцией Яноша Эрдеи. «Хондерю» («Заря отчизны») — консервативный журнал, выходивший с 1843 по 1848 год. Редактор его Лазарь Петричевич Хорват ставил своей целью «распространение венгерской литературы среди аристократов, в салонах, застланных коврами». Журнал «Хондерю» относился к Петёфи резко враждебно.

II ПИСЬМО

Напечатано впервые 28 августа 1847 года.

Стр. 39. ...и папистский священник, по происхождению словак, со своей хорошенькой сестрицей — так по крайней мере представил нам девушку его преподобие. Я не удивился: ведь обычно у каждой рясы есть своя юбка — красивая, молодая родственница. — Эти строки не были помещены в газете «Хазанк» по условиям цензуры. Хазухе несомненно приснилось, что некий Зерфи, ученик венского сапожника, подарил ему волосок из парика Лессинга, — и Хазуха был счастлив, Лазарю Петричевичу Хорвату снилось, что он подает тарелки к столу графа Х., — и он был счастлив; Ференцу Часару приснилось... — В газете «Хазанк» все имена были заменены инициалами (см. в настоящем томе письмо к Палу Ковачу, стр. 323). Хазуха, Ференц (1815—1851) — бездарный прозаик и журналист, писал под псевдонимом Келменфи Ласло. Зерфи, Густав (1820—?) — сотрудник консервативного журнала «Хондерю», один из гонителей Петёфи. Часар, Ференц (1807—1858) — малоизвестный стихотворец.

Стр. 40. Мне припомнились старый Михай Силади и юный Матяш Хуняди ... — Силади, Михай (?—1460) — властитель Венгрии, правивший до совершеннолетия короля Матяша; в 1460 году попал в плен к туркам и был казнен. Хуняди, Матяш, см. прим. к стих. «15 марта 1848», т. 2, стр. 452. ...где живет та белокурая девушка, которой я посвятил много, много стихов. — Речь идет о Берте Медянски, которой Петёфи посвятил цикл стихов «Жемчужины любви» (см. Собр. соч., т. 1, стр. 252—275 и стр. 607). До тех пор я молчал, как Слуха в сейме. — Вербей Слуха, Имре — полицейский капитан Киш-Куншага. В гостинице оказались только две комнаты: одну из них заняли я, саксонец и поляк, а другую его преподобие со своей достойной любви сестрицей. Доброй ночи, доброго веселья! — Эта фраза не была напечатана в «Хазанке» по условиям цензуры.

III ПИСЬМО

Напечатано впервые 31 августа и 2 сентября 1847 года.

Стр. 42. Зимы 1843/44 года, голодая и холодая, больной, я провел в этом сытом городке... — См. в настоящем томе письмо Йожефу Байзе, стр. 289—291 и Собр. соч., т. 1, стр. 169, стихотворение «Зима в Дебрецене».

Стр. 45. *Значит, моя Юлишка будет очень счастлива...* — Речь идет о Юлии Сендреи, будущей жене Петёфи. *Проехали мимо кладбища, где покоится Чоконаи.* — Чоконаи Витез, Михай — см. прим. к стих. «Михаю Томпе», т. 1, стр. 604.

IV ПИСЬМО

Напечатано впервые 4 сентября 1847 года.

Стр. 46. *...я не проводил еще столь унылого дня с тех пор, как читал «Разочарованную душу».* — «Разочарованная душа» — посредственный роман Хазухи. *...вербовщики голосов благородной консервативной партии пытались меня тут избить...* — Согласно мемуарам Шандора Телеки, в сентябре 1846 года Петёфи приехал в Надькарой как раз накануне выборов комитатского головы. Он сидел в трактирном зале постоянного двора, где остановился, и слушал, как подвыпившие дворяне славословили графа Лайоша Карои, предком которого был пресловутый Шандор Карои, предатель антигабсбургского восстания Ракоци. Некоторое время Петёфи терпеливо слушал хвалебные речи, потом не выдержал и крикнул:

— Ну как вы можете хвалить такого человека, ведь и отец его, и дед, и прадед все были изменниками родины.

Тогда подвыпившие господа подскочили к нему и спросили:

— Кто вы такой? Как вы смеете так говорить?

— Я Шандор Петёфи и весь к вашим услугам! — ответил он громко, стукнув по столу палкой. Дворяне направились к выходу, пригрозив рассчитаться с поэтом. Петёфи потом целые сутки не выходил из этого зала, пристанища консерваторов, чтобы не подумали, будто он струсил.

V ПИСЬМО

Напечатано впервые 7 и 9 сентября 1847 года.

Стр. 51. *Нынче я с целой компанией побывал в шахте.* — Это посещение шахты, состоявшееся 25 мая 1847 года, Петёфи запечатлел и в стихотворении «В руднике» (см. Собр. соч., т. 1, стр. 459).

VI ПИСЬМО

Напечатано впервые 16 сентября 1847 года.

VII ПИСЬМО

Напечатано впервые 18 сентября 1847 года.

Стр. 54. *Между Сатмаром и Кароем лежит маленькая деревушка Майтень...* (см. примечание к стих. «В Майтеньской степи», Собр. соч., т. 1, стр. 615). ...*скрывался от Арпада вместе со своими женами Мен-Марот.* — Арпад — первый объединитель венгерских племен, правил с 887 по 907 год. Мен-Марот — согласно летописи, властитель Бихарского края, правивший хазарами. Арань, Янош. — см. прим. к стих. «Яношу Араню», т. 1, стр. 613.

VIII ПИСЬМО

Напечатано впервые 23 сентября 1847 года.

Стр. 58. *Мне хотелось бы перечислить этих индивидуумов по очереди, начиная от Антала Шуянского, Беневёльди, Петера Банго до самого Ференца Часара...* — Речь идет о посредственных поэтах, современниках Петёфи.

Стр. 59. Ботонд — вождь одного из венгерских племен. Согласно греческим источникам, венгерцы в 958 году дошли до Константинополя; в этом походе принимал участие и молодой еще тогда Ботонд. Кишфалуди, Карой (1788—1830) — венгерский поэт и драматург.

IX ПИСЬМО

Напечатано впервые 30 сентября 1847 года.

Стр. 62. *Послушай только, какое неслыханное, ужаснейшее несчастье произошло со мной.* — Неприязненное отношение Петёфи к Гете, односторонние суждения о нем роднят его с немецким писателем и публицистом Людвигом Берне, который тоже обвинял автора «Фауста» в бесчувственности, сердечной холодности и равнодушии. Берне утверждал, будто Гете никогда не сказал ни единого слова в защиту народа. «Парижские письма» Берне в 30—40-х годах XIX века были любимым чтением венгерской молодежи.

Стр. 64. Палфи, Альберт (1820—1897) — писатель и политический деятель революции 1848—1849 годов, редактор левой газеты «Марциуш тизенётёдике». Петёфи подружился с Палфи в 1844 году. Палфи первый познакомил его с литературой по исто-

рии французской революции, чем в большой мере содействовал формированию политических воззрений Петёфи. Автор «*Cartes-caux*», «*Etoile sombre*», «*Trois Rivières*» и «*Rivuli Dominarium*» — рассказы Палфи, напечатанные в журнале «Элеткепек» («Картины жизни») и «Пешти Диватлап». Э м ё д и, Д а н и е л ь — см. прим. к стих. «В альбом барышне Р. Э.», т. 1, стр. 612.

Х ПИСЬМО

Напечатано впервые 5 октября 1817 года.

ХІ ПИСЬМО

Напечатано впервые 9 октября 1847 года.

Стр. 71. ...«Круг» издал их... — Речь идет о литературном клубе «Национальный круг».

Стр. 72. П а л к о в и ч, А н т а л (1816—1862) — венгерский буржуазный историк.

ХІІ ПИСЬМО

Напечатано впервые 12 октября 1848 года.

Стр. 72. К а з и н ц и, Г а б о р — см. прим. к стих. «Габору Казинци», т. 1, стр. 617. ...*стиль его так же безобразен, как стиль Лайоша Кути*. — Кути, Лайош (1813—1864) — второстепенный венгерский писатель. После поражения революции 1848—1849 годов перешел на сторону реакции. Петёфи неприязненно относился к Кути как к писателю за высокопарность его произведений и как к человеку за его надменность и недемократичность.

Стр. 73. ...*в получасе ходьбы от Уйхейя расположен Сепхалом бывшее обиталище Ференца Казинци*. — К а з и н ц и, Ф е р е н ц (1759—1831) — венгерский поэт, руководитель литературной жизни Венгрии начала XIX века. За участие в республиканском заговоре, возглавленном Мартиновичем, Казинци был арестован в 1795 году и приговорен к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением. Казинци вышел на волю в 1801 году, в 1806 году поселился в имении «Сепхалом» («Красивый холм»). Эта усадьба и стала своеобразным литературным центром, куда съезжались писатели со всей Венгрии и откуда Казинци вел широкую переписку с литераторами.

ХІІІ ПИСЬМО

Напечатано впервые 14 октября 1847 года.

Стр. 76. ...и поспешил навестить замок, превращенный в государственную тюрьму. — Речь идет о Мункачской крепости. См. прим. к стих. «В Мункачской крепости», т. 1, стр. 616.

ХІV ПИСЬМО

Напечатано впервые 16 октября 1847 года.

Стр. 78. К ё л ь ч е и , Ф е р е н ц — см. прим. к стих. «В Надькарое», т. 1, стр. 611.

Стр. 78. ...я каждый раз вспоминал пелешкского нотариуса Иштвана Надя Зайтаи и его автора, старого доброго Гвадани — см. прим. к стих. «Доброму старому Гвадани», т. 1, стр. 604. Пап, Эндре (1817—1851) — венгерский поэт, друг Петёфи. Ришко, Игнац (1812—1890) — венгерский поэт, друг Петёфи, во время революции 1848—1849 годов был депутатом Национального собрания, после революции был заключен в тюрьму.

Стр. 80. ...если уже и Хиадоры создают драгоценнейшие жемчужины... — Хиадор — псевдоним Пала Ямбора (1821—1897) — бездарный поэт, которого венгерские реакционеры, в особенности журнал «Хондерю», пытались противопоставить Петёфи.

ХVІІ ПИСЬМО

Напечатано впервые 18 ноября 1847 года.

Стр. 83. ...сели в коляску и понеслись сюда, в Колто. — Колто — имение графа Шандора Телеки. См. прим. к стих. «Графу Шандору Телеки», т. 1, стр. 611.

ХVІІІ ПИСЬМО

Напечатано впервые 25 ноября 1848 года.

Стр. 84. Жена моя за другим столом пишет свой дневник... — Отдельные части этого дневника были напечатаны в журнале «Элеткепек» и газете «Хазанк» («Наша родина»).

Стр. 86. *Читал романы Жорж Санд, Боза...* — Жорж Санд была любимой писательницей жены поэта Юлии Сендреи, которая старалась подражать ей в эксцентрических манерах и одежде. Боз — литературный псевдоним Ч. Диккенса. *После Боза мой любимый романист Александр Дюма.* — Дюма, со своей стороны, высоко ценил творчество Петёфи. В последний приезд в Будапешт в 1865 году он передал одной из венгерских газет несколько своих переводов стихов Петёфи на французский язык. В печати появилось только одно: «В кабаке».

ХІХ И ХХ ПИСЬМА

Напечатаны впервые 30 ноября 1847 года.

РАССКАЗЫ

ДЕД

Стр. 95. Рассказ опубликован впервые в феврале 1847 года в журнале «Элеткепек».

БУЛАНКА И ГНЕДОЙ

Стр. 128. Опубликован впервые в мае 1847 года, в журнале «Элеткепек».

СТАТЬИ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОЛНОМУ СОБРАНИЮ СТИХОТВОРЕНИЙ

Это предисловие, написанное Петёфи 1 января 1847 года не было им опубликовано.

Стр. 168. *...считаю, что поэзия — храм, в который можно войти в лаптях и даже босиком...* — эти слова Петёфи повторил в стихотворении «Поэзия» (см. Собр. соч., т. 1, стр. 508).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Стр. 169. Эгреш и Габор — см. прим. к стих. «Этельке Эгреш», т. 1, стр. 613.

ДНЕВНИКИ

«СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА ШАНДОРА ПЁТЕФИ»

Впервые опубликованы отдельной брошюрой в начале мая 1848 года.

Пешт, 17 марта 1848 года

Стр. 180. *Вот уже многие годы моим единственным чтением, утренней и вечерней молитвой, хлебом насущным стала история французских революций...* — Петёфи, как и многие представители левой радикальной молодежи того времени, глубоко изучал историю французских революций, особенно революции 1789 года. Сохранились его выписки из книги Минье «История французской революции», которая вышла в Венгрии в 1845 году. Известно, что Петёфи читал «Историю Жиронды» Ламартина и «Историю французской революции» Луи Блана, которая была издана в Венгрии в 1847 году. Один из современников Петёфи писал в своих воспоминаниях: «Мы читали историю Тьера и философские сочинения Гюго... Но самое потрясающее впечатление произвела на нас знаменитая книга Ламартина «История Жиронды». Все представители молодого поколения читали эту книгу». Далее он пишет о том, как сердился за это чтение граф Иштван Сечени, считавший книгу Ламартина «бесконечно вредной», ибо она «восхваляет преступление и возводит в сан мучеников группу убийц».

О книгах по истории революций, прочитанных Петёфи, свидетельствует составленный им большой список.

Сохранился также составленный Петёфи список выдающихся деятелей французской буржуазной революции 1789—1794 годов. По свидетельству современников, Петёфи приобрел портреты деятелей первой французской революции. Причем, по мере углубления в историю революции, его симпатии все более склонялись к деятелям левых партий, и в конце концов портреты жирондистов на стене его комнаты сменились портретами Робеспьера и Марата. На имевшейся у Петёфи книге Сен-Жюста он собственноручно написал: «Сокровище Петёфи». *Не умствование, а то пророческое вдохновение...* — Сын Яноша Араня, Ласло Арань, писал, что в 1847 году Петёфи часто заходил к редактору газеты «Пешти Хирлап» Анталу Ченгери просматривать иностранные газеты. Однажды поэт сказал Ченгери: «Вы не верите, что она (революция — А. К.) будет, а я чувствую, предчувствую ее, как собака землетрясение».

Стр. 182. 14 марта «Оппозиционный круг» созвал собрание в Пеште, которое по издавна сложившемуся обычаю ни к чему не привело. — 3 марта 1848 года Кошут выступил в сейме с предложением относительно меморандума королю. В этом предложении он выдвинул ряд требований буржуазного характера, по руководители пештской революционной молодежи (Петёфи, Вашвари, Ирани, Йокаи, Буйовски, Вайда, Палфи) не были удовлетворены предложением Кошута, справедливо считая, что оно туманно сформулировано и таит в себе возможности для различных лазеек. 12 марта Даниель Ирани представил на заседание клуба «Оппозиционный круг» свой проект петиции королю, в конце которого были сформулированы известные «12 пунктов» требований, под названием «Чего желает венгерский народ».

«Пусть наступят мир, свобода и согласие:

1. Мы желаем свободы печати и уничтожения цензуры.
2. Ответственное министерство в Буда-Пеште.
3. Ежегодное заседание парламента в Пеште.
4. Гражданское равноправие и равноправие вероисповеданий.
5. Национальной гвардии.
6. Всеобщее налогообложение.
7. Уничтожение барщины.
8. Суда присяжных на основе равенства представителей.
9. Национальный банк.
10. Чтобы войска присягнули конституции, чтобы наших солдат не уводили за границу, чтобы от нас вывели иностранные войска.
11. Освобождения политических государственных преступников.
12. Унии (с Эрдеем)
Равенство, свобода, братство».

Петиция и «12 пунктов» были приняты «Оппозиционным кругом», одновременно было решено привлечь к движению революционную молодежь, собиравшуюся в кафе Пильвакс. Однако многие члены клуба «Оппозиционный круг» сочли и петицию и «12 пунктов» слишком смелыми и на общем собрании «Круга», состоявшемся 14 марта, было предложено предварительно собрать под петицией подписи по всей стране. Революционная молодежь не могла с этим согласиться, отлично понимая, что подобное предложение сводилось к оттяжке решительных действий. Молодежь пришла к выводу, что не время уже посылать петицию, а надо выдвигать решительные требования или, как писал Петёфи, «пора подходить к трону не с бумагой, а с саблей в руке». С этой целью на 19 марта было назначено собрание, т. н. «пиршество», которое,

однако, не состоялось, так как 14 марта пришла весть о революции в Вене и молодежь вместе с Петёфи решила действовать немедленно. 15 марта она возглавила революцию в Пеште.

Стр. 183. Йокаи, Мор (1826—1904) — известный венгерский романист. Во время революции 1848 года был одним из руководителей революционной молодежи, но вскоре оказался в ряду колеблющихся, а затем и сторонником «Партии мира», которая ратовала за соглашение с Австрией. Петёфи был связан с Йокаи дружбой с юношеских лет, но порвал с ним из-за политических разногласий. В начале революции Йокаи жил еще в одной квартире с Петёфи. В ашвари Пал (1827—1849) — один из наиболее видных деятелей венгерской революции 1848—1849 годов. Принадлежал к левому крылу «Мартовской молодежи». Организовал батальон «красношапочников» — «Вольный отряд Ракоци», отправился на эрдейский фронт, где и пал смертью героя.

Стр. 183. Буйовски, Дюла (1827—1883) — прозаик, драматург, один из видных деятелей мартовских дней. *«Национальную песню» я написал за два дня...* — См. Собр. соч., т. 2, стр. 35.

Стр. 185. Видач, Янош (1826—1873) — в мартовские дни 1848 года студент юридического факультета, участник революции, впоследствии принадлежал к умеренному крылу «Мартовской молодежи». Принимал участие в национально-освободительной войне. В шестидесятых годах стал фабрикантом. Дэгре, Алайош (1820—1896) — писатель, участник революции и национально-освободительной войны 1848—1849 годов.

Стр. 186. Няри, Пал (1806—1871) — политический деятель, представитель умеренной дворянской оппозиции. Во время революции постоянно выступал против радикальных действий в дебреценском Национальном собрании, требовал компромисса с Австрией. Клаузаль, Габор (1804—1866) — политический деятель, представитель умеренной дворянской оппозиции. В 1848 году вместе с Няри организовал национальную гвардию и всячески старался воспрепятствовать революционным действиям молодежи. В кабинете Батяни был министром промышленности и земледелия. Танчич, Михай — см. прим. к стих. «15 марта 1848», т. 2, стр. 37. Ирани, Даниель (1822—1892) — политический деятель и публицист, активный участник революции 1848 года, депутат Национального собрания. Во время национально-освободительной войны по поручению Комитета безопасности был организатором народного ополчения в Верхней Венгрии, а затем членом чрезвычайного революционного суда. После поражения революции был заочно приговорен к смертной казни. В эмиграции проявлял активную деятельность и написал книгу по истории венгерской революции. Ирени, Йожеф (1822—1859) — писатель

и политический деятель, в 1848 году депутат Национального собрания. Качкович, Лайош (1806—1852) — юрист, экономист, в 1848 году депутат Национального собрания. Молнар, Дёрдь (1820—1880) — политический деятель, в 1848 году депутат Национального собрания, в национально-освободительной войне принимал участие в качестве правительственного комиссара. Роттенбиллер, Леопольд (1806—1870) — в 1848 году был избран пештским бургомистром.

Пешт, 1 апреля 1848 года

Стр. 189. *Ответственное, независимое венгерское министерство уже существует.* — Одной из важных предпосылок создания независимого венгерского буржуазного государства было учреждение самостоятельного правительства, ответственного перед венгерским Национальным собранием. Кошут выдвинул эти требования еще 3 марта, но австрийский двор не пожелал согласиться с ним и прежде всего потому, что не хотел выпустить из рук ведение военных и финансовых дел. Но под влиянием событий 15 марта император вынужден был согласиться с учреждением ответственного министерства и с назначением графа Лайоша Батяни премьер-министром. Однако вскоре, 27 марта, король в новом указе дал понять, что сфера деятельности венгерского военного министерства и министерства финансов будет ограничена и практически эти министерства по-прежнему останутся зависимы от Австрии. Когда 30 марта в Пеште распространилась весть о том, что король отказался от своего обещания, данного 17 марта, большие толпы народа заполнили улицы и всю ночь шли демонстрации. В толпе раздавались возгласы: «Нас обманули в Вене!», «Долой немецкое правительство!»

Петёфи и его единомышленники призывали народ взяться за оружие. В эти бурные дни Петёфи написал стихотворения «Восстало море» и «Королям» (см. Собр. соч., т. 2, стр. 42—43).

Волнения продолжались до 31 марта, когда был объявлен новый королевский указ, оставлявший в силе положение о независимом национальном правительстве. *Нынче был зачитан в комитатской ратуше королевский декрет о министерстве. Молодежь, а значит и вся революция, осталась очень недовольна им...* — Дюла Буйовски писал в статье об этом собрании: «Наконец из рядов поднялся Петёфи и глухим голосом произнес следующее: «Я увидел трепет, я увидел бледные лица, мне не хотелось бы в дальнейшем видеть такими сынов моей нации, а поэтому я снимаю свою саблю, прячу ее... но не ломаю!»

Пешт, 19 апреля 1848 года

Стр. 191. Вешелени, Миклош (1796—1850) — барон, один из наиболее видных деятелей либерально-дворянской оппозиции. В начале тридцатых годов добровольно отменил в своих имениях некоторые крепостные повинности, запретил телесные наказания. В 1836 году произнес речь в комитатском собрании, в которой требовал освобождения крестьян. За это был заключен в тюрьму, где потерял зрение. После того, как был освобожден в 1839 году, отошел от политической деятельности. Этвеш, Йозеф (1813—1871) — барон, венгерский поэт, прозаик и публицист, автор известных романов «Картезианцы», «Деревенский нотариус», «Венгрия в 1514 году». Во время революции 1848 года Этвеш был министром культов и просвещения, но после сентябрьского революционного выступления плебейских масс Этвеш покинул Венгрию, не желая участвовать в революционной войне против Австрии. Вернулся он после подавления революции. В 1860 году был избран президентом венгерской Академии наук и в 1876 году вновь назначен министром культов и просвещения. Батяни, Лайош (1806—1849) — граф, первый премьер-министр Венгрии. До революции один из вождей умеренной оппозиции Верхней палаты сейма. В октябре 1849 года был приговорен к смерти и расстрелян австрийцами. Кошут, Лайош (1802—1894) — вождь венгерской буржуазной революции и руководитель национально-освободительной войны 1848—1849 годов. До революции Кошут возглавлял радикальную оппозицию сейма. Основал в 1844 году «Союз защиты», общество, содействовавшее развитию венгерской промышленности. В правительстве Батяни Кошут был министром финансов, в сентябре 1848 года был назначен председателем Комитета защиты отечества, в апреле 1849 года после лишения Габсбургов престола был избран правителем страны. После поражения революции эмигрировал в Турцию, позже жил сперва в Англии, затем в Италии, где и умер в 1894 г., не желая возвращаться под власть Габсбургов. Сечени, Иштван (1791—1860) — граф, видный венгерский политический деятель, глава сторонников умеренных реформ. По инициативе Сечени был проведен ряд буржуазных экономических и культурно-просветительных реформ: учреждено «Товарищество дунайского пароходства», основан коммерческий банк, построен Цепной мост, связавший Буду с Пештом, учреждена Академия наук. Будучи сторонником проведения реформ в согласии с Австрией, Сечени вступил в конфликт с Кошутом. Во время революции 1848 года вошел в кабинет Батяни в качестве министра путей сообщения. В сентябре 1848 года Сечени покинул Венгрию,

не желая принимать участия в войне против Австрии. В конце 1848 года Сечени тяжело заболел и около десяти лет провел в психиатрической лечебнице. В 1858 году он выпустил брошюру против австрийского реакционного правления Баха, а в 1860 году покончил с собой.

Пешт, 22 апреля 1848 года

стр. 195. ...на наших одеждах черные пятна позора, пятна позора за итальянскую войну. — Петёфи так же, как и все левое крыло Национального собрания, был возмущен предательским поведением правительства, которое согласилось послать венгерские войска на подавление революции в Италии. В Национальном собрании Даниель Ирани заявил премьер-министру: «Мне кажется, господа, что, стремясь заключить союз с камарильей, преследующей черные цели, вы заключаете союз с чёртом». Генерал Мор Перцел сформулировал точку зрения левых депутатов в таких словах: «Нация, которая помогает угнетать другие нации, нация, которая, желая быть свободной, думает завоевать эту свободу, помогая подавлять другие нации, сама навлекает на себя проклятие».

Пешт, 29 апреля 1848 года

Стр. 196. Клигль, Йожеф (1795—1870) — талантливый венгерский механик, автор многих изобретений: счетной машины, нового типа паровоза, наборного станка, который он демонстрировал в Пеште в 1839—1840 году. Однако правительственными кругами его изобретения были встречены равнодушно.

Исторические записки (Отрывки)

«Исторические записки» являются дополнительным материалом, не вошедшим в «Страницы из дневника Шандора Петёфи».

Стр. 199. *15 марта 1848 года весь день лил дождь...* — По свидетельству современников, пештский народ придавал этому дождю большое значение, считая его добрым предзнаменованием. *Няри решительно, почти гневно, протестовал против каждого революционного слова.* — См. в настоящем томе письмо к Яношу Араню, стр. 342.

Стр. 200. *Депутаты всю дорогу от Пешта до Дебрецена играли в карты...* — Об этом эпизоде тогда же с возмущением и на-

смешкой писал Михай Танчич: «Пока Национальное собрание заседало в Будапеште, нашлись депутаты, которые во время обсуждения важнейших вопросов занимались игрой в карты. Многие по дороге отстали и в Дебрецен не прибыли; наверно, это и есть картежники. Мало вероятно, что среди прибывших сюда найдутся им подобные, но если они все же обнаружатся, я откладываю для них колоду карт». Семере, Берталан (1812—1869) — один из виднейших деятелей радикальной оппозиции сейма, министр внутренних дел в правительстве Батяни; в 1849 году стал премьер-министром Венгрии. После поражения революции эмигрировал в Париж, где возглавил левое крыло венгерской эмиграции, стоявшей в оппозиции к Кошуту. Семере был связан в эмиграции с Марксом и Энгельсом. Дзак, Ференц (1803—1876) — выдающийся деятель либеральной дворянской оппозиции сейма. В 1848 году был министром юстиции в кабинете Батяни. После отставки кабинета Батяни остался депутатом Национального собрания и действовал в пользу соглашения с Габсбургом. В 1861 году возглавил партию соглашения сейма, после 1867 года стал лидером правительственной партии. *Национальная гвардия исполнила «Gotterhalte»* — Gotterhalte — австрийский королевский гимн.

История жизни моего сына Золтана до семимесячного возраста

В июне 1849 года, когда неприятель стоял уже на подступах к Будапешту и правительство трусливо покинуло столицу, Петёфи ничего не оставалось, как перебраться куда-нибудь с семьей. 2 июня он уехал с женой и ребенком в Мезёберень к своему другу и родственнику художнику Шоме Орлаи Петричу. Здесь он и написал 15 июля 1849 года эти страницы «Истории жизни» своего сына. В Мезёберене Петёфи оставался только до 19 июля, по вызову генерала Бема он уехал оттуда вместе с семьей в Эрдей.

Стр. 202. *Вступив в сентябре в солдаты...* — 24 сентября 1848 года Петёфи с женой выехал из Пешта. Он поехал в качестве правительственного эмиссара к секеям, чтобы поднять там народное ополчение и привести его на защиту столицы. Жену свою он оставил у ее родителей в Эрдеде, а сам поехал дальше в Эрдей. Но восстание румын заставило его повернуть обратно. Из Эрдея он отправился в Пешт, потом выехал на австрийскую границу, где стояла венгерская армия, затем снова вернулся в Эрдед и 22 октября поехал в Дебрецен, в своей батальон, где до 17 ноября занимался обучением новобранцев. Когда батальон его перевели

в Надьбечкерек, Петёфи получил отпуск и отправился в Эрдед, но вследствие угрожающего поведения румын вынужден был 23 ноября выехать вместе с семьей обратно в Дебрецен.

Стр. 203. Ицце — старинная венгерская мера жидкостей, равна 8 децилитрам. Месей — венгерская мера жидкости, равна 4 децилитрам.

Стр. 204. *Но потом жена Вёрёшмарти и жена Шандора Вахота...* — Вёрёшмарти вместе с поэтом Шандором Вахотом, который служил секретарем министерства, прибыли в это время в Дебрецен. Когда в середине января 1849 года Петёфи отправился в армию Бема, семья его осталась жить у Вёрёшмарти.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Пешт, 27 мая 1848 года

Напечатано впервые 11 июня 1848 года в журнале «Элеткепек».

Стр. 210. Елашич, Иосиф (1801—1852) — хорватский бан генерал австрийской службы, в 1848 году присоединился к реакционной габсбургской камарилье для подавления австрийской и венгерской революции.

Стр. 213. *Знаете ли вы в Париже улицу Сен-Мерри?* — В связи с похоронами генерала Ламарка в июне 1832 года в Париже вспыхнуло восстание, которое было подавлено правительством Луи-Филиппа. Отряд повстанцев, руководимый республиканцами, главным образом студенческой молодежью, с неслыханным героизмом вступил в сражение с войском и национальной гвардией. Баррикада повстанцев около монастыря Сен-Мерри была разрушена артиллерией.

Пешт, 10 августа 1848 года

Напечатано впервые 11 августа 1848 года в газете «Марциуш тизенётёдик».

Стр. 214. *Мы освободились из-под власти Меттерниха и его клики и получили взамен министерство Батяни.* — Уже статья «Пешт, 27 мая 1848 года» свидетельствовала о недовольстве Петёфи правительством Батяни, которое составилось из двух крупнейших землевладельцев Венгрии — графа Иштвана Сечени и герцога Пала Эстерхази, а также из представителей сторонников умеренных реформ — Ференца Дзака, барона Йозефа Этвеша,

Габора Клаузуля и Лазаря Месароша. Радикальная дворянская оппозиция была представлена только Кошутом и Семере. Таким образом, правительство являлось в сущности коалицией аристократии и среднепоместного дворянства. Это правительство, не желая идти ни на какие демократические реформы, неспособно было обеспечить даже национальной независимости Венгрии, неспособно было отразить наступающего врага.

Стр. 217. *...где предоставят нам толковать ученикам на досуге прагматическую санкцию.* — Прагматическая санкция — установление неделимости австрийской и венгерской короны Габсбургов и порядок престолонаследования, принятый несколькими дворянскими сеймами, земель «Габсбургской короны». Венгерский сейм принял этот закон в 1723 году.

Ответ Вёрёшмарти

Напечатано впервые в газете «Кошут Хирлап» 8 сентября 1848 года.

Вёрёшмарти, будучи депутатом Национального собрания, голосовал вместе с правительством и большинством Национального собрания за сохранение старых австрийских порядков и немецкого языка команды во вновь созданной венгерской армии. Петёфи был возмущен беспринципным поведением своего друга и написал стихотворение «К Вёрёшмарти» (см. Собр. соч., т. 2, стр. 97), в котором резко осудил его. Стихотворение это Петёфи намеревался напечатать в журнале «Элеткепек», предварительно показав его Вёрёшмарти. Вёрёшмарти ответил на стихотворение Петёфи несправедливым и обидным по тону письмом. В ответ на него и была написана статья «Ответ Вёрёшмарти».

Мое первое и последнее выступление по одному весьма
грязному вопросу

Напечатано впервые в журнале «Элеткепек» 10 сентября 1848 года.

Стр. 223. *Может быть, публика помнит...* — См. Собр. соч., т. 1, стр. 306, стихотворение «Мору Йокаи» и настоящий том, письмо к Аурелю Кечкемети, стр. 298.

Пешт, 17 сентября 1848 года

Напечатано впервые в газете «Марциуш тизенётёдике» 18 сентября 1848 года.

К августу 1848 года реакция подавила революцию в Вене, Праге и Италии. Австрийский двор решил, что настало время для подавления венгерской революции. 31 августа император отправил послание наместнику, в котором вновь требовал присоединения венгерских министерств финансов и военных дел к соответствующим австрийским министерствам. 4 сентября он послал письмо генералу Елашичу, в котором выразил удовлетворение его деятельностью. Оба эти факта совершенно ясно свидетельствовали о крахе компромиссной политики правительства Батяни. Кабинет Батяни подал в отставку. 11 сентября на знаменательном заседании Национального собрания было зачитано письмо наместника, в котором он брал на себя функцию управления Венгрией до утверждения нового премьер-министра. Национальное собрание признало это письмо незаконным и до формирования нового правительства поручило управление страной Кошуту и Семере. 11 же сентября полчища Елашича ворвались в Венгрию, а граф Адам Телеки, командовавший задунайскими войсками, заявил в Национальном собрании, что не согласен выступить против Елашича, ибо связан с ним присягой австрийскому императору. На это депутаты Национального собрания закричали: «Изменник родины! Смерть ему!» В ту же пору покинули Венгрию бывшие члены кабинета Батяни — герцог Пал Эстерхази, граф Иштван Сечени и барон Йожеф Этвеш. Елашич уже подступал к Буде. Для организации обороны был создан Комитет защиты отечества, в который вошли четыре члена радикальной группы Мадараса, на которую опирался Кошут, возглавлявший Комитет защиты.

В связи с этими событиями и была написана статья Петёфи.

Прокламация «Общества равенства»

Напечатана впервые 20 сентября 1848 года в газете «Непзлем» («Народная стихия»), редакторами которой были руководители радикальной партии, братья Мадарас. Прокламация была перепечатана в виде листовки, а также газетой Танчича «Мункашок уйшага» («Рабочая газета»).

Петёфи активно участвовал в жизни политических клубов, большая часть которых состояла из радикально настроенных людей. Еще до мартовских дней он состоял членом клуба «Оппозицион-

ный круг», переименованного впоследствии в «Радикальный круг». 7 мая 1848 года Петёфи был избран членом правления этого клуба. Он состоял и в «Демократическом круге», основанном в июле 1848 года, который слился впоследствии с «Обществом равенства», учрежденным руководителями радикальной партии — братьями Мадарас, Палфи, Лисняи и др. Эти клубы развивали бурную деятельность и оказывали большое влияние на пештские массы. Под впечатлением сентябрьских событий Петёфи написал в ночь на 17 сентября Прокламацию «Общества равенства», которая 17 сентября была принята собранием клуба.

Стр. 229. Зрини, Петер (1621—1671) — младший брат выдающегося венгерского поэта Миклоша Зрини. После смерти Миклоша Зрини в 1665 году был назначен хорватским баном; переработал и перевел на хорватский язык поэму брата «Сигетское бедствие». П. Зрини участвовал в антиимператорском заговоре Вешелени и был казнен. Франгепан, Ференц-Криштоф (?—1671) — венгерский феодал, участник заговора Вешелени, казнен одновременно с Петером Зрини. Надашди, Ференц (1625—1671) — граф, участник заговора Вешелени. Казнен вместе с Петером Зрини и Франгепаном. Мартинович, Игнац — см. прим. к стих. «Вермезё», т. 2, стр. 455.

Стр. 230. *...будете выплачивать часть моих долгов — 200 миллионов форинтов.* — До утверждения закона о создании независимого венгерского правительства император Фердинанд обратился с письмом к наместнику Венгрии, в котором выразил желание, чтобы Венгрия выплатила 200 миллионов форинтов из общегосударственных долгов Австрии.

Письмо в Национальное собрание

Впервые вместе со стихотворением «Боевая песня» было напечатано в газете «Кёзлэнь» 20 декабря 1848 года, а затем в большинстве газет того времени.

Стр. 233. *Если вы считаете прилагаемое стихотворение...* — Речь идет о стихотворении «Боевая песня», которое сыграло большую мобилизующую роль в венгерской национально-освободительной войне (см. Собр. соч., т. 2, стр. 131).

Дебрецен, 9 января 1849 года

Напечатано впервые 10 января 1849 года в «Алфельди Хирлап» («Алфельдской газете»).

Статью эту Петёфи написал в Дебрецене, где он, тогда капитан гонведов, был в отпуске и ждал перемещения в Эрдейскую армию. В эту пору депутаты уезжали из Пешта от наступающих войск Виндишгреца и переселялись в Дебрецен, куда и было перенесено Национальное собрание. В Дебрецен каждый день поступали слухи о поражении на фронтах, и повсюду царил паника. В армии многие офицеры подали в отставку, многие предательски бежали в стан противника. 9 января Кошут дважды выступил с воодушевляющими речами перед депутатами Национального собрания и перед народом. В тот же день Петёфи написал эту статью, полную веры в победу.

ВЫБОРЫ В САБАДСАЛАШЕ

I. ЖИТЕЛЯМ КИШ-КУНШАГА

Воззвание напечатано в виде листовки, которую Петёфи раздавал в начале июня 1848 года жителям Сабадсалашского избирательного округа, где он хотел баллотироваться в депутаты Национального собрания (см. в настоящем томе письма к Карою Банкошу, стр. 347—348 и 352—353).

II. ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРАХ В САБАДСАЛАШЕ

Напечатано впервые 19 июня 1848 года в газете «Марциуш тизенётдике» со следующим примечанием: «Прошу всех моих честных коллег-редакторов сообразоваться перепечатать эту статью в своих газетах. Шандор Петёфи».

С некоторыми пропусками статья была перепечатана несколькими газетами. Происки реакции против Петёфи и его неудача на выборах вызвали бурный отклик во многих левых газетах. Михай Танчич поместил об этом сообщения в двух номерах своей газеты «Мункашок уйшага». В номере 13 за 1848 год Танчич написал в разделе «Сообщения из провинции»: «Киш-Куншаг. Я должен сообщить печальнейшую весть относительно выборов в депутаты нашего честного патриота Петёфи. Этого отличного мужа народ принял сперва восторженно, но затем его сумели дьявольскими ухищрениями восстановить против Петёфи. Однако подробнее об этой грустной истории я расскажу в следующем номере, уже на основании сообщения самого Петёфи». В номере 14 «Мункашок уйшага» Танчич поместил следующую свою статью — «Шандор Петёфи». «В последнем, 13 номере своей газеты я

коротко коснулся того, что наш славный согражданин Петёфи был единодушно и восторженно назначен депутатом Киш-Куншага. Затем, когда подошло время выборов, народ подкупили с помощью дьявольских ухищрений, и Петёфи не только не избранны, но он должен был спастись бегством от взбунтовавшегося против него народа, чтобы не ставить под угрозу свою жизнь. Я обещал изложить этот печальный случай точно, в соответствии с тем, как об этом написал сам Петёфи. Но этому помешал мой отъезд, так что я вынужден только коротко высказать, что народ гнусно обманули, ввели в заблуждение. Подумайте сами, друзья, сколько подлости и коварства нужно было применить иным господам для того, чтобы провалить этого славного сына народа, провалить Петёфи! Я убежден, что обманутый народ Киш-Куншага вскоре поймет свою ошибку; пристыженный, попросит он прощения у своего любимца и проклянет тех, кто так гнусно воспользовались добротой народа». Впоследствии в своей книге «Мой жизненный путь» Танчич писал: «Когда Шандор Петёфи выступил в Сабадсалаше перед своими избирателями, я поддержал его кандидатуру в «Мункашок уйшага». Статью эту прочитал граф Иштван Сечени и на следующем заседании Национального собрания, встретившись со мною в кулуарах, спросил, действительно ли я считаю кандидатуру Петёфи подходящей, ведь он еще очень молод? Я ответил, что, несмотря на свою молодость, Петёфи скорее оправдывает ожидания своих избирателей, чем любой магнат или граф в годах». В «Пешти Хирлапе» была помещена обстоятельная статья друга Петёфи — Кароя Банкоша, в которой он подробно рассказывает обо всех происках реакции против Петёфи.

III. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО САБАДСАЛАШЦАМ

Впервые отпечатано в виде листовки в конце июня 1848 года.

IV. ПЕШТ, 27 ИЮНЯ 1848 ГОДА

Помещено 27 июня 1848 года в газете «Марциуш тизенётдике».

V. ДЕПУТАТАМ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Впервые отпечатано отдельной листовкой, которую Петёфи 7 июля распространил среди депутатов Национального собрания.

Позднее это же заявление было помещено в газете «Реформ» со следующим примечанием редакции: «Мы не имели несчастья познакомиться с Кароем Надем. Своим заявлением в «Пешти Хирлапе» он вовсе не оправдал себя, а дал только блестящее свидетельство своей невоспитанности. Уповая на мужество депутатов, мы уверены, что они не потерпят в своей среде человека, который, оскорбив другого, не имеет достаточно мужества дать ему удовлетворение» (см. в настоящем томе письма к Банкошу и Араню, стр. 349—351 и 352—353). Вопрос о незаконных выборах был поставлен в Национальном собрании. После долгих прений учредили комиссию по расследованию этого дела. Однако «расследование» это так и не было произведено.

ПИСЬМА ИЗ АРМИИ

1. РЕДАКТОРУ «ПЕШТИ ХИРЛАПА»

Напечатано впервые 10 октября 1848 года в газете «Пешти Хирлап».

Когда Елашич приближался к столице Венгрии, 24 сентября в Национальном собрании выступил Кошут и заявил, что он немедленно уезжает в Алфельд для вербовки народа в национально-освободительную армию. Петёфи выехал в тот же день к секеям, однако поездку ему пришлось прервать из-за восстания румын (см. в настоящем томе письмо Михаю Этвешу, стр. 363).

2. РЕДАКТОРУ «КЁЗЛЁНЯ»

Напечатано впервые 9 февраля 1849 года в газете «Кёзлёнь».

Стр. 262. *Я в армии Бема.* — Петёфи перевелся в армию генерала Бема и в последних числах января 1849 года направился в Эрдей. Возле Селиндека он встретился с войсками и принял участие в пяти сражениях. «Если мой самый добрый гонвед погибнет, — говорил Бем, — то страна заменит его другими, а моего милого сына Петёфи никто не сможет заменить». По этой причине перед одним из сражений Бем направил Петёфи в Дебрецен к правителю в качестве гонца. За храбрость, проявленную в боях, Петёфи получил орден, о передаче которого он пишет в 4-м письме из армии. *Из захваченной сасшебеишской почты...* — В этой почте нашли также описания примет Кошута, Семере, Петёфи, расосланные для их поимки. Петёфи оставил на память

один экземпляр описания своей внешности и на полях его приписал следующее: «Это описание моей внешности, которое Виндишгрец прислал из Пешта в Себен, я получил из сасшебешской почты в феврале 1849 года, когда мы заняли город. В описании много неверного, наружность мою изображали, должно быть, по портретам, а об остальном писали по догадкам. То, что мне прибавили десять лет, назвали «früher Dichter» (поэт из молодых, да ранний — А. К.) и прочая глупость и вранье, меня не обижают, одно только раздосадовало меня страшно, что нарядили меня согласно немецкой моде, это меня-то, который всю жизнь ходил в венгерской одежде! Шандор Петёфи».

3. РЕДАКТОРУ «КЁЗЛЁНЯ»

Напечатано впервые 17 февраля 1849 года в газете «Кёзлён». См. Собр. соч., т. 2, стр. 150 и 160, стихи «Гремела канонада» и «Эрдейская армия».

4. РЕДАКТОРУ «КЁЗЛЁНЯ»

Напечатано впервые 26 апреля 1849 года в газете «Кёзлён».

Стр. 266. ...*пошел к нему просто, как рядовой...* — Петёфи в качестве гонца Бема явился на прием к военному министру Лазарю Месарошу без галстука, который по форме полагалось носить офицерам. Месарош грубо отчитал за это Петёфи и пригрозил ему лишением военной формы. Оскорбленный Петёфи ответил ему эпиграммой «Галстук» (см. Собр. соч., т. 2, стр. 152) и письмом (см. настоящий том, стр. 377) и подал в отставку. Но 23 февраля он снова отправился в армию, однако из-за болезни вынужден был задержаться в Коложваре, так что к Бему он вернулся только в первых числах марта. Бем не только вернул ему прежнее военное звание, но назначил своим адъютантом, наградил орденом, а впоследствии даже присвоил ему чин майора. Однако правительство не утвердило повышение Петёфи, и тогда после столкновения с генералом Клапкой Петёфи снова подал в отставку (см. Собр. соч., т. 2, стр. 165, стихотворение «Одному грубому генералу»), и настоящий том, стр. 380, 387, письма генералу Клапке и Яношу Араню).

5. РЕДАКТОРУ «КЁЗЛЁНЯ»

Напечатано впервые 1 мая 1849 года в газете «Кёзлён».

6. РЕДАКТОРУ «КЁЗЛЁНЯ»

«Заявление»

Напечатано впервые 17 июня 1849 года в газете «Кёзлён».

ПИСЬМА

1. ИМРЕ НАДЮ

Стр. 273. Надь, Имре — друг Петёфи. Учился в шопронском лицее вместе с родственниками Петёфи — Шомой Орлаи Петричем и Кароем Шалковичем. Это единственное письмо Петёфи, которое сохранилось от того времени, когда Петёфи был солдатом.

2. ИОЖЕФУ БАЙЗЕ

Стр. 274. Байза, Иожеф (1804—1858) — венгерский поэт, критик, историк литературы. В 1848 году редактировал газету Кошута. После революции скрывался вместе с Вёрёшмарти. Он один из первых обратил внимание на талант юного Петёфи, первый напечатал его стихотворение «Пьющий» в своем журнале «Атэнэум».

3. ЛАЙОШУ СЕБЕРЕНИ

Стр. 274. Себерени, Лайош (1820—1875) — соученик Петёфи по шельмецкой школе, затем адвокат, журналист, профессор теологии; впоследствии один из самых подлых гонителей Петёфи. Домановски, Эндре (1817—1895) — товарищ Петёфи по шельмецкой школе, впоследствии профессор юриспруденции.

Стр. 276. Тарци, Лайош (1807—1881) — преподаватель папской гимназии, председатель школьного кружка самообразования. Тарци помог Петёфи поступить в гимназию. *Жюри: Цуцор, Пал Ковач и Игнац Штетнер...* — Жюри, в составе прозаика

Пала Ковача, священника Игнаца Штетнера и преподавателя Бельи Сели (заменившего поэта Цуцора), единогласно присудило премию Петёфи. Книгу *Клигля, благодаря которой я мог бы приветствовать тебя, как литератора, я еще не видел*. — В 1842 году венгерские писатели издали книгу в пользу талантливого механика Клигля, у которого не было средств для усовершенствования изобретенного им наборного станка. Писатели продали сборник издателю Хеккенасту с условием, что тот авансирует Клиглю необходимые 400 форинтов. Сборник был назван «Книгой Клигля». Вышел под редакцией писателя Яноша Гараи. *Появилось одно мое стихотворение...* — Речь идет о стихотворении «Пьющий», первом из опубликованных стихов Петёфи. *...школяр Шандор Петрович*, Петрович — настоящая фамилия Петёфи. Ронаи и Шио — псевдонимы, под которыми он выступал на сцене и в печати.

5. ЛАЙОШУ СЕБЕРЕНИ

Стр. 279. *«Да благословит иль покарает...»* — цитата из стихотворения «Призыв» Михая Вёршмарти.

6. ЙОЖЕФУ БАЙЗЕ

Стр. 282. *Я не знаю, насколько хороша «Первая роль»...* — См. Собр. соч., т. 1, стр. 104. *Божественное искусство, отчего жрецами у тебя черти?* — См. Собр. соч., т. 1, стр. 184, «Письмо приятелю актеру».

7. ЙОЖЕФУ БАЙЗЕ

Стр. 283. Вахот, Шандор (1818—1861) — поэт. Вахот в Пожоне оказал помощь Петёфи, пустив среди литераторов подписной лист в его пользу. В Пеште Вахот помог Петёфи получить переводческую работу. Лисняи, Калман (1823—1863) — поэт, участник революции 1848—1849 годов.

8. ЙОЖЕФУ БАЙЗЕ

Стр. 284. Гараи, Янош (1812—1853) — венгерский поэт, автор поэм, баллад на исторические темы, юмористических стихов. Наиболее значительно его произведение «Отставной солдат». По своим политическим воззрениям Гараи был последователем

Иштвана Сечени, главы умеренного либерального дворянства. В 1843 году Гараи был редактором журнала «Регелё» («Сказитель»). ... за подписью «Школяра Андора». — «Школяр Андор» — один из псевдонимов Петёфи. Верёцеи — псевдоним Йожефа Байзы, под которым он писал литературные обзоры в журнале «Атэнзум».

9. ЛАЙОШУ СЕБЕРЕНИ

Стр. 287. Надь, Игнац (1810—1854) — венгерский писатель и переводчик, член-корреспондент венгерской Академии наук.

10. ШОМЕ ОРЛАИ ПЕТРИЧУ

Стр. 288. Орлаи Петрич, Шома (1822—1880) — художник, создавший много исторических полотен и портретов, в том числе несколько портретов Петёфи. Родственник и друг Петёфи, автор мемуаров о нем.

13. БЕЛЕ ТАРКАНИ

Стр. 292. Таркани, Бела (1821—1886) — венгерский поэт, священник.

14. АЛЬБЕРТУ ПАКУ

Стр. 293. Пак, Альберт (1823—1807) — писатель-юморист, близкий друг Петёфи. *Друг мой Фрици!* — уменьшительное от Фридриха, второго имени Пака, адресата Петёфи. Абель, Каян — один из литературных псевдонимов Пака.

16. ЭЛЕКУ ДЭМЭКУ

Стр. 297. Дэмэк, Элек — друг и соученик Петёфи по асодской школе.

Стр. 298. Называется она «Сельский молот»... — См. Собр. соч., т. 2, стр. 177. *Вчера написал стихотворение...* «Легенда». — См. Собр. соч., т. 1, стр. 192.

17. АУРЕЛЮ КЕЧКЕМЕТИ

Стр. 298. Кечкемети, Аурель (1827—1877) — адвокат и журналист, друг Петёфи. *Никто из моих друзей не вправе предъявлять ко мне претензии за то, что я написал о Йокаи.* — 11 сентября 1845 года Петёфи поместил в «Пешти Диватлапе» стихотворение, посвященное Йокаи (см. Собр. соч., т. 1, стр. 306). В этом стихотворении Петёфи пишет:

Нет, я не верю никому.
Где взять доверья? Не устанут
Мне люди лгать. Уж столько раз
За жизнь мою я был обманут.
Доверья рухнул храм,
И среди его руин
Лишь ты, как уцелевшая колонна,
Один стоишь упорно, непреклонно,
Меня не предал ты один.

Утверждение, что только Йокаи стоит, как уцелевшая колонна, обидело многих друзей Петёфи, в том числе и Ауреля Кечкемети. Свою обиду Кечкемети выразил тем, что, печатая свои «Венские письма» в «Пешти Диватлапе», второе письмо адресовал уже не Петёфи.

Стр. 299. *...останусь до марта, до постановки моей драмы «Тигр и гиена».* — «Тигр и гиена» — романтическая драма Петёфи. Предполагавшаяся тогда постановка этой драмы не состоялась.

18. АНТАЛУ ВАРАДИ

Стр. 299. Варادي, Антал — см. прим. к стих. «Анталу Варади», т. 1, стр. 356. *Любимый самым славным созданием бога.* — Речь идет о Юлии Сендреи, будущей жене Петёфи.

19. ДЁРДЮ УРХАЗИ

Стр. 300. Урхази, Дёрдь (1823—1873) — журналист, редактор альманаха «Уния»..

20. ШОМЕ ОРЛАИ ПЕТРИЧУ

Стр. 302. Эмих, Густав (1814—1869) — книгоиздатель и книгопродавец, издавший ряд книг Петёфи. Его книжная лавка «Национальная книготорговля» была своеобразным клубом, где встречались различные политические и литературные деятели эпохи 1848 года.

21. ПАЛУ КОВАЧУ

Стр. 302. Ковач, Пал (1808—1885) — популярный венгерский новеллист тридцатых и сороковых годов. В 1847 году стал редактором дёрской газеты «Хазанк» («Наша родина»), вокруг которой объединились наиболее видные передовые писатели того времени. Кроме Петёфи, в этой газете сотрудничали Янош Арань, Михай Томпа, Алайош Дэгре, Шароши, Карой Берци и Янош Вайда. Согласно договоренности, Петёфи каждые три месяца посылал Ковачу шесть стихотворений, за которые тот выплачивал ему 45 форинтов. *Хотелось бы, чтоб упомянутое стихотворение было напечатано в первом номере.* — Речь идет о стихотворении «Соловьи и жаворонки» (см. Собр. соч., т. 1, стр. 364).

22. ГРАФУ ШАНДОРУ ТЕЛЕКИ

См. Собр. соч., т. 1, стр. 389, Стихотворение «Графу Шандору Телеки».

Стр. 303. *Передай привет Виктору.* Хараи, Виктор — секретарь графа Телеки.

23. ЯНОШУ АРАНЮ

В оригинале после письма следует стихотворение «Яношу Араню» (см. Собр. соч., т. 1, стр. 415). Янош Арань ответил стихотворением «Ответ Шандору Петёфи» и следующим письмом:

«Ответный вам поклон!

Если письмо мое покажется вам путаным — не удивляйтесь. Моя низменная лира краснеет от похвал, как глупенькая крестьянка, и бормочет одни бессвязные слова... Сперва непомерные похвалы в столичных газетах, затем в «Сепиродами семле», потом письмо Имре Вахота и, наконец, как венец всего: *письмо от Петёфи!* Где же взять сил все это заслужить?..

Ваши принципы относительно народной поэзии я горячо разделяю ото всей души... к этому обязывает меня даже эгоизм! Ведь только расцвет народной поэзии позволит питать надежду на то, что создается поэзия национальная. Как вы отнеслись бы к тому, если бы кто-нибудь взялся написать эпос (серьезный) в чисто народном духе и на языке народа? Не химера ли это?

О себе написать? Но что же? Как могут вас занимать мои будни? С половины школьной стези мечты увлекли меня в одну актерскую труппу, искусство которой протрезвило бы хоть кого, как ушат холодной воды. Спустя два месяца я покинул труппу, вернулся в родные края, где тружусь теперь в роли нотариуса по десять часов в сутки, за ничтожную годичную плату. Остальное время провожу частью со своей любимой супругой и детьми, частью в обществе Гомера и Шекспира. Может быть, моя стопа никогда не коснулась бы литературной стези, если бы судьба не привела ко мне моего соученика Йштвана Силади, который два года подряд был завсегдаем моего дома.

Но я правильно сделал, вступив на путь литературы. Этим я помог и литературе и себе. Литературе тем, что вдохновил вас на такое прекрасное стихотворение, а себе тем, что вы, которого я так уважаю, протянули мне дружескую руку. *Благослови господь всех вас...*»

С этого письма и началась переписка Петёфи и Араня.

25. ПАЛУ КОВАЧУ

Стр. 305. *Только сейчас с величайшим удивлением заметил, что в «Хазанке» помещено «Кутякапаро»...* — См. Собр. соч., т. 1, стр. 401. Ковач поместил это стихотворение вместо «Одно меня тревожит» (см. Собр. соч., т. 1, стр. 398), которое Петёфи предназначил напечатать первым.

26. ПАЛУ КОВАЧУ

Стр. 306. *С этим чертовски громадным томом...* — Речь идет о собрании стихотворений Петёфи, готовившимся к печати.

27. ЯНОШУ АРАНЮ

Стр. 309. Чак, Матэ, тренченский — могущественный венгерский феодал, живший в начале XIV века. *Ты ведь переписываешься с Пиштой Силади?* — Силади, Иштван (1819—1897) — преподаватель теологии, директор надьсалонтской школы, впоследствии член-корреспондент венгерской Академии наук; друг Араня и Петёфи.

28. ЯНОШУ АРАНЮ

Стр. 312. *Я считаю Дожу одним из самых славных героев венгерской истории...* — Дожа, Дёрдь — см. прим. к стих. «От имени народа», т. 1, стр. 429.

Стр. 313. *...вот и создалось «Товарищество десяти».* — См. прим. к стих. «Перемена», т. 1, стр. 299.

30. МАРИ ТЕРЕИ

Стр. 316. Терей, Мари — подруга Юлии Сендреи — невесты, позднее жены Петёфи. Сохранились письма Юлии Сендреи к Мари Терей, в которых Юлия пишет о своих отношениях с Петёфи. *...я слышал, что она выходит замуж.* — До Петёфи дошли ложные слухи, будто Юлия выходит замуж за другого.

31. КАРОЮ ШАШУ

Стр. 316. Шаш, Карой — младший брат доктора Иштвана Шаша, друга детства Петёфи. С Кароем Петёфи был знаком с 1841 года. В 1847 году Карой Шаш служил писарем у графа Лайоша Карои в Эрдеде. Будучи посвящен в отношения Петёфи и Юлии Сендреи, он некоторое время передавал Юлии письма, которые Петёфи посылал для нее на его имя. *Пишта мне передаст.* — Пишта — уменьшительное имя Иштвана; речь идет об Иштване Шаше.

34. ЯНОШУ АРАНЮ

На обратном пути из Сатмара Петёфи навестил Яноша Араня и провел у него в Салонте десять дней. Там он написал стихотворения «Лаци Араню» и «Тетья Шари» (см. Собр. соч., т. 1, стр. 463, 467).

Это посещение Араня Петёфи описал в стихотворном послании «Письмо Яношу Араню» (см. Собр. соч., т. 1, стр. 504).

Стр. 319. *Господина Ийеша я прогнал...* — Речь идет о вознице, которого Петёфи нанял в Салонте.

Стр. 319. *Сейчас я напишу и ему касательно дел «Элеткепека».* — До июня 1847 года журнал «Элеткепек» редактировал Адольф Франкенбург, с июня его соредактором стал Йокаи. С января 1848 года Йокаи редактировал журнал самостоятельно. В период написания этого письма Йокаи договаривался с писателями относительно их участия в его журнале. В этом помогал ему и Петёфи, придававший большое значение журналу как органу «Молодой Венгрии».

36. ЯНОШУ АРАНИЮ

Оригинал этого письма был написан на обратной стороне письма Михая Томпы к Араню. Позднее, поссорившись с Петёфи, Томпа сжег все письма Петёфи к нему. Впоследствии он выразил сожаление об этом, и тогда Арань подарил ему оригинал этого письма, в котором Петёфи писал о нем.

37. ПАЛУ КОВАЧУ

Стр. 322. *Эти письма я отдам тебе...* — Речь идет о «Путевых письмах», которые Петёфи собирался поместить в «Хазанке», где они и были напечатаны.

38. ПАЛУ КОВАЧУ

Стр. 323. *...и ты все-таки боишься напечатать их имена...* — См. прим. к стр. 39.

39. ЯНОШУ АРАНИЮ

Стр. 324. *Кто бы поверил, что я охладю, вынужден буду охладеть и к этому человеку?* — К этому времени относится охлаждение Петёфи к Томпе, который из соображений выгоды не захотел уйти из журнала Имре Вахота и сотрудничать только в «Элеткепеке».

40. АНТАЛУ ВАРАДИ

Стр. 327. ...я получил от Марци письмо... Марци — Мор Йокаи.

Стр. 327. И да — жена Варади.

41. ЯНОШУ АРАНЮ

Стр. 328. ...но так как ты велел мне написать 9 сентября, то я эту дату и указываю. — Свадьба Петёфи была назначена на восьмое сентября, потому Арань и просил его написать девятого. Я вполне верю тебе на слово, что стихи, которые ты написал, жалки... — В письме от 25 августа 1847 года Арань писал Петёфи: «С тех пор как ты уехал, я работал мало... Написал несколько стихотворений, да они, наверное, хуже дичков; едва ли найдется среди них два-три более или менее приличных. Не получается у меня лирика; должно быть, пора излиятий у меня уже прошла — стар я. Мне и впредь следовало бы пытаться писать баллады, подобные «Ласло Фееру», — их можно печатать в газете, да и я оставался бы в своей стихии».

Стр. 328. Я закончил «Марию Сечи»... — «Мария Сечи» — поэма Петёфи. Я и до сих пор был бедняком... — Написано в ответ на советы Яноша Араня в его письме от 25 августа: «Будь бережлив до скупости, через несколько дней вас будет уже двое, через несколько лет еще возможно прибавление, а я не знаю худшего греха, чем если глава семьи «рассыпает свое богатство обеими горстями».

43. ПАЛУ КОВАЧУ

Стр. 331. «Дневник» прошу тебя поместить не продолжениями... — Речь идет об «Отрывках из дневника» жены Петёфи Юлии Сендреи, которые были напечатаны в газете «Хазанк» 30 октября 1847 года.

45. ТИРОЛЕРУ

Стр. 332. Тиролер — гравер по меди и стали, сделавший портрет Петёфи ко второму изданию его Полного собрания стихотворений.

Письмо написано на немецком языке.

46. ЯНОШУ АРАНЮ

Стр. 333. *Дорогой друг Stibli!* — Арань прислал Петёфи коротенькое, шутовское письмо на английском языке, в котором подписался «John Stibli shoe-maker and poet» (Джон Штибли — сапожник и поэт). *Приветствую тебя, второй... разочарованный муж Гунниш.* — Гуннишей называли иногда Венгрию. Написано в ответ на письмо Арауя, в котором тот сообщает: «У меня, друг мой, музы больше нет. Но если хочешь видеть дохлого Пегаса, то поспедай ко мне».

48. ЯНОШУ АРАНЮ

Стр. 337. *...иные утверждают, будто ты воспел в «Толди» осла, одетого в львиную шкуру: львиная шкура его называется «Толди», а природную именуют Шеделем.* — Игра слов, основанная на том, что Арань написал поэму о национальном герое Миклоше Толди, а в это время в Венгрии был консервативный литературовед Ференц Толди, подлинная фамилия которого была Шедель. *...чтобы спасти свою нацию от гражданской войны дожистей дожевской...* — образовано от фамилии вождя крестьянского восстания 1514 года Дожи.

Стр. 338. *Ченгери, Антал (1822—1880)* — венгерский политический деятель, публицист и историк. До 1848 года был редактором газеты «Пешти Хирлап», участвовал в революции 1848—1849 годов, состоял в дружеских отношениях с Петёфи. *Сейчас я пишу «Лехела»...* — Образ Лехела, одного из вождей венгерских племен в X веке, занимал Петёфи с детства. Петёфи начал писать поэму о своем любимом историческом герое, но не закончил ее.

50. ЯНОШУ АРАНЮ

Стр. 342. *...напрасно утруждал ты себя перепиской чужого письма...* — Речь идет о письме Томпы к Араню, в котором Томпа доброжелательно отзывается о Петёфи. Арань, желая примирить своих друзей, переслал копию этого письма Петёфи. Многие *хотят отнять это имя у нашего движения.* — Намек на либеральных дворян-участников революции, в том числе на Пала Няри.

Стр. 343. *Прилагаемое стихотворение было первым напечатано свободной венгерской печатью.* — Речь идет о «Национальной песне» Петёфи. К этому письму существует более позднее при-

мечание Араня: «Приложенный экземпляр «Национальной песни» я подарил Золтану Петёфи на рождество 1863 года».

51. ЯНОШУ АРАНЮ

Стр. 344. Ландерер, Лайош (1800—1854) — владелец типографии, в которой были напечатаны первые произведения после упразднения цензуры.

52. ЯНОШУ АРАНЮ

К этому письму существует следующее примечание Яноша Араня: «Такие превосходные обещания, к тому же надежды на духовное обогащение, на беседы с культурными писателями и т. д. чуть было не вскружили мне голову. Я поехал в Пешт, но, не будучи вполне уверенным и не желая подвергать риску свою семью (о, если бы и позднее поступал я так же), я хотел просто отказаться и передать редактирование Геребену Вашу... Но Петёфи удалось уговорить меня, что я не должен совсем порывать с газетой и не должен отказываться от доходов, даваемых ею даже в том случае, если останусь в Салонте. И я заключил с Геребеном Вашем соглашение, что хотя он и будет ответственным редактором газеты, однако и мое имя, как товарища редактора, будет выставлено, и за это доход будет разделен между нами.

В Пеште я гостил у Петёфи дней семь-восемь. В ту пору он жил на улице Дохань в довольно удобной квартире. Родители его проживали вместе с ним, на его иждивении. У стариков была очень приличная комната. Петёфи относился к ним с почтительной сыновней любовью».

53. КАРОЮ БАНКОШУ

Стр. 347. Банкош, Карой (1821—?) — кунсентмиклошский чиновник, друг Петёфи.

54. ЯНОШУ БАЧО

Стр. 348. Бачо, Янош (1818—1871) — священник, журналист, друг Петёфи.

55. ЯНОШУ АРАНЮ

Стр. 349. *Вместо того, чтоб найти утешение в том, что dulce est socios habuisse malorum...* — Петёфи получил перед этим письмо от Яноша Араня, в котором тот рассказывает, как его тоже провалили на депутатских выборах вследствие козней реакционного чиновничества.

56. КАРОЮ БАНКОШУ

Стр. 352. Перцель, Мориц (1811—1899) — венгерский генерал и политический деятель, участник национально-освободительной войны 1848—1849 годов.

57. ЯНОШУ АРАНЮ

Примечание Араня к этому письму: «До тех пор, пока фамилия Петёфи значилась вместе с фамилией Йокаи на журнале «Элеткепек», Петёфи получал за редактирование сто форинтов в месяц. А вообще он занимался в журнале только стихами, всем остальным ведал Йокаи. Несмотря на шутку, Петёфи вернул 108 форинтов при первой же возможности, — вообще в таких вещах он был чрезвычайно добросовестным».

59. ЯНОШУ АРАНЮ

Стр. 358. *Ты поехал куда-то к буньевцам.* — Буньевцы — небольшая этническая группа, подразделение сербов, жившая на юге Венгрии.

Стр. 359. *Намедни я закончил длинную поэму...* — См. Собр. соч., т. 2, стр. 352. *А тогда мы первым делом воздвигнем большую виселицу и вздернем на нее девять человек!* — т. е. министров, деятельностью которых последовательный революционер Петёфи был недоволен.

60. КАРОЮ БАНКОШУ

Стр. 360. *От тебя я получил всего только три письма.* — Банкош служил в это время в национальной гвардии, стоял в овер-

басском лагере, откуда и присылал письма, которые Петёфи помещал в «Элеткепеке».

61. ВДОВЕ ЙОКАИ

Разрыв Петёфи с Йокаи произошел тогда, когда Петёфи понял, что в ряде политических вопросов Йокаи держится нереволюционных взглядов.

Петёфи выражал резкое недовольство женитьбой Йокаи на актрисе Розе Лаборфалви, что также содействовало его разрыву с Йокаи.

62. МИХАЮ ЭТВЕШУ, САТМАРСКОМУ КОМИТАТСКОМУ ГОЛОВЕ

См. в настоящем томе комментарии к «Письмам из армии».

Копия этого письма была приложена к письму начальника Сатмарской национальной гвардии Гедеона Киша главному нотариусу Сатмара. На копии имеется следующая собственноручная приписка Петёфи: «Оригинал этого письма написал я и послал господину Михаю Этвешу. Призываю всех, прочитавших или услышавших мое письмо, обдумать его и отважно, решительно приступить к выполнению той святой обязанности, в случае отказа от которой человек уже не может считаться ни патриотом, ни мужчиной, а только трусливым негодяем, недостойным имени мадьяра. Вставайте, мадьяры, подымайтесь во имя вольности и бога! К оружию, к оружию! Нам есть еще что защищать; но если мы промедлим, то не нынче-завтра нам уже не к чему будет браться за оружие. Вставайте, вставайте!

Шандор Петёфи».

63. ЯНОШУ АРАНЮ

Стр. 364. *Дело окончилось тем, что я стал солдатом...* — 15 октября 1848 года Петёфи получил чин капитана и вступил в армию.

В приписке к этому письму Арань пишет, что приехать в Дебрецен попрощаться с Петёфи он не мог.

64. ШОМЕ ОРЛАИ ПЕТРИЧУ

Стр. 365. *Черкни немедленно, если узнаешь что-нибудь о моем отце...* — По дороге в Дебрецен, где стоял батальон, в который получил назначение Петёфи, он на несколько дней заехал к жене в Эрлед. Отец Петёфи вступил добровольцем в один из вольных отрядов и принимал участие в походе против Елашича (см. Собр. соч., т. 2, стр. 113., стихотворение «Старый знаменосец»).

65. ЯНОШУ АРАНЮ

Стр. 367. *...остаюсь по гроб жизни твоим верным Бенце.* — Бенце звали старого преданного слугу в поэме Араня «Толди».

67. ЯНОШУ АРАНЮ

В 1858 году Арань сделал следующую приписку к этому письму: «Цвет героев». «Я писал ему о том, что вместе с Салонтской национальной гвардией участвовал в защите Арада. Я был рядовым и хотел им остаться. В шутку написал Петёфи, что я уже понюхал пороху, а он еще нет».

Стр. 368. *Привет, цел. в. об. Тв. др.* — Приветствую, целую вас обоих. Твой друг.

68. ШОМЕ ОРЛАИ ПЕТРИЧУ

Стр. 368. *...ты отнеси В. ...* — Речь идет о Герребене Ваше, редакторе газеты «Друг народа».

69. ЯНОШУ АРАНЮ

Стр. 369. *Тезка отца Матяша Хуняди...* — Отцом короля Матяша Хуняди был национальный герой Венгрии, «победитель турок» — Янош Хуняди. К этому письму Арань сделал следующую приписку: «В начале месяца я и в самом деле побывал вместе с супругой в Дебрецене. Петёфи жил тогда в одном доме с тестем и с тещей; жили они в общем мирно, хотя и жаловались иногда. Мы вернулись в Салонту 10 декабря, Золтан родился 15-го, стало быть, моей жене не довелось его крестить».

70. ШОМЕ ОРЛАИ ПЕТРИЧУ

Стр. 370. ...из батальона я уехал без спроса... — Батальон, в котором служил Петёфи, 17 ноября 1848 года выступил из Дебрецена. Петёфи, не желая расставаться с женой, которая должна была вскоре родить, попросил отпуск до января и поехал в Эрдед, откуда вынужден был вернуться в Дебрецен из-за враждебного поведения реакционных румынских войск. Петёфи уехал из батальона, не получив формального разрешения, но о своем отпуске немедленно сообщил в Комитет защиты отечества. Враждебное революционному поэту военное начальство, воспользовавшись этим, начало против Петёфи дело с целью скомпрометировать его в глазах народа и армии.

72. ЯНОШУ АРАНЮ

Стр. 372. ...что тебя Виндишгрец схватил в Пеште... — В конце декабря Арань вместе с женой был в Пеште, так что и предыдущее письмо Петёфи он получил с запозданием. Из-за январских холодов нельзя было отправить семью Петёфи к Араням. Но Петёфи должен был срочно выехать в Эрдейскую армию и поэтому оставил жену с ребенком у Вёрёшмарти. Виндишгрец, А л ь ф р е д (1787—1862) — герцог, австрийский маршал; в июне 1848 года под его руководством было подавлено пражское восстание, в октябре — венское. В декабре он стал главнокомандующим австрийскими войсками, направленным на подавление венгерской революции. 5 января 1849 года он занял Пешт. После апрельских побед венгерской национально-освободительной армии Виндишгрец был отстранен от поста главнокомандующего.

73. ЛАЙОШУ КОШУТУ

Стр. 374. Веттер, Антал (1803—1882) — генерал-лейтенант национально-освободительной армии. После капитуляции при Вилагоше бежал за границу и вернулся на родину только в 1867 году, когда Венгрия заключила соглашение с Австрией. Столкновение Петёфи с Веттером произошло вследствие самовольной отлучки Петёфи из армии.

75. ЛАЗАРЮ МЕСАРОШУ

См. Собр. соч., т. 2, стр. 152 и 457, стихотворение «Галстук» и комментарии к нему.

76. ЯНОШУ АРАНЮ

Приписка Араня к этому письму: «По получении этого письма моя супруга немедленно поехала в Дебрецен и привезла оттуда семью Петёфи: его жену, ребенка и няню».

79—80. ГЕНЕРАЛУ ДЁРДЮ КЛАПКЕ

См. Собр. соч., т. 2, стр. 165, стихотворение «Одному грубому генералу» и настоящий том, стр. 269. Заявление «Редактору «Кёзлёня». Причиной столкновения Клапки с Петёфи послужило письмо Бема, написанное на французском языке, которое Петёфи перевел и по просьбе Бема напечатал 28 апреля 1848 года в коложварской газете «Гонвед». В этом письме Бем обвиняет в измене родине генерала Вечи (см. настоящий том, стр. 383, письмо Петёфи к Бему). Клапка упрекал Петёфи в самовольном опубликовании этого «конфиденциального документа». Как выяснилось из заявлений Бема, Петёфи напечатал это письмо по просьбе самого Бема.

82. ГЕНЕРАЛУ ИОСИФУ БЕМУ

Письмо написано в оригинале на французском языке, на котором общались между собой Петёфи и Бем. (Перевела Н. Касаткина.)

Стр. 383. *Приехав в Дебрецен, я явился к господину Кошуту с вашим письмом.* — 4 мая Петёфи, по поручению Бема, выехал из ставки в Дебрецен к Кошуту. 16-го он явился к нему и был чрезвычайно поражен тем холодным приемом, который оказал ему Кошут. Холодный прием, оказанный Кошутом, был тем более необъясним, что Бем снабдил Петёфи весьма лестным рекомендательным письмом. Часть этого рекомендательного письма Петёфи собственноручно переписал для себя: «Составленные мной вчера письма я отправляю сегодня с господином Петёфи, таланты, патриотизм и благородство которого вам, безусловно, хорошо известны. Вы, господин правитель, направили его ко

мне, и за это я вам сердечно благодарен, потому что его идеи, его мужество и способности оказали мне большую помощь. Теперь, когда обстоятельства складываются счастливо, когда он может стать при вашем правлении еще более полезным своей родине, я отряжаю его гонцом в Пешт с тем, чтобы он вручил вам депеши.

Господин Петёфи должен некоторое время задержаться в Пеште, дабы поправить свое здоровье, а так как я считаю, что он достоин вознаграждения за свою службу, то осмелился присвоить ему звание майора, а вас прошу соблагovolить подтвердить присвоение этого звания».

83. ГЕНЕРАЛУ ИОСИФУ БЕМУ

Письмо написано в оригинале на французском языке. (Перевела Н. Касаткина.)

Петёфи писал Бему из Салонты, куда поехал к Араню за своим сыном, которого, однако, оставил у Араня, так как вынужден был срочно выехать в Пешт.

85. БЕРТАЛАНУ СЕМЕРЕ

Письмо это сохранилось только в черновике. На обороте его портрет Бема, нарисованный Петёфи. К письму приложено стихотворение «Гонвед» (см. Собр. соч., т. 2, стр. 170).

86. ЛАЙОШУ ТЕЛЕГДИ

Стр. 389. Телегди, Лайош — дебреценский книготорговец.

87. ГЕНЕРАЛУ ИОСИФУ БЕМУ

Письмо в оригинале написано на французском языке. (Перевела Н. Касаткина.) *Сегодня я получал письмо от господина Курца...* — Майор Курц, написавший Петёфи письмо от имени генерала Бема, был секретарем Бема. Пал в битве за Себен 6 августа 1849 года.

88. ЯНОШУ АРАНИЮ

Стр. 391. *В тот день, когда мы по подстрекательству Кошута...* — 1 июня 1849 года при вести о том, что неприятель подходит к Дебрецену, Кошут вызвал к себе вместе с Петёфи, Габором Эгреши и Геробенем Вашем также и Араня, но Арань поспешил домой в Салонту к своей семье; поэтому и описывает ему Петёфи события следующего дня.

Стр. 392. *...мирно удалился с семьей...* — Петёфи поехал вместе с семьей в Мезёберень, где жили родители Орлаи Петрича.

89—90. ЖЕНЕ ШАНДОРА ПЁТЕФИ

Оба эти письма жена Шандора Петёфи завещала своему сыну Золтану Петёфи в сопровождении следующих строк:

«Моему сыну Золтану Петёфи после моей смерти. Юлия С. Два последних письма моего Шандора. Завещаю моему сыну Золтану самое лучшее, что я могу только оставить ему в наследство, с тем непререкаемым условием, что он никогда, ни в коем случае не дозволит их опубликовать. Наследникам своим он должен завещать их только при этом же условии, так как отец его много раз высказывал желание, чтобы никакие его письма после смерти не публиковались. Так пусть сын не нарушит последнюю волю» своих отца и матери.

Юлия Сендреи.

19 июня 1849 года Петёфи собирался поехать вместе с женой в Арад, в гости к Дамьяничу, когда к нему явились Габор Эгреши и адъютант Бема Шандор Киш. Последний ездил с донесениями Бема в Сегед и на обратном пути, узнав о местопребывании Петёфи, заехал к нему и от имени Бема уговорил поехать снова в Эрдей. Петёфи согласился и поехал вместо Арада в армию Бема, где и погиб в одном из последних сражений 31 июля 1849 года.

СОДЕРЖАНИЕ
ПУТЕВЫЕ ДНЕВНИКИ

Путевые записки	7
Путевые письма	37

РАССКАЗЫ

Дед	95
Буланка и Гнедой	128

СТАТЬИ

Предисловие к Полному собранию стихотворений	165
Национальный театр	169

ДНЕВНИКИ

«Страницы из дневника Шандора Петёфи»	
Пешт, 15 марта 1848 года	179
Пешт, 17 марта 1848 года	180
Пешт, 20 марта 1848 года	187
Пешт, 24 марта 1848 года	188
Пешт, 1 апреля 1848 года	189
Пешт, 19 апреля 1848 года	191
Пешт, 21 апреля 1848 года	193
Пешт, 22 апреля 1848 года	193
Пешт, 29 апреля 1848 года	196
Исторические записки	199
История жизни моего сына Золтана до семимесячного возраста	202

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Пешт, 27 мая 1848 года	209
Пешт, 10 августа 1848 года	214
Ответ Вёрёшмарти	219

Мое первое и последнее выступление по одному грязному вопросу	222
Пешт, 17 сентября 1848 года.....	225
Прокламация «Общества равенства»	228
Письмо в Национальное Собрание	233
Дебрецен, 9 января 1849 года.....	234

ВЫБОРЫ В САБАДСАЛАШЕ

I. Жителям Киш-Куншага	239
II. Заявление о выборах в Сабадсалаше	243
III. Открытое письмо сабадсалашцам	254
IV. Пешт, 27 июня 1848 года	257
V. Депутатам Национального собрания.....	257

ПИСЬМА ИЗ АРМИИ

1. Редактору «Пешти Хирлапа»	261
2. Редактору «Кёзлёня»	262
3. Редактору «Кёзлёня»	263
4. Редактору «Кёзлёня»	266
5. Редактору «Кёзлёня»	267
6. Редактору «Кёзлёня», Заявление	269

ПИСЬМА

1. Имре Надю	273
2. Йожефу Байзе	274
3. Лайошу Себерени	274
4. Лайошу Себерени	277
5. Лайошу Себерени	279
6. Йожефу Байзе	281
7. Йожефу Байзе	283
8. Йожефу Байзе	284
9. Лайошу Себерени	286
10. Шоме Орлаи Петричу	288
11. Йожефу Байзе	289
12. Игнацу Надю.....	291
13. Беле Таркани	292
14. Альберту Паку	293
15. Беле Таркани	295

16. Элеку Дэмэку	297
17. Аурелю Кечкемети	298
18. Анталу Варади	299
19. Дёрдио Урхазы	300
20. Шоме Орлаи Петричу	301
21. Палу Ковачу	302
22. Графу Шандору Телеки	303
23. Яношу Араню	304
24. Графу Шандору Телеки	304
25. Палу Ковачу	305
26. Палу Ковачу	306
27. Яношу Араню	307
28. Яношу Араню	311
29. Палу Ковачу	315
30. Мари Терей	316
31. Карою Шашу	316
32. Шоме Орлаи Петричу	317
33. Жигмонду Папу	318
34. Яношу Араню	319
35. Палу Ковачу	320
36. Яношу Араню	321
37. Палу Ковачу	322
38. Палу Ковачу	322
39. Яношу Араню	324
40. Анталу Варади	327
41. Яношу Араню	328
42. Яношу Араню	330
43. Палу Ковачу	330
44. Шоме Орлаи Петричу	331
45. Тиролеру	332
46. Яношу Араню	333
47. Яношу Араню	333
48. Яношу Араню	337
49. Яношу Араню	339
50. Яношу Араню	342
51. Яношу Араню	343
52. Яношу Араню	345
53. Карою Банкошу	347
54. Яношу Бачо	348
55. Яношу Араню	349
56. Карою Банкошу	352
57. Яношу Араню	354
58. Яношу Бачо	355
59. Яношу Араню	358

60. Карою Банкошу	360
61. Вдове Йокаи	361
62. Михаю Этвешу	363
63. Яношу Араню	364
64. Шоме Орлаи Петричу	365
65. Яношу Араню	366
66. Шоме Орлаи Петричу	367
67. Яношу Араню	368
68. Шоме Орлаи Петричу	368
69. Яношу Араню	369
70. Шоме Орлаи Петричу	370
71. Яношу Араню	371
72. Яношу Араню	372
73. Лайошу Кошуту	373
74. Яношу Араню	375
75. Лазарю Месарошу	377
76. Яношу Араню	377
77. Яношу Араню	378
78. Яношу Араню	379
79. Генералу Дёрдю Клапке	380
80. Генералу Дёрдю Клапке	380
81. Яношу Араню	382
82. Генералу Иосифу Бему	383
83. Генералу Иосифу Бему (отрывок)	386
84. Яношу Араню	387
85. Берталану Семере (черновое)	388
86. Лайошу Телегди	389
87. Генералу Иосифу Бему	390
88. Яношу Араню	391
89. Жене Шандора Петёфи	392
90. Жене Шандора Петёфи	393
 Комментарии <i>Агнессы Кун</i>	 397

На обложке портрет Шандора Петёфи
(Литография работы М. Барабаша, 1845)

Художественный редактор: Д. Фельдеш
Технический редактор: Д. Комлошан

Отпечатано в Венгрии, 1963
Типография Атэнзум, Будапешт